2026
18+
МАЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

УРАЛ

Уважаемые подписчики!

Обращаем ваше внимание, что оформить подписку на наш журнал на 2026 год можно по единому индексу 73412:

- на сайтах: https://www.pressa-rf.ru/ или https://www.akc.ru/ (для юр. лица по желанию подписчика заключается договор и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов);

- в отделе продаж агентства ОАО «АРЗИ», направив заявку по электронной почте: Govorkova@arzi.ru или позвонив по тел. (495) 680-99-71 (для юр. лица по желанию подписчика заключается договор и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов).

А также:

- в любом почтовом отделении через электронный каталог «Почта России». Приходите, называете индекс ПС429 — и вас подписывают!

Май’ 2026

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1958 года

УРАЛ

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Редакция журнала «Урал»

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Владимир КОЗЛОВ. Ужас Аполлона. *Стихи* **3**

Геннадий КОЧЕТКОВ. Этюды раненой памяти **10**

Дмитрий ВИЛКОВ. Где прячется край света. *Стихи* **17**

Наталья ВИКТОРОВА. Чайки, чайники, чаинки. *Роман* **21**

Кирилл МАШКИН. Всюду искать окно. *Стихи* **100**

Евгения ТОЛСТЫХ. Сны моего одиночества. *Рассказ* **103**

Галина ШУБНИКОВА. Слова неговоримые... *Стихи* **115**

Саша НИКОЛАЕНКО. Сберкнижка для ежа. *Истории о том, какие мы все трусы друг за друга* **118**

Богдан БЕЙК. Лилия и пепел. *Стихи* **128**

Борис ТЕЛКОВ. Бедный Налай. *Рассказ* **131**

ДЕТСКАЯ

Ярослава ВОРОБЬЕВА. Летавицы **137**

Кирилл СЕРГЕЕВ. История через письма: трагедия Рыбницы **144**

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Валентин ЛУКЬЯНИН. Стежневой человек на изломе эпох. *К 100-летию Лидии Александровны Худяковой* **149**

Екатеринбург

ПЕРЕКЛИЧКИ

Павел ГЛУШАКОВ. Ad discendum, non ad docendum **196**

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Константин КОМАРОВ. Связанные одной целью. *К 40-летию Свердловского рок-клуба* **201**

Татьяна АРСЕНОВА. Как Борис Рыжий скелет в Кытлыме нашел. *О стихотворении «Север» и вокруг него* **212**

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛКА: ТОЛСТЯКИ НА УРАЛЕ

Елена САФРОНОВА. Мораль барракуды.
Светлана Волкова. Барракуда. — «Нева», 2025, № 8 **221**

Владислав ТОЛСТОВ. В вашей ячейке что-то сломалось.
Ксения Чижикова. Обычная история. — «Волга», 2025, № 8 **223**

Александр РЯЗАНЦЕВ. Силки на пивного мужика.
Геннадий Воронин. Охота. Повесть. — «Знамя», 2025, № 10 **225**

Станислав СЕКРЕТОВ. Авантюрный роман.
Гарри Бардин. Ё-моё! — «Знамя», 2025, № 8-9 **227**

НА ЛИТЕРАТУРНОМ ПОСТУ

Лидия ГОРТИНСКАЯ. Там, где кончаются иллюзии.
О повести Ирины Буториной «В Одессу на майские». — М.: АСТ, 2025 **229**

ИНОСТРАННЫЙ ОТДЕЛ

Сергей СИРОТИН. Лучшего все равно не дано.
Лэнс Олсен. Календарь сожалений **231**

ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ

Валерий ИСХАКОВ. Шерлок против Битлз.
Слепой Шерлок (Blind Sherlock), сериал, Нидерланды, 2026 **234**

КРИТИКА ВНЕ ФОРМАТА

Василий ШИРЯЕВ. Россия, лето, лотерея. **236**

© Журнал «Урал», 2026.

Владимир Козлов

Ужас Аполлона

Воля

Под убитым конём лежит парень,
и ему не поднять коня.
Парень пулею в ногу ударен
тому уж назад два дня.

Под убитым конём не промах
кавалерист, двадцать лет.
Зацепил ногою постромок,
и считай, что ноги больше нет.

А свои поспешали на запад,
Не оглядываясь, неслись.
А на поле все более запах
неприятный от срубленных лиц.

Это поле — то самое поле,
то, которое не перейти.
Там только мёртвые и дреколье
сломанное из груди.

То Васнецов, Верещагин?
А стервятник каких эпох?
И «шеломом воды» в одном шаге,
и в одном «с нами Бог».

Заурядное брани поле,
общее место бойца,
о котором никто не вспомнит,
кроме выжившего праотца.

Владимир Козлов (1980) — родился в Брянской области. Окончил Ростовский государственный университет. Доктор филологических наук, автор книги «Русская элегия неканонического периода» (2013). Поэтические книги — «Опыты на себе» (2015), «Красивый добрый страшный лживый смелый человек-невидимка» (2020), «Техники длинного дыхания» (2022), «Чистое поле» (2023). Возглавляет Центр креативного письма и культурных индустрий (ИСКРА Центр) в Южном федеральном университете. В 2014 г. создал журнал Prosodia. Лауреат премии фонда А. Вознесенского «Парабола» (2017), поэтической премии «Antologia» (2024). Живёт в Ростове-на-Дону.

И казалось, безвременье поля
затянуло, не выпустит уж:
он не видит отличия боле
мёртвых от прочих душ.

Но когда проходили матросы,
закричала земля: «Стоять!»
Не хотели брать, и вопросы
лишь револьвер помог снять —

и забрали. Прошёл одноногий
стройки, аврал, круговерть,
длинные столь дороги,
что двуногим не одолеть...

Верю в чудо нечаянной воли
при погружении в смерть,
воли, вдруг рассекающей поле,
и в лицо когда страшно смотреть.

Народ из народа

Мы были невеселы, строги,
мы строили эти дороги,
чинили качель во дворе,
любили без всяких прелюдий:
простые, мы верили, люди
сильнее вора на воре.

Вокруг были волки и овцы,
блаженные, звери, уродцы,
униженные и голь.
Куда-то попрятались хлопцы.
Отцы зато стали пропойцы,
иных увели на убой...

Мы вышли тогда из народа,
но скоро вернулись в народ...

Варили лапшу, и законы,
и сталь, расчищали затоны,
кораблик пускали по ним.
И кони степенно заржали,
и бабы чуть-чуть зарожали:
из труб пошёл дым.

А деятели вернулись,
вернулись — переглянулись,
ну пальчики загибать.
На деятелей поглядели
неделю, а кто две недели
и стали назад исчезать.

Мы вышли тогда из народа,
но ненадолго совсем.

Ушли в монолитные стены,
в деревья и плод их неспелый,
обратно убрались в живот.
Увы, не назвали причины.
И там они неразличимы.
Там кто-то и как-то живет.

В декаду чумы, недорода
мы вышли тогда из народа,
понадобились, стало быть.
Но кое к чему мы пугливы.
Вода оставляет заливы,
чтоб Господу в море служить.

Выглядывали из народа.
Мы где-то в народе и есть.

Ужас Аполлона

Что-то внутри ещё помнит,
как из томления, стона
вылепляется чудище-рык,
и узор порождает взрыв.

Ощущение первого слова,
содрогающего основы,
когда весь непосильный дар
порождает рывок, удар.

Как тончайшие нити и строфы
прячутся в катастрофу,
сокрывается в ней запах лип,
запирается всхлип.

Не разъятое время оно,
ужасающее Аполлона,
содержавшего ноги в тепле
без рефлексий о древнем котле.

Опознаешь ли этот ужас
в ювелирном искусстве мужа,
современности тронувшем дух,
в безделушках, надетых вдруг?

Если думаешь, что орнамент
навсегда прикрыл бездну под нами,
то однажды войдёт в лабиринт
и снесёт его на хрен крик.

О, не то, что вы думали, слово!
То не ложек серебряных олово,
это лавы горящий язык,
выговаривающий азы.

Слово может быть умно и точно,
но, когда из него долго мощи
первобытной, как дым из трубы,
не выходит, то ждите беды.

Двадцать лет спустя

Вся родня осталась в девяностых.
По команде «дальше кто как может»
дальше кто как мог.

Вспомнить не могу, что разводило
тех, кто годы худо-бедно вместе
жили, как один.

Слишком юн, я отделить от детства,
что людей действительно держало
вместе, не могу.

Мы не знали долго, что свобода
не про то, что больше не придётся
ничего терпеть.

Больше не терпели; выжигая
близкое, с самою несвободой
смертный вели бой.

Дальше — легче. Больше не осталось
из живых, допущенных касаться
тела, никого.

Те, кто нас учили жизни, тоже
самоустранились: в эти игры
больше никогда.

Ну, приехали... Мы начинали
разве не затем, чтоб вместе вдоволь
наконец пожить?

Двадцать лет спустя мы изменились.
Все, кто что-то ищет, ищут корни —
что ещё искать?

Я вот-вот, старик едва знакомый,
буду на вопрос готов ответ у-
слышать, как ты жил.

Прощание с друзьями

Спокойно ль вам, товарищи мои?
Легко ли вам в том лучшем мире,
где ноги вытирают по любви,
от широты души в прямом эфире?

Я даже проводов родных мотку
ищу слова, исполненные боли.
Могу ли я понять вас? — Я могу.
По-человечески. Никак не боле.

Кто скажет мне, как отделить
оскал медведя от любви медведя?
Я одолел желание валить
уж тем, что никогда его не ведал.

Я ухожу лежать на глубину,
я буду залегать, как любвеносный
запас страны, которая в войну
последние уж вводит сосны.

О, отчужденье стало для ума
элитным фитнесом, его основой.
Подъезда стены, хлопоты, зима
нас гонят из страны, деревни, дома.

Я был везде, откуда вы теперь
не присылаете свои приветы.
Я видел пир и мир, я трогал перл,
я знаю иностранные приметы.

Все это ерунда. Свое бубнить,
кивать, ворчать и ждать момента,
сужденья изрекать, теряя нить, —
вот счастье, вот права! У вас их нету.

Когда вотще ползешь на животе
средь добрых глаз в лучах, слезах и пене
за годом год вдоль милых серых стен,
приобретают вес и наши пени.

Не существует ядовитых слов,
способных осквернить тропинку к дому,
протоптаны бетон, акации, стекло,
слеза идет пейзажу городскому.

И долго чаши, видно, круговой
в природе обнаружить будет трудно,
но в глубине зову я всей душой
вас вестью благодушной, безрассудной.

Слава

Проблема не в том, что не дают говорить,
а в том, что сказанное ничего не значит.

Проблема не в недостатке свободы,
а в том, что свободные люди — пустое место.

А свобода живет на том уровне жизни,
где никто никого не ищет.

Нам говорят, как нас ищут, как нам всегда рады,
что никогда не было столько возможностей, — это вранье.

Его произносят люди, желающие одного —
чтобы некоторые поскорее заткнулись.

И не мешали им имитировать то,
из-за чего кто-то мог быть хотеть быть таким, как они.

Они думают, лучшее, что способен сотворить
Человек, — это правильно отчитаться:

что подписывал, как стоял и сидел,
что в виду поимел, как провел это лето.

Они не имеют возможности просто убить, они даже
до конца лишить слова не могут, но могут

делать вид, что не слышно, а если
и слышно, то ничего не значит,

а если и значит, то что-нибудь очень смешное,
как если бы кто за поэзию выдавал свои речи.

Они лучше всех знают, что есть такое земная слава,
они объяснят, какой будет цена за пятнадцать минут.

Но поскольку источники славы внутри человека,
и они продолжают работу, даже когда он ложится спать,

поскольку все тайное станет явным,
даже достойно проживший в безвестности человек,

у свободного человека всегда остается место,
и каким бы ни было оно, это место для торжества.

Глаза над маской

Я вижу в этих глазах
детскую гладь реки
ранним утром в местах,
где оставлены старики.

Я вижу в этих глазах
не умеющее говорить
смирение, уводящее за
стремление покорить.

Я вижу в этих глазах
страх небольшого зверька,
не бойся, хочется мне сказать,
но — глазами пока.

Я вижу в этих глазах
уровень полноты
воздуха в парусах,
уровень пустоты.

Я вижу в этих глазах
неба бесстрастную синь,
это приветственный знак
тому, кто взыскует сил.

Я вижу в этих глазах
слабое существо,
преображающееся на глазах
в сильное существо.

Улитки в лесу

Весной у Абрау лес полон улиток
размерами с детский кулак,
насельников голых акаций и липок.
В эмали впряженный слизняк
карету для медленных передвижений
циклопам гуляющим — нам — подаёт,
и странно последним сие копошенье,
моллюсков придонных полёт
там, где ожидается ужик да ёжик,
на узкой тропинке лесной,
и море из наутилусов гложет
возлюбленных этой весной.

Мы взяли две раковины пустые
с собою, придумав игру:
чтоб друга следы никогда не простыли
в огромном коварном миру,
прикладывать к уху порой неуместно
и слушать с улыбкой эфир,
как вкрадчивый голос любимого, если
он в «Ласточке» едет сквозь мир,
и вспомнить тех трогательных улиток,
моллюсков, заброшенных в лес,
и двигаться к дому с широкой улыбкой
на волн упоительный плеск.

Геннадий Кочетков

Этюды раненой памяти

Звезда

Полнейшая апатия. Я ошеломлён, изломан, я истерзан и выжат, как тряпка. У меня нет уже ни нервов, ни рук, ни ног, ни слуха. Одни только глаза — больше от меня ничего не осталось. Одни только глаза... Я лежу на спине и гляжу в ночное небо. На свою звезду.

В небе столько звезд, но я свою отыскал сразу, узнал с первого взгляда.

Сейчас зажмурюсь, потом снова открою глаза и опять ее увижу. Не спутаю.

Значит, кроме глаз у меня сохранилось еще что-то, какое-то чувство?

К этой звезде...

А еще сегодня утром я был совершенно «полноценен». Наш гаубичный дивизион, ровно гудя моторами тягачей, медленно двигался по желтой глубокой балке. Прифронтовой балке... Я слышал гортанную и, как мне показалось, ленивую перебранку пулеметов, близкие, удивлённо ахающие разрывы снарядов. И почти ничуточки не было страшно. Теперь-то я уже знаю, что нет ничего глупее необстрелянного любопытства.

И вот я лежу, смотрю в ночное небо, и у меня живы лишь одни глаза.

Но видят они не только мою звезду. Они снова видят наблюдательный пункт дивизии, и синий лесок на горизонте, и волну немецких танков, вдруг хлынувшую из ближней балки, и шквальный артобстрел нашего НП из того синего леска. Снаряды рвутся на брустверах. Недолет, перелет... прямое!!

Я вновь вижу обезображенные болью лица, я вижу стоны. Да, не слышу, а вижу их в невыносимо мертвой тишине, под мерцание звезд. Вижу вновь черные губы полковника, приказывающего не отрываться от стереотрубы, следить за танками, корректировать огонь. Не отрываться!.. А стереотруба, как живая, при каждом близком разрыве шарахается в сторону, бьет что есть силы черными окулярами по глазам... В глазах черно, а я ору что-то оглохшему телефонисту...

Но я вижу не только немецкие танки и не только накрывающие их разрывы гаубичных снарядов, но и наших солдат, солдат-ребятишек двадцать

Геннадий Кочетков (1923–2006) — родился в Ачинске в семье редактора районной газеты. Во время Великой Отечественной войны Геннадий Петрович стал солдатом, разведчиком, в 1943 году был тяжело ранен. Его боевые награды — орден Отечественной войны II степени и медали. После войны работал в цирке и новосибирском театре «Красный факел». Позже как автор и редактор — в журнале «Октябрь», газетах «Литература и жизнь», «Советская культура» и других. Автор нескольких книг прозы, член Московской организации Союза писателей. Скончался 19 мая 2006 года, похоронен в Москве, на Донском кладбище.

шестого года рождения. Они лежат рядами в новеньких шинелях. Лежат совсем близко, и никогда уже не встанут, и никогда уже не доносят даже «до первого срока» свеженькое, с иголочки, обмундирование.

Вот она какая, война. Смерть, и только смерть... Я узнал ее такой в свой первый фронтовой день... Сколько же их у меня осталось?

Когда рождается человек, то в небе зажигается новая звезда. И, падая, она сгорает, как только человек умрет. Читал я когда-то такое стихотворение. В нем утверждалось: «У хорошего человека яркая звезда». Я смотрю на свою звезду. Она, конечно, не первой величины, но мне нравится. Звезда тоже смотрит на меня и ободряюще, совсем по-свойски подмигивает.

Когда же она упадет? Завтра? Через неделю?

И вдруг подумалось: «У хорошего человека — яркая звезда?» Значит, и у тех славных, хороших солдат-ребятишек двадцать шестого года рождения тоже были свои звезды. У каждого — своя.

Но почему же тогда не померкло небо? Почему в нем так много ярких звезд? Больших и маленьких... Ведь ребята убиты. Сегодня. Другие убиты вчера. А война уже третий год... Так почему же не померкло небо?! Так почему же так много звезд?..

Я не верю тебе, моя звезда, хоть ты мне и нравишься. Ты переживёшь меня, и другой назовет тебя своею. И ты будешь так же ободряюще, совсем по-свойски ему подмигивать.

Это нечестно, и я не верю тебе, звезда.

Вместе со мной сгорит-упадет звезда другая: грубо окрашенная в зелёный цвет. Та, что на моей пилотке.

Капитан

Я не выполнил твой приказ, капитан…

Знаю — мне не грозит трибунал, хоть я и не выполнил твой приказ. Я же тяну шаг и еле передвигаю ноги. Но какая разница? Часом раньше или часом позже — мне все равно же стоять перед тобой, мой капитан, смотреть на тебя — какими глазами? — и лепетать жалкие слова. Мне не хватит мужества прямо взглянуть на тебя и сказать, почему я не мог выполнить приказ.

Сколько мне еще осталось шагать? Километра три, пожалуй. Шагать… Я мог бы одолеть их на попутной, как и в тот конец. А пошел пешком и всё тяну и тяну шаг…

Быть может, капитан, было бы куда лучше идти сейчас по этому проселку вдвоем. Мы бы, конечно, молчали. Но, знаешь, молчать вдвоем, шагать — куда легче, чем одному… Поверь, это я испытываю сейчас сам. Невыносимо! И я не знаю, что мне делать, как поступить. Только бы не увидеть твоих глаз.

Эта дорога… Если бессмысленно долдонить, вбивать в голову одно какое-нибудь слово: «дорога, дорога, дорога», то вроде бы и легче малость. Эта дорога, капитан, такая мирная деревенская дорога: ромашки, разлапистый подорожник…

Мирная, если только не замечать по обочинам изувеченные автомашины, тупорылые, не нашей породы… И эти вздувшиеся трупы тупорылых же лошадей. Лошаков, или как там их звать: гибрид, созданный фрицами для войны. И сами они — гибриды, тупые и жестокие гибриды, выращенные, как и вон тот дохлый лошак, — для бойни…

А вот и два дерева, капитан. Те самые. Хо-ороший ориентир! Помнишь, мы здесь здорово оседлали дорогу: держали развилку под прицелом. Как

только сунется немецкий «транспорт», подпустим к деревьям: «Батарея, пять снарядов беглым — огонь!» Хо-ро-шо! Ошметья летели!..

Если бы ты сейчас шел со мной вместе, капитан, то еще раз убедился бы, как мы здорово поработали. В стереотрубу всего не увидишь… Воронка на воронке и целое кладбище техники. Вот тебе и мирная дорога!

Я не выполнил приказ… А все разговоры о дороге — это просто так, заглушить боль, заговорить самого себя.

Побывал в деревне, в этой — Малой Роще… Что из того? Меня встретил интендант, наш старый знакомый, и я долго не мог понять, что выполнить приказ невозможно. Не мог понять!.. Вот и тяну шаг, вот и петляю, и куда легче, если бы до огневой дивизиона оставалось не три, а тридцать три километра…

Я тебе никогда не говорил, что восхищаюсь тобой, капитан. С каких пор? Быть может, с того дня… Такой тихий солнечный день. Я торчал на НП. Кругом высоченная зеленая кукуруза, и мы с телефонистом пили белое сладкое молоко початков, совсем забыв, что впереди и с флангов — война, умолкнувшая, чтобы набраться новых сил… И вдруг к нам в окоп свалился ты — наш длинноногий щеголь капитан. Я до сих пор не могу понять, как тебе всегда удается быть таким щеголем — бритым, в сияющих сапогах и с белоснежным подворотничком… Свалился в окоп, и мы уже втроем ели початки. И каждый из нас, наверное, вспоминал свой дом и огород своего детства.

А потом ты отшвырнул початок и бросился к стереотрубе. Я увидел, как дрогнули твои тонкие губы, и ты торопливо погнал стереотрубу слева направо — и обратно.

Как ты мог расслышать, почувствовать ли, капитан?! НП окружали… Я схватился за автомат и похолодел, вспомнив, что оставил на огневой подсумок с запасными дисками. Забыл, как мальчишка! У телефониста — карабин, у тебя — игрушка «ТТ»… И мой автомат с одним-разъединственным диском.

Не отбиться!

Ты мгновенно все понял, капитан. И твои серые глаза наполнились ожесточением. Ты не сказал мне ни единого слова, лишь перевел обжигающий взгляд с меня на связиста и выхватил у него трубку.

Я знал, капитан, что ты до войны преподавал арифметику, и я знал, какой ты отличнейший артиллерист.

Лучший в дивизионе. И убедился в этом еще раз. Ты мгновенно скорректировал огонь батареи по нашему НП.

Это ужасно, когда молотит по тебе батарея тяжелых гаубиц. Хоть они и свои… Ужасно. И когда снаряды стали почти накрывать наш НП, ты сшиб меня на дно окопа и сам, упав, прикрыл меня.

Но как мне быть… Вот уже совсем рядом желтая балка, через какой-то километр дорога нырнет в нее, и я увижу орудия, укрывшиеся в глинистой осыпи оврага. Я подойду к тебе, капитан. Верну письмо… Нет, отдать письмо — это сразу сказать тебе, капитан, все. Жестоко… И я буду мямлить так же, как тяну сейчас шаг.

Помнишь сегодняшний утренний визит «фокке-вульфов»? Они прошли над огневыми дивизиона, не заметив их, и весь бомбовой груз обрушили на деревню. На Малую Рощу… Твоя жена оперировала раненого. Все, кто был в операционной и в этом доме… Потому я и не передал письмо, не выполнил твой приказ.

Но как я скажу тебе об этом?..

Гаврош

Эй, парень, ты опять здесь?

Какие у тебя глазищи! Голодные и совсем уже взрослые. Где я тебя встречал? Представь, каждый раз, завидев тебя, задаю этот вопрос: «где?» Нет, не вчера и не сегодня. Давным-давно. Быть может — в детстве…

Ну конечно же! Теперь я вспомнил: я встречал тебя в книжке. Ты — Гаврош. Какие на тебе штаны, и эта лямка через плечо, и картуз без козырька… Ах, козырек все-таки цел! Прости. Ты просто носишь фуражку задом наперед, чтобы козырек не закрывал глаза. Верно? Им нужно все видеть, глазам, и все запомнить. Все!

Ты был бы очень смешон, карапет, когда бы не было так больно.

Что ты там бродишь у орудий? Если тебя увидит наш капитан… Хотя ты уже с ним знаком. Хороший у нас капитан, верно? Храбрец и красавец. Да подойди ближе, Гаврош! Что там интересного: гаубицы, обыкновенные гаубицы. Я уверен, ты знаешь в них толк. Но лучше все же — иди сюда. Я тебе почитаю стихи. Хочешь? Ты любишь стихи?.. Не подходишь и не хочешь стихов. Понимаю — какие там стихи на голодное брюхо! Я мог бы дать тебе сухарь. Золотистый, представляешь, как он хрустит?.. Целых десять сухарей. И котелок каши. Пшенной, гор-рячей… Наш дивизионный повар — бо-ольшой мастер на пшенку!

Да-а-а… Одно лишь расстройство, дорогой карапет. У меня нет даже и половинки сухаря! Ты и сам, наверное, знаешь. А что поделаешь? Ничего не поделаешь — приказ есть приказ. Велено капитану расположить дивизион под вашей деревушкой. Вот и стоим. Шестой день табором…

Да, видно, забыли о нас интенданты или потеряли — не шлют провиант. Или бомба угодила в ту машину… Война, карапет, ты не хуже меня понимаешь — всякое бывает на войне. А тут, подумаешь, пустой живот. Медики говорят, что это даже полезно. Для профилактики.

Что, невесело? Да, брат, медицина, видно, ошиблась. И ты зря смотришь на кухню. Лишнее расстройство. Это верно — блестит от колес до трубы. Надраил ее повар. Демаскировка! А что ему еще делать, повару? Ни крупы, ни кочерыжки… Труба? Она, конечно, дымит. На то она и труба. Сам, поди, рисовал в школе: если дом — то непременно с трубой, а разве бывает труба без дыма. Но в котле — вода, голимый кипяток. Скоро артиллеристы чай пить будут. Третий день на одних чаях. Кто с корочкой, кто с морковкой: хруст-хруст… Это понимать надо: сплошь все гурманы! А что поделаешь? Погоди, карапет, у меня же был кусок, в полевой сумке…

— Гаврош! Эй, парень, иди сюда. Как звать-то?

— Гавриил.

— Да ну-у?! Слушай, а ты шоколад потребляешь? Такая жизнь, понимаешь, настала — ничего, окромя шоколада. Держи.

— Спасибо.

— Жуй, пища что надо. Немецкий трофей…

Гавриил поспешно сплюнул коричневую слюну, взмахнул рваным рукавом рубашонки и запустил кусок шоколада в кусты.

— Пусть им фриц подавится!

— Погоди!..

Ай да Гавриил! Ушел — и не оглянулся. Выходит, я его оскорбил? Вот это гордец. Герой… А как у него заблестели глазенки, когда он схватил этот эрзац. Схватил… И черт меня дернул похвалиться трофеем!

Ладно, привезут же не сегодня завтра наш провиант. За все дни. Разложат его на плащ-палатках… О, там будет, знаешь, карапет, что там будет? М-м-м… Сухари, сахар, пшено, тушенка. Вот тогда попируем. Всей деревней!

Всей деревней… И где вы там живете? Как живете? Ни единой хаты. В погребах? Под русскими печками? Они торчат, как трубы погибшего флота… Лютует отступающий немец!

Однако что же это делают наши кормильцы-интенданты?!

Что за гвалт? Ребятня… раз, два, три… Да сколько их? Десять, пятнадцать, больше… Ребятня атакует гаубичный дивизион! И впереди — Гавриил. Вот как, значит, это он их собрал. Зачем? И сухаря одного не найдется во всех солдатских мешках.

Но почему навстречу им бежит наш повар? Да еще с ведром. Не усидел я, бросился к кухне.

Не добежал: отнялись разом ноги, опустились руки. И, может, впервые за мой фронтовой путь мокрыми стали глаза — смотрю, а ни черта не вижу, нет — вижу, но не могу поверить, не могу согласиться… И хочется сграбастать в охапку всех этих карапетов — целовать их грязные, серые морденки, их голодные глаза — и реветь, и смеяться…

В заскорузлых крохотных ручонках — то морковка, то пара картофелин, обломок сахарной свеклы, пучок крапивы… Все это падает и падает в ведро, подставленное поваром. Картофелина, еще одна, глянцевитая, теплая, обласканная детскими ладошками… Откуда, из каких тайников принесли они такое богатство, голодные ребятишки? Нам принесли, карапеты, солдатам.

Отставить чаи, артиллеристы!..

Через час мы с Гавриилом орудовали ложками из одного котелка. Он великодушно простил меня. Отличное варево получилось, не знаю, право, как его назвать. Но главное — и густо, и горячо.

Рыжий

Сначала я увидел только дымок. Да, день был настолько чист и ясен, что я разглядел в стереотрубу голубой дымок сигареты.

Дымок поднимается среди зеленой листвы над кустом, рассеивается — и вновь возникает, прозрачный, но настолько явственный, что мне уже кажется — я слышу запах табака...

Мирный голубой дымок сигареты. Мирное, мерное дыхание человека, лежащего на спине за кустом. Значит, он обязательно видит небо. Точно так же, как вижу его я. Видел. Но сейчас я гляжу только на этот вот дымок. Дымок немецкой сигареты. И курит ее немец.

У него рыжая шевелюра — мне ее отлично видно. И голубые глаза. Скорее всего — голубые как небо и, как небо, пустые. Такими я их представляю.

Кто он, этот немец с голубыми как небо глазами, чем он занимался до того, как научился убивать? Лежит, курит и о чем-то, конечно, думает.

Тот, другой гитлеровец, которого я вдруг вспомнил, тоже точно так лежал на спине. И у него тоже были голубые глаза. Но он уже ни о чем не мог думать, пропоротый вилами. Они валялись рядом, у ржаного стожка. Обыкновенные вилы, перепачканные навозом. И рядом стояли женщины, русские женщины-крестьянки. И среди них та, только что выронившая вилы из онемевших рук.

Думал ли о такой смерти тот голубоглазый гитлеровец?

И о чем думает этот, пока еще живой?

О доме, о семье, о детях... Или он сам еще совсем недавний мальчишка? Быть может, мы одногодки, и мечтает он, как и я, о конце войны, о встрече с матерью. Этого мне не разглядеть. Или его одолели предчувствия, и он думает о своем близком конце, о том, что душа его каждую ми-

нуту может отлететь — как этот дым. Вот и курит, жадно глотая горькую голубую горечь.

Что это он так разлегся? Устал? Наверное, углублял траншеи. Вот уже четвертый день передышка: сидим друг против друга в окопах и даже почти не стреляем. Молчат пулеметы, молчат орудия. Затишье перед грозой... И зарывается в землю немец. Научили мы его!..

Он что-то потянул к себе. Блестящее... Бинокль? Но, лежа на спине, в бинокль не смотрят. Да и в небе — ни птицы, ни самолета — голубая пустота.

Сейчас я чуть-чуть поправлю резкость и разгляжу: не стереотруба у меня, а ясновидица: цейсовская трофейная стереотруба... Вижу: в руке у рыжего бутылка, он что-то из нее тянет. Бутылка с голубой этикеткой.

Неужели... Я же знаю тебя, немец! Знаю. Век буду помнить... Вот так встреча... Да, это ты: рыжая шевелюра, бутылка с голубой этикеткой — в ней минеральная вода... Что ж, я очень рад тебя видеть! Ты же вчера был на складе минеральных вод.

Он хорошо виден отсюда — длинный, высокий белокаменный склад на ничейной полосе. Толстенные стены и четверо широких, как ворота, дверей. В двери, что глядят на восток, мы и решили войти: я и три бойца.

Нет, какая там разведка! Так, баловство. Баловство, после которого, бывает, пишут родным похоронки... Но нужна была вода. Кругом — ни ручейка, ни колодца. А подвезти могут только ночью. В горле у всех пересохло... На складе же, говорили, штабеля бутылок с минеральной водой.

Посмотрел я на своих «охотников» — молодцы ребята! На таких только воду и возить... Несколько коротких перебежек, и мы распахнули тяжелые красные двери.

Полумрак и тишина. Узкие лучи, пробивающиеся сквозь пыльные оконца, расположенные высоко под крышей, и тускло поблескивающие бутылки. Стены, улицы и переулки из бутылок...

Мы не стали любоваться «стеклянным царством»: залюбуешься — и попадёшь в «царство небесное»... Растянули на полу плащ-палатку и быстро, в восемь рук, принялись укладывать в нее бутылки с водой. Прохладные, увесистые, коротко и приглушенно позвякивающие. Как снаряды. И, как снаряды, мы их осторожно складывали одну на другую. Я уже подумывал: сейчас возьмёмся за углы плащ-палатки и бегом к траншеям! Может, и благополучно добежим, не успеет немец пристреляться. А может, и залечь придется. Только как не раскокать бутылки... Забота!

Подумал так — и увидел тебя, рыжий. Узкий луч света из оконца падал на твое лицо и на бутылку с голубой этикеткой. Она выскользнула из руки, и в тот же миг коротко, взахлеб, громыхнул автомат: пальнул кто-то из наших.

Я кинулся за штабель, слыша, как рядом со мною с резким цокотом и шипением лопаются бутылки, разбитые ответной очередью.

Да, вот это была встреча! — правда, рыжий?.. До сих пор спокойно не вспомню. Но тебе-то что? Ты, конечно, можешь благодушествовать. Сейчас...

Вас тоже принесло в склад за водичкой? Видно, доконала жажда. Бутылок здесь, наверное, и на армию хватило бы. Лабиринты минеральной воды!

Тишина наступила на складе — ни шороха. Только слышно, как, чуть позванивая, вытекает вода из разбитых бутылок. И почему такой звон? И еще слышал я, как стучало мое сердце. Я смотрел вдоль нескончаемой стеклянной улицы и лихорадочно думал: в какую сторону сделать бросок? Или пока так вот и стоять без движения? Четыре автомата — хороший огневой заслон. Не сунутся. Только где они, немцы? Сколько их? Драпанули? Или, как и мы, затаили дыхание? Послушают-послушают, а потом

через штабеля аккуратненько к нашим ногам подбросят пару гранат. Вот будет битой посуды!.. Сумел-таки я тогда усмехнуться...

И вдруг совсем рядом, за ближайшим штабелем, раздался резкий, срывающийся голос. Это был твой голос, рыжий. Теперь-то я хорошо знаю.

«Ифан, Ифан! Нихт штреляйть!.. Нойнцванциг минутен — нихт штреляйть! Зер гут, Ифан?.. Васер ла-за-рет зольдатен... Ферштеен?»

«Лазарет? — еще бессмысленно повторил я русское слово и сделал знак бойцам быть наготове: зубы, гад, заговаривает. — А-а, лазарет! Понимаю. Ихь ферштеен, Фриц. Вассер — лазарет зольдатен?»

«Я, я!.. Нихт штреляйть! Зер гут?»

«Зер гут, Фриц. Вы — шнеллер своей дорогой нах хаузе, мы — своей. Я? Ферштеен? Нихт капут. Нах хаузе...»

И чему только нас учили в школе целых десять лет! Надо поговорить с человеком, и ни единого предложения сказать толком не могу... А Фриц, видно, и вправду стрелять не хочет.

«Фойер — огонь штреляйть нихт!» — орет он.

«Гут, Фриц: фойер не надо. Ферштеен?»

«Я, я — огонь не нато! Гут, Ифан. Васер, во-дич-ка есть ла-за-рет зольдатен. Война — нихт, война — пе-ре-кур... Гут?»

Да, ты перещеголял меня в знании иностранного языка, рыжий! И не только языка... Но я узнал об этом слишком поздно...

«Перекур, Фриц! — крикнул я тебе. — Зер гут!»

Мы не стали догружать плащ-палатку. Перекур перекуром, но рыцарские времена давно миновали... Нас-то четверо, а сколько там, за штабелями, немцев? И что они затеяли? Прислушавшись к постукиванию бутылок за штабелем, мы быстро и по возможности бесшумно побежали к распахнутым дверям, держа за углы нагруженную бутылками плащ-палатку. Бросить мы их не могли: самолюбие часто торжествует над чувством самосохранения...

Вот над нами и небо. Теперь три-четыре перебежки — и мы будем в траншее. Быстро!.. В этот миг бутылки, будто бы взорвавшись, плеснули мне в лицо водой и осколками. В первый момент, ошеломленный, я не мог понять, что случилось. Все четверо мы ничего не поняли и все еще продолжали бежать, пока вдруг задний левый угол плащ-палатки не вырвался из рук бойца. Он упал. Бутылки, а за ними и мы, трое, грохнулись на землю. Только тогда я понял, только тогда услышал: «Ифан! Перекур кончаль!»

И все стало понятно: кричал и стрелял из автомата ты, рыжий. Там, на складе, силы оказались неравными — ты был один, а нас четверо. Ты струсил, но удивительно быстро сообразил, что делать: теперь же все преимущества были на твоей стороне: мы в открытом поле, а ты — за каменной стеной.

«Ифан! Перекур кончаль!» — гоготал ты и бил короткими очередями...

В изодранной пулями плащ-палатке мы приволокли в траншею тяжело раненного товарища...

Я теперь знаю, рыжий, о чем ты сейчас думаешь, глядя на голубое небо и куря сигарету. Вспоминаешь не без самодовольства нашу встречу в стеклянном лабиринте. Пыжишься, думая о том, как ловко оставил в дураках «Ифана», и досадуешь, что плохо стрелял. Да я бы с твоей позиции уложил всех четверых. Ты просто трус и бахвал, рыжий. Однако сейчас — наверху блаженства и мнишь себя всемогущим.

Ты снова закуриваешь? Напрасно: «Перекур кончаль», так ведь, рыжий?..

Дмитрий Вилков

Где прячется край света

На окраине

Над гаражами небо рыжее,
За пустырями зреет мрак.
А сзади, озером приближены,
Не могут утонуть никак

Огни печальные, вечерние
(Следи, но на скамье не спи), —
Мерцает фара через тернии,
Прожектор, сорванный с цепи,

Скользнёт, нашарит боль бесслёзную,
Скользнёт обмылочком во тьму...
И слушай песнь электровозную,
Не постижимую уму.

Осень

(Из Р.М. Рильке)

Кружатся листья и летят с небес,
Из дальних мест невиданного сада.
Летит Земля всю ночь сквозь звездопады.

В паденье этом — рана и отрада,
И неизбежный отрицанья жест.

Да, так и есть. Всё тление и прах.
И падает рука, и каждый смертен.

Но кто-то выше, над небесной твердью,
Хранит паденья в бережных руках.

Дмитрий Вилков — родился в Горьком, окончил филологический факультет Нижегородского педагогического университета. Преподаватель Нижегородского технического университета им. Р.Е. Алексеева. Стихи и критические статьи печатались в журналах «Урал», «Дружба народов», «Юность», «Знамя», «Москва», «Нижний Новгород», «Алтай», «День и ночь», в альманахах и др. изданиях. Живет в Нижнем Новгороде.

***

Паук переползёт дорогу —
Я верю. Но велосипед
Навстречу. И кроссовка бога
Педаль утюжит. Фары свет
Расшвыривает тьму и листья.
Ползи, спасайся или жди!
В наушниках «Агата Кристи»,
А крест на головогруди,
Нет, на спине. Моргает фара,
Дрожит покинутая сеть.
Мир содрогнется от удара.

Затормозить. Успеть.

Предсказание

Много ещё подводных камней,
О которые придётся споткнуться,
Чтобы однажды приснилось,
Что
Кто-то
Идёт по воде.

***

В школе я больше всего любил географию,
Потому что только география
Давала призрачную надежду
Однажды
Выйти из дома
И никогда не вернуться.

А затем в старших классах
Я больше того полюбил астрономию.
Потому что она дарила надежду,
Растеряв всё,
Сгинуть,
Исчезнуть в мировых пространствах
И безднах, которым и названья-то нет,
Забыв себя, себя забыв, забыв,
И однажды
Найтись,
Вернуться
Подобно никем не узнанной
Комете.

И вот, по прошествии эпох, эр и эонов,
Ты снова стоишь
На пороге того самого подъезда,
В котором должна быть та самая квартира, которой уже нет.
Отпылали страсти, стихли ураганы,
Спят в холодных постелях великие учителя.

Теперь ты точно знаешь,
Где прячутся края света,
Как дотянуться до линии горизонта,
Что движет солнце и светила.

Но
Немеют на зимнем ветру пальцы,
Мерцает, словно ядро галактики, огонёк домофона.
И ты не знаешь,
Подниматься или не подниматься.

Разрушенный сонет

Наш Эдем среди проталин!
Из панельных серых спин
Вырастает русский сплин.
Для меня ты идеален!
Принц наследный из промзон,
Камелот твой не достроен:
Он в тебе, певец и воин.

Ржавым когтем, как дракон,
Тычет арматурой свая
В поднебесье с пустыря.
Где искать себя, я знаю:
В прятки там играл не зря.
Зарево сплошного рая,
Легендарная заря…

Новая дорога

Ушла поэзия в поля.
Над ней теперь не критик —
Парит орёл, и тополя
Следят вдали навытяг,
Как веет в рифму суховей,
Земля гудит верлибром,
Как скачет всадник из людей
И далью молча прибран.

Поступь прогресса

Нейросеть
недавно научилась
писать гороскопы.

Скоро люди
наконец-то научатся в них по-настоящему
верить.

***

Кровят цистерны на закате.
За расставанием некстати
Там, где платформы вовсе нет, —
Твой след.
Весны несчастное начало:
Нам вечности осталось мало.
Внутри нас музыка звучала —
И свет.

Теперь заговорят деревни,
Глотая дым глухой и древний.
Вчерашняя листва горит,
Как всё, что между нами стало,
Как горькое любви начало
И первой смерти
Стыд.

Обрыв провода

Всё ослепительно сбылось,
Всё, что приснилось мне сегодня, —
Насквозь пробивший жилу гвоздь,
И нет сети. Зима Господня
Нас обступила и молчит,
Пока любовь проходит мимо,
И в свете том стоят врачи:
Тоска темна, неисцелима.
И от звонка и до звонка
Нет ни свободы, ни покоя.
Бьёт в стёкла времени река.
Я просыпаюсь. Что такое?
Стоят деревья, как войска,
И не сдают окно без боя.
Окно, где нет Тебя. Но свет
Больничной белизной маячит,
Но ничего уже не значит
Пустой и мёртвый интернет.

Наталья Викторова

Чайки, чайники, чаинки

Роман

Предисловие

Происшествия моей жизни не то что увлекательны, но многообразны.

Начнем с аналога математического понятия.

Модуль события в жизни — это то же событие без отрицательной оценки.

Например: «Мелькали мысли о самоубийстве, но в момент наибольшего запáда, выйдя утром из дома, неожиданно становилась бешено счастливой, ощутив, как прекрасен ветер. Растворялась в воздухе». Вот пример модуля.

Конечно, модули — подарок Природы. Можно считать их благодатью, снисходящей к вам как аванс.

И началось все в неопределяемо раннем возрасте: «Я просыпаюсь в полдень одна и иду по коридору в кухню. Я иду, а под ногами у меня солнечные пятна. И вот вхожу в кухню, а она вся — свет. До этого я наверняка видела солнце и раньше, и в кухне оно иногда лежало после обеда, но этот миг я запомнила, потому что он и был тем самым недосягаемым счастьем жизни».

Конечно, во времена тяжелых переживаний, особенно в двенадцать лет, я забывала модули. Тот самый первый стресс изменил моё отношение к людям, но, думаю, такова моя природа, — характер я унаследовала от отца, рожденного кабинетным ученым, но прожившего совсем другую жизнь. Как справлялась? Мой способ выживания? Как животные притворяются мертвыми, так для меня это — замирание, метод неучастия, уход в размышления, отказ от какой-либо борьбы: за кусок хлеба, за социальное положение, за «красивую жизнь». Франциск Ассизский мой идеал, но Франциск деятель, строитель жизни. Мне, пожалуй, ближе панки, люди, не желающие «во всём этом» участвовать.

Как всё это в книге?

Еще будучи ребенком, и позже, начиная самостоятельную жизнь, героиня сталкивается с тяжелыми обстоятельствами. Как меняется ее характер, что она преодолевает и чего преодолеть не может, об этом ведется иногда очень откровенный рассказ. Поэтому можно сказать, что книга о преодолении. Но дело не в этом.

С натяжкой можно считать, что книга — рассказ о первой любви, случившейся с главной героиней через пять лет после окончания ею МГУ. След этих переживаний в последних двух частях книги, написанных в разное время, будет тянуться до конца и окончится на Луне. Но дело не в этом.

Наталья Викторова (Юлина) — родилась в 1941 г. в Москве. Окончила механико-математический факультет МГУ. Тридцать лет преподавала математику в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ). В 2002 г. выпустила книгу стихов. Пишет прозу и пьесы.

Часть первая
Детские годы деда Макара внучки

А река, смеясь безмозгло,
Разбивает старый лёд,
Потому что ей всё можно,
Всё на свете хорошо.

Первая глава, когда всё на свете хорошо

Есть ли жизнь на абажуре

Начну-ка я выдумывать своё собственное детство, но всё по порядку. Сначала надо родиться.

Не то чтоб долго я рождалась, но препорядочное время. Помню, плаваю я в теплой маминой воде, и никакие дурные мысли мне в голову не приходят, и тут природа вдруг стучится в моё убежище и властно приказывает выходить.

Я начала стараться, я старалась почти сутки, и вот, посиневшая от нечеловеческого труда, я своею преждевременно окостеневшей головой наконец пробилась на этот свет, так некстати названный белым.

Мама лежала чуть живая, истекая кровью, и тут я издала победный клич на октаву ниже писка всех моих сверстников. Моя часть работы оказалась смертельно опасной, но я одержала первую победу. И вот она началась — жизнь.

Дядька Витька рассказал, что, когда в первый раз увидел меня, я смотрела вокруг с таким удивлением, будто совсем не это ожидала увидеть. Конечно, я уже была в возрасте, поскольку пару недель провела в роддоме: мама была при смерти, ее даже заставили завещать меня, и в жизнь она выползала с большим трудом.

Тяжесть моего рождения объяснялась тем, что природа долго не желала давать мне сигнал на выход, и от этого я появилась, имея большие преференции, — у меня оказалась твердая голова, лишенная всяких недостатков, что позволило устремиться к цели семимильными шагами. В полгода я уже говорила (и хотелось написать — писала, но это было бы враньем) и ходила, держась за руку, за лавку, за диван и за всё, что для этого годилось. Ползать мне просто не приходило в голову.

Но тут немцы начали бомбить мой город.

Помню, все спускались в бомбоубежище с плохим настроением, кроме, конечно, меня. Каждого на меня взглянувшего я подбадривала ослепительно беззубой улыбкой.

И тут бомбежка кончилась сразу после того, как бомба попала в наш дом. Бабушка падает без памяти, потому что в квартире остался мой дядька Витька. Он всю ночь дежурил на крыше нашего дома, собирая фугаски, но вместе со звуком сирены его дежурство кончилось, и он ушел спать.

К счастью, бомба упала в середину дома, и наше крыло выстояло. И вот мы поднимаемся на наш четвертый этаж — дядька Витька спит сном праведника, прикрытый поверх одеяла настенными часами с маятником и боем. Ни боя часов, ни грохота от взрыва бомбы, сдернувшего со стены часы, он не слышал.

Я вполне обжилась в этих непростых, но упрощенного комфорта условиях. Так как не было никаких натуральных продуктов, ни молока, ни сахара, то врачи рекомендовали маме кормить меня грудью столько, сколько она сможет. Я ела и пила исключительно продукт, произведенный моею мамой: подбегала к ней и требовала асяньку. Потом мама начала работать в школе, а нянькой пристроили дядьку Витьку. Чем он меня кормил, трудно сказать.

Будучи неробкого десятка, к тому же с природной склонностью к экспериментам (нечего и добавлять, что я унаследовала эти неплохие, в сущности, черты), время от времени он сажал меня на абажур, чтобы поглядеть, как я буду добывать пищу. Даже такому неглубокому уму, как мой, быстро становилась очевидной ошибочность его действий, и я требовала компенсации.

Тогда дядька Витька клал меня в коляску, привязывал к ее ручке длинную веревку и отпихивал этот экипаж в дальний конец коридора. Коляска верещала ржавыми сочлененьями, уж не помню, смеялась я или плакала. Тут он выбирал петли веревки, я возвращалась к нему, благодарная за спасение, а он повторял аттракцион снова и снова.

Сказка, ласки, леденец

Мой дед, как теперь и я, не мог спокойно жить, если не узнал последние новости. В пять лет моей обязанностью стало после работы читать деду свежую газету. Учили меня читать, или я сама овладела этим искусством, еще сидя в утробе мамы, трудно вспомнить.

Если у деда выдавался беззаботный часок, он становился моей куклой. Я собирала его мягкие, тонкие волосы в кисточку, заворачивала лентой и завязывала бантик, эта игра мне нравилась, а вот кукол тряпочных, целлулоидных и прочее барахло я презирала.

Я могла часами играть с большой коробкой карандашей. Каждый карандаш был членом многочисленной группы людей. Там было много детей, много взрослых, и все они увлеченно чем-то занимались. Подробнее про эту игру сказать ничего не могу, потому что я выросла и сделалась туповатой.

То, что хочу сейчас рассказать, произошло много раньше карандашей. Это было время, когда голову никак не тормозило тело, я просто не знала о его существовании, да, тело тогда еще не добавилось к моей голове.

Я просыпаюсь в полдень одна и иду по коридору в кухню. Я иду, а под ногами у меня солнечные пятна. И вот вхожу в кухню, а она вся — свет. До этого я наверняка видела солнце и раньше, и в кухне оно иногда лежало после обеда, но этот миг я запомнила, потому что он и был тем самым недосягаемым счастьем жизни.

Конечно, никто меня больше на абажур не посадит. Время моё прошло. Но немножко я продолжаю жить на абажуре. И не высоко, но сверху. А пока в квартире со счастьем живет еще одна семья, и в ней мальчик Миша. У него большая голова и полное отсутствие интеллекта. Как только его выводят на улицу, он, не раздумывая, бросается под машину, и взрослые с трудом вытаскивают его из-под колес. Не думаю, что Миша так отважен, мол, выскочу и одержу победу над этим чудищем. Скорее он теряет голову от страха, поэтому бежит не от машины, а прямо на нее. Одно слово — мальчик.

Не подумайте, что я такая злая и не люблю сверстников: у Миши была сестра Оля, на год меня старше, моя душевная подружка.

Любимой, тайной игрой у нас с Ольгой была игра в ёлку. Ставили в коридоре один табурет, на него другой, перевёрнутый, в него горшок с цветком, самый большой, какой могли поднять. Ёлка готова. Вернее, не ёлка, а её начало. Ёлка — это когда наряженная.

Сначала всё это заматывается бельевой веревкой. Чем больше, тем лучше. На веревку можно вешать всё: носовые платки, фантики, платки другие, шапки, мамину старую шляпку, её прозрачную кофточку, а чтобы блестело, можно втыкать гвозди, засовывать стеклышки от секретов, ложки, скрепки, вилки. Мы работали с Ольгой уже два часа, но всё чего-то не хватало.

Вдруг Ольга оборачивается и кричит «мама» так, что я вздрагиваю. Ее мама с ней не живет, потому что она умерла. Они приехали из Средней Азии после землетрясения уже без мамы. Я поворачиваю голову и вижу очень красивую женщину. Она, ласково улыбаясь, смотрит на елку, потом в полной тишине начинает нам помогать. Как только Оля называет её мамой, она

прикладывает палец к губам, как бы говоря: «тише, если будешь шуметь, я исчезну».

Ёлка переливается всеми цветами радуги, ёлка торжествует вместе с нами. И тут у мамы в руках появляется серебряная звезда. Она прикладывает ее к самой верхушке, и мы, не отрывая глаз, смотрим на звезду. В углублениях серебра вспыхивают красные огоньки и змейками выскакивают наружу. Оля плачет. Сначала про себя, потом появляется голос, и в этот момент мама со звездой исчезает. Она просто тает в воздухе.

Больше мы с Олей в ёлку не играли, зато рассказывали друг другу случаи из жизни. Вот случай из Олиной жизни.

Оля была такая маленькая, что не разбиралась, кто красивый, а кто нет. Кто добрый, тот и красивый, так у нее получалось.

И поселилась она в необитаемой деревне. Никто там не жил, кроме Крокодила. Он оказался таким добрым, что Оля его полюбила и считала самым красивым.

Но Крокодил, как он часто повторял, быстро старился и боялся умереть. Однажды он колол дрова и упал. Оля не хотела, чтобы он умер, и ждала, когда Крокодил встанет. Он не встал, и девочка принялась плакать. Она плакала так сильно, что вокруг образовалось море слез. Плавать она не умела, но, когда начала тонуть, забила руками-ногами и поплыла. Скоро она научилась плавать, совсем не уставая и глядя в небо, и наконец приплыла к маме. Войдя в дом, она увидела, что пьют чай. За столом сидел Крокодил и дул в блюдце.

Мы не очень твердо знали, кто такой крокодил. Олин папа называл «этим крокодилом» своего начальника на работе. Но в истории начальнику не было места.

Когда подружка пошла в школу, не очень я ей завидовала, потому что всё равно считала себя старшей. Помню, как Оля спросила меня, как пишется: «онекдот» или «анекдот», и я, надув щеки, обучила ее релятивистскому подходу к проблеме. Объяснила, что пишут и так, и так, — всё дело в том, про что анекдот.

Истории из жизни вроде крокодильей мы рассказывали друг другу в охотку и не часто, зато каждый день носились по коридору, придумывали разные занятия и еще выбегали из кухни на балкон посмотреть на трамваи. Это зрелище захватывало нас сильнее всяких сказок. Близко от нашего подъезда на трамвайной остановке скапливался народ. И вот высокий домик с окнами, мелодично прозвенев, подкатывал, из него кубарем вываливались люди, как муравьи расползались в разные стороны, а в это время дребезжащее чудо, изобразив пылесос, уже всосало всю прежнюю толпу. Бесконечная повторяемость и неповторимость движений приковывали, — это как смотреть на огонь в печи.

Иногда со звоном проходил грузовой трамвай, где-то задетый бомбой и залеченный синей высокой фанерой, стоявшей вертикально по бортам. Во времена, когда я не могла в силу объективных причин выходить из комнаты, я рассматривала улицу, стоя на подоконнике. Тогда, за неимением жизненного опыта, я называла такие штопаные трамваи рваными.

Но вернемся к нашим с Ольгой играм. Балкон с широкими выходами в небо между ржавых железных брусьев был старым и каменным. Чтобы мы, разгоряченные игрой, прямо из кухни не выскочили с четвертого этажа, между брусьями навязывались проволочки, их легко можно было отвязать, но старшие запрещали это делать. То ли дед, то ли дядька Витька, то ли я сама — кто-то из нас выступил автором такого толкования: если отвязать даже одну проволоку, балкон сразу обвалится. Мы с Олей, находясь на первобытном уровне развития человека, боялись даже дотрагиваться до проволочек. В жизнь входило колдовство, тайна, не подчинявшаяся никакому разуму.

Вот еще одно волшебное место, это уж Олина придумка. Живет она в деревенском двухэтажном домике на втором этаже. Чтобы попасть в это место, надо сначала слезть по крутой лестнице вниз, потом подняться по другой,

потом опять спуститься, опять подняться, открыть гигантскую дверь, включить ослепительную огромную лампу в черной-пречерной комнате с названием «ОМ». Попасть ночью одной в такое место — не приведи бог.

Ледоход в Кожевниках

А с мальчиками всё как-то не клеилось. Не могли они мне понравиться. Первый раз, конечно, Миша, брат подруги Оли. Второй раз случилось еще в доязыковый период, когда я не безмолвствовала, но объяснялась звуками и жестами.

Везла меня мама в трамвае. Сижу у нее на коленях, в руке держу любимый совочек, не смогли его у меня вырвать после песочницы. А напротив нас сидит пренеприятный мальчик, его лицо мне принципиально не понравилось. Терпела, терпела, терпела, и тут терпенье лопнуло, и я совочком залепила в ненавистное личико. Младенец завопил, а моя мама, схватив меня в охапку, выскочила из трамвая.

И третий раз, это уже учусь. После уроков выхожу из школы в коллективе подруг, и тут едва замеченный мною мальчик, тоже в коллективе, только своем, мужском, оттягивает резинку на рогатке, и металлический заряд летит мне в ногу. Боль сливается с яркой ненавистью не только к этому, но ко всем лицам мужского пола на земном шаре. Дед к тому времени уже умер, а дядька Витька уплыл за горизонт. Наступило время соприкосновения с неприятными людьми. Выросла я и научилась прощать, как теперь выражаются, стала толерантной, и пришло мне в голову, а чем черт не шутит, может быть, мальчик с рогаткой это тот самый, кого я так немотивированно (с его точки зрения) атаковала, вооруженная совочком.

В развеселое дошкольное время папа был на фронте, а мое человеческое общество состояло из деда, бабушки, мамы, дядьки Витьки и соседки, ровесницы Ольги. Никаких садов-яслей не было, и первый мой выход в общество в пять лет состоялся в туберкулезном санатории. Что такое этот санаторий? Пожалуйста. Передо мной ветка орешника — листья широкие, большие, сзади меня такая же ветка и невысокая трава в стороне. Всё. Это и есть санаторий, где я провела три месяца.

А в Москве природы вокруг еще меньше. Любимая природа появлялась весной — ледоход.

Наш дом отделялся от Москва-реки большим пустырем, местом моих юношеских подвигов. Там мы жили большой компанией, и я, по слухам, считалась не последним атаманом (до моего слуха это донес дядька Витька уже много лет спустя). Но ледоход… Я в школе — перед школой мы уехали в сухопутное место — хотела где-нибудь описать, рассказать, что такое ледоход, но всем было неинтересно. И вот он, случай.

Приходишь на берег и тут же с большой скоростью начинаешь уплывать. Всё серое, вспученное, каменное, ледяное стоит на месте, а ты летишь вперед. Страсть к такому полету — это первое наркотическое переживание. Поймать кайф от затяжки сигаретой разве не то же. Если б в детстве я не плыла перед ледяными завалами, то не была бы такой… глупой или инертной, или вообще была бы другой.

С тех пор я никогда не видела ледохода. Во-от, вот почему я становлюсь с каждым годом всё глупее.

Школа 629

Тридцатого августа собрали класс. Чужая тетя учитель нарисовалась страшной угрозой.

Огромная — и я поняла свою крошечность. Усатая — и я осознала, что у меня совсем голое лицо. С агрессивным мужским голосом — и моя колоратура превратилась в писк.

Вернувшись после казни домой, я категорически отказалась хотя бы раз добровольно пойти в школу. Но угроза была ложной, наша учительница Анастасия Ивановна, старенькая, худенькая, с тихим, мягким голосом, ничем не напоминала того усатого гренадера.

Тем не менее в первый день от страха девочка Никифорова, высокая, как нам, колобкам, казалось, с напуганными глазами, похожими на спелую вишню, описалась посреди урока. Никто не смеялся, все смотрели на нее с ужасом. Если с ней это случилось, так что, и с нами может? А девочка Никифорова уже никогда не будет как мы. Она будет великомученицей, снявшей с нас первородный грех недержания.

В классе не было мальчиков. А я неделю назад победила Альку из квартиры под нами. Мы только переехали с берегов Москва-реки в новый дом. Спустилась по лестнице, и тут вполне неизвестный мне Алька молча замахнулся на меня, я молча врезала ему, и больше он никогда ко мне не приставал. Я хотела побеждать еще, но в классе не было мальчиков. Пришлось их выдумать. Всех девочек класса я рассортировала на мальчиков, девочек и нейтральных персон.

Мальчики — это громкие кривобокие пофигистки. Девочки — тепленькие, мягонькие тихони. Все остальные — нейтралы.

С первых дней я произвела хорошее впечатление, и одноклассники доверили мне свои уши. Моя специализация называлась санитарка. Я ходила в школу с красным крестом на белой повязке повыше локтя. Мне вменялось перед уроками стоять у входа в класс и заглядывать каждой входящей в уши. Я ни разу не заметила грязи в ушах, за что меня уважали, но не любили, потому что любовь в этих сердцах проснется классу к пятому. Мы были стадом овечек, снимавших свои шкурки только при выходе из школы.

Тарычево

После первого класса, а также после второго, третьего, четвертого я вместе с колонной родственников по папиной линии отправлялась в Тарычево. Овечья шкурка так прилипла к моему тельцу, что кузина Лиза, на два года младше меня, считала меня барашком. Кем еще может быть существо, нырявшее с книжкой на целый день в заросли золотых шаров?

Школа, неприятности с Лизой не могли стать причиной моего изменения. Дело было в другом — перед началом дачной жизни умер дед. Вот она, старая фотография. Я стою ближе всех к гробу и с растерянным недоверием смотрю в лицо деда. Выглядит эта малютка не по годам юной. Больше четырех ей не дать. И вот смерть деда переломила младенчество.

Слава богу, кузину Лизу с хорошеньким личиком в форме колеса можно было увидеть только за полчаса до сна. Где она пропадала, никто не знал, но, судя по ее иногда матерным словам в случае, если что-то казалось этому шестилетнему ангелу неправильным, она всё своё рабочее время посвящала дружбе с деревенскими ребятами.

Если Лизаньке на ее пути попадался барашек, она без всяких слов объясняла, кто в доме главный, мимоходом сунув свой крепкий кулачок мне под ребра. Я старалась ей на глаза не попадаться, зато старшая сестра Ксюша не могла этого избежать, поскольку спали они на соседних кроватках. И что же? Еще не открыв глаза, Ксения урезонивала сестричку за вчерашнее и наконец в сердцах выкрикивала: «жидовка ты». На что получала молниеносный ответ: «а ты еврейка».

Это означало, что они проснулись и готовы к новым битвам, но до завтрака не хватало сил, а после завтрака оказывалось, что у каждой дел невпроворот, и они разбегались.

Просидев полдня с книжкой под окном нашей комнаты, барашек шел на травку. Лес был далеко, а кругом тропки бегали по лугам и спускались в овраг, в тот первый год я часто уходила туда. Мои размышленья привели к

мысли о смерти. Я не похожа ни на Лизку, ни на Ксюху, ни на других родственников — значит, я должна скоро умереть.

Думать о смерти я начала ровно в семь лет, после похорон моего деда. Сразу за домом начинались луга и овраги. Мысли мои в одиноких прогулках по окрестным тропам я помню до сих пор. Сравнивая себя с многочисленными родственниками, кузинами и кузенами, — я твердо решила, что я — другая, а значит, должна скоро умереть. Это не было печалью, это было тишиной. Думаю, такая работа если началась, ее уже не остановить. Кого она из тебя делает, святого, злодея или — два притопа, три прихлопа, об этом ты получишь от жизни уведомление ближе к концу.

Выбор, несомненно, ты делаешь сама, но кто ты, вот это для тебя и тайна, бывает, выбрала одно, получила другое.

…И на пригорке дикий лук…

Конечно, мама про такие мысли не знала. Взрослые всегда плохо понимают детей. Даже детское счастье.

Семь, семь, семь — да это ж восторг! Зима, сумерки, и мы на горке. Горка снежная, огромная: на санках, на картонке, на заднице мы все летим вниз и опять бежим вверх. Всего десять градусов мороза, и это такая жара, что щеки пылают, к спине прилипла кофта, шапка где-то зарылась, нужна-то больно, как-нибудь потом откопаем. Кого-то хватает за руку и уводит старшая сестра, кто-то сам не выдерживает и уходит. Сначала летим на ногах, потом падаем и съезжаем на пальто. Черные дома, черные звезды, на лице тает снег, лед скребется в спину…

И вот смотрю теперь на это место. Рядом с домом маленький бугорок с чахлой клумбой. Как мы могли устраивать на нем слалом без лыж?

Детство — счастье, пусть слегка подгорелое.

Колодец

Если мама оставалась со мной на день, мы шли на пруд. На том берегу стояла заброшенная церковь, напоминая, что когда-то здесь в своей усадьбе жил помещик.

А у нас трава обрывалась перед узкой полоской лысого берега, где на песок из воды выползали пиявки, чтобы с нами познакомиться. Мама, биолог по профессии, приучила меня интересоваться любыми живыми существами. В первый же год знакомства с прудом я поплыла и сразу поняла, что родилась если не рыбкой, то пиявкой. Так я вписывалась в природу, но не без проколов, в самом деле, чего можно ждать от первоклассницы, прозябавшей всю свою убогую жизнь в каменных джунглях.

Я боялась насекомых, всех, но особенно летающих. Однажды мы пошли с мамой на колодец, небольшое ведро она прицепила на веревку, на скорости опустила и разрешила мне с середины подъема самой вращать ручку ворота. Несколько раз я повернула ручку, гордая своей немыслимой силой, и тут увидела зависшую над головой осу. Я отпустила ручку — до воды ли тут, если бесшумный неземной оборотень выбирает на мне место, чтобы причинить смерть, — и присела. Ворот под тяжестью полного ведра начал бешено разворачиваться, а ручка бить меня по голове. Мама схватила свою зреющую тупицу, принесла домой и положила в темной комнате с холодным компрессом на голове, запретив шевелиться пару дней.

Но никаких признаков сотрясения мозга не было, хотя, возможно, тайные изменения и случились. Зато этот случай я вспомнила в девятом классе на уроке войны и мира. Учитель, маленький мужичок с хохолком, спросил меня, какие бывают средства тушения пожара. Я хотела сказать «ведро», но показалось, что это — чересчур скудное средство, и я выпалила: «ведро-автомат». Класс покатился хохотом, хохолок пришел в ярость и, чтобы уничтожить меня морально, молвил: «У вас такая крепкая голова, что, если вы сейчас выпрыгнете с четвертого этажа, станете только умнее». Я не по-

следовала совету учителя, видимо, действительно, голова была крепкой, но вспомнила случай с колодцем.

Гармонист Тимофей

Итак, я благополучно росла, вот мне уже девять, и меня берут с собой, когда субботними вечерами все вместе идут на «пятачок». В конце деревни местная молодежь собирается, становится в круг, играет гармошка, поют частушки, пляшут. Яркие платья, красивое высокое место деревенской улицы перед спуском с горы — всё праздник. Моя неумная память не оставила и следа филологических chefs-d`oeuvre`ов. Но, возможно, подсознание сложило кое-что в копилочку: «Я двоюсь, двоюсь, двоюсь, а потом не склеиваюсь. Одного любить боюсь, а двоих осмеливаюсь», через много лет, когда я стала взрослой, моим деревенским подругам нравилось.

На пятачке играл на гармошке наш хозяин Тимофей. Он ходил всегда в кепке, потому что был ранен в голову, и прямо на его макушке под кожей шевелился мозг. Жена Тоня часто не пускала в дом припозднившегося мужа, не сильно уважая немощного инвалида, и нередко Тимофей сквозь утренний туман неясно маячил на хозяйском крыльце. Днем, часам к двум, высыпался, приходил к нам, садился на крыльцо и заводил разговоры.

«Вы видели на том берегу пруда церковь, — начинал он. — Так там усадьба стояла раньше, и жил помещик по фамилии Богданович. Вот про его деда мужики рассказывали, что жил тот совсем один, только кот, петух и Богданович. Кот на солнце грелся, голенастый Петух красиво ходил, а Богданович их кормил и любил смотреть, как Кот раскинулся на солнце, а Петух по двору вышагивает.

Однажды выглянул Богданович из окна, а во дворе два Петуха. Один прежний, а другой похожий как две капли воды на Кота. Понял он, что Петух соблазнил Кота тоже петухом стать. Зернышек обоим насыпал и пошел отдыхать.

На следующий день смотрит, а на дворе два Кота. Один прежний, другой как две капли воды похожий на Петуха. «Ага», — понял Богданович, положил обоим котам по рыбке и пошел отдыхать.

На третий день смотрит, по двору гуляет Петух, точь-в-точь — Кот прежний, а Кот переливается таким цветом, как прежний Петух.

Завидно стало Богдановичу, и решил он превратиться… только в кого? Пока решал и сомневался, голова его сделалась петушиной, а вместо рук — лапы кошачьи. Долго смеялись Кот и Петух над Богдановичем. Потом Кот исчез куда-то, и вдруг из дома выходит Богданович.

Ну, и как? Новый Богданович на самом деле Кот или Петух?»

Я и Лизанька кричали в один голос, я — «кот», Лиза — «петух» к большому удовольствию Тимофея.

Не знаю, что тут правда, но Богдановичи тут жили, одна старуха маме подтвердила.

В некоторые дни Тимофей, если ему станет скучно, много чего рассказывал, и про то, как Ваня женился, и как лошадь на крыше у него жила. Последнюю сказку я у Афанасьева читала, а первую не нашла.

Сама Тоня за двоих-троих тянула хозяйство, часто пробегая мимо нас, бездельников, и останавливая наше внимание здоровенной задницей, жадно прикусившей юбку.

Грибы

Если в какой-то день набиралось много дачного народа, то большая компания отправлялась за грибами. Кузину Лизаньку не брали по причине незрелого возраста, хотя на самом деле боялись скандала: лишить ребенка общества душевных друзей было невозможно.

Самым испытанным и искусным грибником всегда показывал себя дед Миша, муж бабушки Дарьи, нашей здесь главной воспитательницы, — он приносил самые большие корзины грибов. Однажды двое суток не возвращался. Никто не волновался, но мне казалось, когда он, вернувшись, подходил к дому, что папин папа подлинный Будда. Я насчитывала ему больше ста, а возможно, и двухсот лет, и в таком возрасте ночная жизнь в лесу кому же другому окажется под силу. Их союз с Дарьей полнился противоречиями. Она светская женщина, он — Будда. Примерно как Софья Андреевна и Лев Николаевич.

И вот большой компанией выбираемся из дома. Дорога идет через ячменные, потом овсяные поля. Сквозь тонкие стебли светят яркие звезды васильков, вдали волнуются пшеничные поля, а еще дальше виднеется башня МГУ.

И тут нас окружает ослепительно белая роща берез. Бывало, находили на открытых полянках белые, но показывались они не всегда. Дальше выходили к нам подберезовики, подосиновики, лисички, на худой конец трухлявые сыроежки: красные, лиловые, коричневые. Подальше, сильно подальше, начинался огромный запущенный сад, а в нем заросли свинушек. Если уж добрался до сада, то потащишь домой несметное множество светло-бежевых толстеньких грибков, это на засолку.

И вот садимся перед большой сковородой за огромный стол: мелюзга и бабушка Даша. Грибы с картошкой — ничего себе, много-то не дадут. В это время с улицы слышится призыв: «Лизка!!» Потом опять: «Лизка!». Все замирают, и Дарья Дмитриевна негромко говорит: «нет ее». Ксения громким, строгим голосом повторяет: «Ее здесь нет». Баба Даша усмехается: «Ловко у тебя выходит».

Но младшей кузине не до друзей и даже не до грибов. Рядом оказался гость, мальчик на год ее младше, и бой в тлеющей фазе начался еще до обеда. Теперь он в разгаре. Если бабушка отвернулась, можно врезать и рукой, но, конечно, основная битва идет ногами. Наконец баба Даша, не утруждая себя замечаниями, шлепает Лизку ложкой по лбу. Битва затаивается, но все знают, что добром не кончится, и действительно, как только все вышли из-за стола, раздается громкий рев мальчика-гостя. Родительница уносит его в комнаты. Лизавета побеждает из любой позиции.

Снова школа

Так шли наши годы, и вот кончился тарычевский период вместе с окончанием начальной школы.

После четвертого класса тихая, добрая наша учительница выпустила нас в пятый. Брошенные на произвол судьбы, мы как будто сорвались с цепи. Литвишка, маленькая и безгласная, специализировалась на терроризме. Сидя на первой парте у окна, она, разломив пирожок, брала рис по крупинке и запускала в Мумию. Мумия — это престарелая бабушка учитель, такая ветхая, что казалось, ей нелегко усидеть на стуле. Она стряхивала рисинки, не отдавая себе отчета, что это не манна небесная. Взявшись учить нас истории, не понимала, что истории делаем мы сами подручными средствами ежеминутно и успешно. Однажды она спросила, может ли греческий герой Гектор появиться среди нас. Тут поднялась толстощекая Милка и, держась за парту, чтобы лжемальчик Карпухина не свалил ее с ног, ответила: «Нельзя войти в реку два раза». Мумия подняла ветхие веки и вопросила: «Вы уже учились у меня в пятом классе?» — «Нет», — гордо отвечала Милка.

Нам, как коллективу, плевать было и на Милкину гордость, и на Мумию с ее доисторическими вопросами, ведь мы уже собрались на следующий урок — пение.

Звонок. Бегом вниз, там сцена, и в углу стоит пианино. Мы торжественно выстраиваемся в два ряда. Петь сидя нельзя, как спать стоя. Нина Митро-

фановна, ни молодая, ни старая, была нам в самый раз. Стоит перед нами и машет руками. Кто-то дерет горло, кто-то шевелит губами, вспоминая не доеденный дома бутерброд, а задний ряд занимается самовоспитанием. Играют в слова, дают подругам щелбаны, щиплют передним попки.

Ну, пение-то безобидная наука.

А вот и кое-что вредоносное: мы изучаем литературу. Ничего глупее человечество не придумало. Я читала наизусть стихи в полтора года и помню их до сих пор:

Котик усатый по садику бродит,
А козлик рогатый за котиком ходит.
Лапочкой котик моет свой ротик,
А козлик седою трясет бородою.

И вдруг с первого класса басни Крылова. Я физически не могла запомнить эту абракадабру. Вставляла свои слова, переставляла всё, что удавалось переставить. Это было мучение. Со страха я дословно с первого раза запомнила какую-то узбекскую сказку «Голубой ковер».

В пятом классе начались СОЧИНЕНИЯ. Начинать следовало с ПЛАНА: А. Вступление, В. Главная часть, С. Заключение. В каждой части записываешь всё, что нужно сказать, вроде такого: Людмила — душа Татьяны. Татьяна — душа Людмилы. Меняются ведь не только квартирами.

И так далее. А что же там далее?

Я нашла выход. После заключения снова переписываешь все три части. Поставили отметку три, объявили: тема не раскрыта. Как не раскрыта, разве я вступила в противоречие с разделами А, В, С. Нет, толочь воду в ступе я не согласна. Если ПЛАН занял полторы страницы, то с его повторением уже три. И тема не раскрыта? Литература стала моим ужасом до самого окончания школы. Мне кажется, литературу надо преподавать попугаям. Поставить учителей литературы в зоомагазины, и тогда его клиенты узнают от попугаев, что у Татьяны Лариной есть образ, а у них вот как будто и нет.

Преподаватели

Все преподаватели литературы остались в памяти воинами в шлемах с перьями. Последняя — о, незабвенная Серафима! — входила в класс, медленно подпрыгивая поочередно на каждой ноге, маленькая, с жидкими косичками, уложенными между ушей, и с ложным сочувствием в воловьих глазах. Литераторши менялись каждый год, и только Серафима вынула перья и просто, не входя в раж, зачитывала тексты из учебника по литературе для педучилищ.

Такой же лежал передо мной на парте (это нетрудно, если мама школьный учитель), и я водила пальцем по озвученным строчкам. Вот она увидела в книге «МХАТ» и пояснила: Малый Художественный театр. (Кто ее тянул за язык? Что заставило ее расшифровывать? Нет, добросовестнейшая женщина с повышенным чувством ответственности. Что поделаешь?) Когда Серафима в риторическом угаре на два шага отдалялась от стола, где лежал учебник, то начинался лирический, всегда неизменный занос: «Как мы видим (пауза). Как мы знаем», после этого заклинания она с еще большим одушевлением возвращалась к столу и продолжала сеять среди нас чистое и доброе. Иногда лирика ее завершалась легким прикосновением к плечу Лидки Хазановой, сидевшей на первой парте.

Но один раз Серафима не смогла сдержать своего благородного сочувствия всем нам и Хазановой. Лидия, как всем было известно, «гуляет» с мальчиками. Когда литераторша вошла в класс, девушка рыдала, положив руки на парту и спрятав в них лицо, — мы все были уверены, что здесь дела

амурные. Серафима сразу направилась к ней, потрепала крылышко ее фартучка и произнесла: «Папу в тюрьму посадили?»

Не знаю, как одноклассники, но мне это показалось верхом «сочувствия».

Серафима — последняя моя наставница в литературе, а начинала в пятом классе Софья Владимировна. С первых уроков мы поняли, что война будет до последнего патрона. Что нас так от нее отвращало, не поддается анализу. Это была серьезная, строгая женщина, стремившаяся увлечь прекрасным этих бесовских созданий. Вот передо мной синий конверт. По заданию Софьи мы писали письмо Деформа своей матушке с описанием встречи с Дубровским. Я расстаралась написать адрес на конверте по-французски.

Но все мы воспринимали ее педагогические изыски как издевательство над нами и изводили ее по полной программе, так что к середине четверти донесся слух, что старшеклассницы занялись организацией Варфоломеевской ночи для нас, чтобы отомстить за любимую учительницу. Слава богу, начальству удалось погасить конфликт.

Следующая литераторша, с самыми мужественными перьями в шлеме, обладая немалым опытом и проблемами со здоровьем, категорически не хотела нас учить. С ней ничего, кроме СОЧИНЕНИЙ. Если кто-то в тишине, нарушаемой кашлем простуженной Милки, поднимал руку, чтобы задать вопрос по теме, наш гуру словесности, сидевший в середине среднего ряда, болезненно отвлеченный от своих занятий, произносил «Ну, что тебе?» с такой отчаянной ненавистью, что любопытная ученица готова была провалиться сквозь землю. Кислое лицо этой грузной женщины остановило бег моих часов и запало куда-то глубоко.

Единственный серьезный учитель — это историк Павел Федотыч, или, в просторечье, Палфед. Самой большой язвой времени была полная деидеологизация и ее следствие: практика ведущих страну и ведомых ими выбрасывать в воздух пустой, но пафосный дискурс. В школе этому обучали на литературе, и казалось, что Палфеду надо того же. И вот я начинаю тараторить на заданную тему и вдруг вижу, что учитель сморщился. Он прервал меня, и хотя его слов я не помню, но абсолютно точно усвоила смысл — не надо говорить бессмысленное. Этот урок показал мне, что любая гуманитарная «наука» порочна по построению. Ни в коем случае, хотя мама и папа хотели этого, нельзя иди туда, где пахнет идеологией. Какой бы ни был строй, какие бы ни были вожди, бессмыслица восторжествует среди гуманитариев. И они будут с энтузиазмом молоть пустое.

Нет, были и веселые учителя, Софья Израилевна, например. Она много смеялась, всегда выглядела счастливой, а однажды во всю доску нарисовала футбольное поле и весь урок расставляла на нем игроков. Мы с большим интересом рассматривали и поле, и учительницу, тем более что она рекомендовала себя как носителя истинно немецкого языка, тогда как в Берлине, например, не умеют говорить по-немецки. Я верила ей на слово, но мы с подругой Лорой два раза в неделю ходили на Полянку к Елизавете Викторовне. Я вспоминаю ее, прибалтийскую немку уже в возрасте, как самое ласковое, доброжелательное существо, встреченное мною в возрасте от семи до семнадцати лет. В десятом классе я уже читала Goethe «Die Leiden des jungen Werthers», что нисколько не разбудило во мне девушку, а может, быть и наоборот, я посчитала, что страдания — это некорректные странности.

От семнадцати до семи

Я не против литературы — изучайте за милую душу, но божий промысел вел меня в другую сторону: с рожденья любила правду и не переносила хитрости. Человеческие придумки мною допускались только в отношениях с природой. А что такое литература, как не описание, смакование разных хитростей. Литература исследует, как люди обманывают друг друга. Мой геном был против.

Увлеченно выращивала фасоль в стеклянном стакане с водой на дне и согнутой промокашкой внутри. Усики корешков восхищали больше, чем все на свете стихи. Например, то, что слышала дома: «закрой свои бледные ноги» или «фиолетовые руки на эмалевой стене полусонно чертят звуки в звонкозвучной тишине». Эти стихи становились таким же атрибутом мамы, как ее тапочки. Сама я предпочитала собирать сгоревшие спички и заталкивать их в горшки с цветами. Зола, как то, что осталось от погибшего существа, должна была дать жизнь новому.

Занялась медициной: еще до школы решила, что соль — лечебное средство, и пыталась лечить ранки себе и Оле крепким раствором соли, иногда успешно.

В пятом классе любимой книжкой, желтой, с пестрым, в красных тонах нагрудником, была «Солнце и его семья», тогда же ходили всем классом в планетарий. Больше всего поразила ширина улицы, Садового кольца на площади Восстания: из нашего Мытного угла улица, конечно, казалась Бродвеем. Теперь думаю, какая я была странная, принимая это невзрачное место за гигантскую площадь.

Впрочем, звездный купол тоже зачаровывал, не плох и голос комментатора, раздававшийся отовсюду.

А математика? Ну, не старалась сделать из нас попугаев, но, дойдя до тригонометрии, я поняла, что здесь нужно запоминать, и я испугалась, что снова литература, мастерски просунувшаяся между катетом и гипотенузой. Отказалась от тригонометрии, но потом поняла, что ничего принципиального, кроме катета и гипотенузы, помнить не надо, потому что всё можно вывести.

То ли математика делает ученика самостоятельней, то ли, наоборот, стремление к самостоятельности влекло меня к математике.

Мама, музыка и странный тип

Возможно, я выбросила бы из головы математику, если бы всё было так, как наша жизнь на кавказском берегу.

Мама! Мама — это моя первая и последняя любовь. Любовь безграничная и ни от чего не зависящая. Не особенно я отделяла ее от себя: до пятого класса, до первого моего серьезного испытания, ни она, ни я не имели никаких тайн друг от друга — так мне казалось. Доверие и любовь продолжались до окончания школы.

Вот мне четырнадцать, и я живу с мамой в санатории.

Давайте посмотрим на нашу героиню со стороны. В самом деле, какая же это я? Скорее, это она.

Еще не день и даже не утро, хотя солнце где-то встало. К ногам бесшумно подходит тонкий слой воды и перед намытой галькой, не в силах преодолеть ее, горбится, опрокидывается, и прозрачный валик воды уходит, шипя.

Мама держит перед ней большое полотенце, а она снимает мокрый лифчик. Левая грудь припухла почти совсем незаметно, а правая вырисовывается маленьким озябшим комочком.

Медленно, шурша галькой, они направляются в сторону корпуса, и, проходя мимо праздно стоящего мужчины, она сталкивается с его взглядом. С неожиданной униженно-заискивающей улыбкой он заглядывает ей в глаза. Это заставляет ее вздрогнуть и побыстрей отвернуться.

После завтрака они с мамой идут к санаторному врачу. Врач, пожилая, строгая женщина, осмотрев ее, прослушав легкие и записав всё, откладывает ручку и начинает беседу:

«Девочка истощена. Во-первых, предписываю ей сон не после обеда, а перед ним, полтора-два часа. Во-вторых, надо есть хлеб. Сначала в день два куска, потом три, довести до пяти, и каждый день надо съедать не меньше пяти кусков».

Еда. Никогда никаких веселых чувств она не вызывала. Тем более хлеб. «Думаю, — сказала мама, — врач пережила блокаду. Блокадницы — они всегда не совсем такие, как мы». В это время сильный знакомый запах настигает их: рядом дерево магнолии.

Еще в день приезда эти деревья поразили ее, большие, кудрявые, тут и там из деревянных открытых коробочек выглядывают огромные белые чаши цветов. С нашей чашечкой лютика, вот с чем они схожи — лютик с ноготок, магнолия: сложить две руки локтями вместе и растопырить пальцы, но, конечно, самое поразительное — их запах. Пряный, дурманящий.

Рядом с дорожкой под деревом лежит сорванный и брошенный цветок. Она останавливается. Лепестки уже начали скручиваться и желтеть: большой, сильный цветок умирал, беззащитный перед человеком. Одно мгновение она смотрит на него, берет в руки и тут же отбрасывает, нет, нисколько не похоже на тот невероятно сильный запах, от которого не хочется двигаться, а просто сидеть и вдыхать.

Вечером в гостиной собирается народ. Пока не приехали артисты, кто-то садится за рояль. Музыка легко и мгновенно завораживает людей. «Чайковский. “Времена года. Декабрь”», — сказал кто-то рядом.

И тут в тишине она, что-то прошептав маме, быстро выходит. В темном коридоре останавливается и, не помня себя, повторяет: «Я не умею играть». Наконец несколько слезинок выкатывается на пылающие щеки: «Почему они забрали меня с музыки? Болела, да, болела, но я бы не болела, если б была музыка. Как давно это было, в первом классе, даже грамоты не знаю». Подходит к темному окну.

Мысли плавно перетекают на события дня. Врач говорит, что она изможденная, она и сама видит, что не похожа на других девочек из своего 8-а. Они складные, с красивой походкой, а прически, а платья! Даже форма не похожа на обычную, воротнички, кружева. Да что воротнички, дело не в воротничках: вот Ирка Абрамова засунет руки в кармашки платья под фартук, и сразу видишь — это женщина. А она? Руки болтаются, как палки на крючках, и ноги: подруга Марина как-то, смеясь, сказала: «ноги у тебя зажигательные, как спички». Ладно. Но тип на пляже почему ТАК смотрел? Она красивая, он думал? А взгляд у него ненормальный. И всё-таки она уверена, что он видел, и, скорее всего, так и есть, она красива. И не просто красива, а ненормально красива. Эта мысль ей понравилась, она ее запомнила.

Но музыка тревожила. Почему она не играет? Она не стала бы играть чужую музыку. Ведь музыки вокруг столько! Особенно около реки, ручья: синкопы, нарушения — это чувства в песне воды. Да вот хоть дверь, как скрипнет, так музыка и прольется, и вслед пару фраз услышишь. А как электрички поют! Самоуверенными баритонами. Конечно, всё написано. И вода французами, и буря немцами, и весна итальянцами. Но это же — мужчины. Те самые, ненормальные. А ее музыка была бы другой. Через год ей стала сниться музыка, фортепьянная, раньше не слышанная. Еще через год всё прошло.

А какая была бы это музыка. Миллион оттенков.

Словами выражать желаемое — неподъёмная задача. Слово — это упругая субстанция. Ты его пытаешься согнуть, чтобы вставить между двух слов: так его теребишь и этак. Всё — подошло. Только отодвинулась, чтобы оценить и порадоваться, — ап! оно уже выпрямилось, окостенело, так что соседние слова ёжатся и рыдают.

Да, несчастные мы, выбравшие слова, а не музыку.

Вторая глава, когда не всё на свете хорошо

Никак не могу кончить с детством. Придется начать издалека, про родителей в тяжелые моменты их и моей жизни, то есть мне хочется рассказать, как мы с мамой попали под оккупацию. Я впервые тогда столкнулась с представителями великой нации, по молодости лет не запоминая тех, кто дает мне кусочки сахара. Как все младенцы, улыбаясь веселым парням, я не волновалась о том, что кто-то из них завтра может подойти, взять меня за ножку и шмякнуть о стену так, что мозги мои растеклись бы по полу. Нет, я спокойно лежала на кровати, и мозги мои мирно созревали для будущей жизни.

Да, жестко, но перед Сталинградской битвой из дома на окраине города немцы выгнали всех жильцов и погнали на запад. Поход был недолгим. Загнали всех в сарай и сожгли. Там был и мой ровесник, сын двоюродной папиной сестры.

Сейчас, сейчас начну, вот мне двенадцать лет.

Первый стресс

Я любила маму. И утратила ее. Плач по утраченному — что может быть глупее. Прежнее — это безбрежное море. Утратить его нельзя, как нельзя сойти на берег — берега нет. Было — значит, есть в настоящем. Неотделимо. Ну-ка, попробуем.

Комната на Мытной 10 метров. Мой диван ниже уровня родительской кровати, между ними узкий проход... Я просыпаюсь от какого-то шума. Мама что-то шепчет, быстро и горячо. И тут папа начинает плакать…

Я поняла, что папа изменил маме.

Через десять дней папин отпуск кончился, и мама уехала вместе с ним. Бог с ним, с папой. Но мама! «Я люблю ее, и она бросает меня ради того, кто так, как я, ее не любит» — эта мысль была камнем, повешенным мне на грудь, чтобы утопить.

И вот Ярославский вокзал. Поезд Москва — Пекин припаркован к самой правой, далекой от вокзала платформе. Папа перед уходом в вагон целует меня в губы с такой силой, что мне больно.

На вокзале я держалась. Только таращилась на маму, не в силах подойти ближе, но, вернувшись домой, рыдала, как маленькая, и бабушка не подходила ко мне, потому что только она попробовала, как я страшно закричала и даже толкнула ее. Остервенение продолжалось три часа, потом наступила тупость, и я вышла на кухню. Открыла кран и, когда вода сделалась ледяной, стала мочить лицо. Мочила долго. Ладони заледенели, и лицо тоже. Рассчитывала заболеть и в конце концов умереть от воспаления в пазухах, перекинувшегося на мозг. «Тогда она узнает». Эта горестная фраза стала единственной опорой в полной беспросветности дальнейшей жизни.

Но в конце концов мысль о мести, как всё в нашем мире, потускнела и потеряла остроту озарения. Если основа голубая, то жизнь всё равно поголубеет. Слишком долго даже умирать надоедает. И я стала жить одна. Бабушка не в счет. Бабушка могла только любить, а двенадцатилетнему существу этого непереносимо мало, и к тому же трудно понять. Ну, смотрит она на меня с восхищением, но так и должно быть. Во-первых, я, наверно, красива, а во-вторых, бабушкина жизнь уже кончается, и она думает, что внучка продолжит ее своей судьбой. Но мне-то до этого нет дела. Моя жизнь маячит где-то далеко, и там нет бабушке места. Маме есть, по крайней мере было, а бабушке нет.

Бабушка всю свою жизнь любила мужа, детей, внуков. Это ее стихия: тихая, безгласная, безответная. А я жила в обиде на маму, и не могла этого забыть. Как им было пересечься, найти поле совместных действий или чувств? Никак.

Она уходила на работу, когда я спала, приходила, когда я спала. Однажды мне в школе поручили принести для стенгазеты картинки по теме: любимые места Подмосковья. Я взяла пачку «Огоньков», ножницы и принялась за работу. Чтобы никто из соседей не помешал, решила закрыться, подошла к двери, задвижку двинула вправо — ее недавно покрасили, и я заинтересовалась открывшимся видом чистого стержня, потом отколупнула застывший пузырек краски, внутри находилось мягкое белое вещество, покатала его немного и уселась на пол перед кипой журналов. Я режу, режу, проходит час. Наверно, и второй прошел. Я перестаю себя чувствовать. Та, которая сидит на полу и режет, это не я, она продолжает резать, а я смотрю на нее сонными глазами и не понимаю, что она делает.

Наконец поднялась, легла в кровать и сразу уснула так крепко, что не слышала ни звонков, ни стука. Бабушка свалилась под дверью и уснула. Мне, наверно, было ее жалко, но как-то по касательной, маленьким кусочком моего сердца.

Мама оставалась для меня недосягаемо прекрасной, живой, лучшей частью меня самой, а бабушка — постороннее существо, не чужое, но загадочно другое.

Одна из странностей — это бабушкина религия. Бабушка на сбившейся вбок нитке носила целую связку крестиков, на каждого своего ребенка и каждого внука. Она не ходила в церковь, но, возможно, ее душа оказалась единственной христианской изо всех душ горячо верующих и совсем не верующих людей, встреченных мною в жизни.

Бабушка постоянно была около меня с двенадцати до тридцати лет. Не было у нее в характере как-нибудь меня притеснять, даже замечания почти не делала. Скажет: «Наталинька, надень шапку, простудишься», я махну рукой, а она голосом, где нет упрека, но только бесконечная нежность: «Неслушница».

Между прочим, мы с бабушкой пережили смерть Сталина. Мало того что в классе прямо на уроке разрыдалась учительница, когда мы еще ничего не знали. Но и на улице шли плачущие люди. Мне это было невероятно странно, и в один из этих дней я спросила бабушку: «Почему? Ведь они же его не знают, почему же плачут?» Бабушка чуть повела плечом и ответила: «Делать им нечего. Заставить бы их ящики сколачивать». Это была ее присказка. В ее трудной жизни самой тяжелой была работа — сколачивать ящики. Она сбивала руки в кровь, а надо дальше, дальше, ящики, ящики. И было бабушке тринадцать лет. Еще раньше, в десять, ее выслали из дому работать на торфяниках, так началась ее трудовая жизнь.

Во втором томе «Войны и мира», сразу после смерти Николая Болконского, Толстой описывает «диких», как их называл старый князь, крестьян Богучаровского имения. Они отказываются дать княжне Марье подводу, потому что ждут французов: по слухам, всем оставшимся дадут деньги. Наполеоновские солдаты щедро раздавали напечатанные заранее фальшивые деньги.

Мне показалось, что родом из этой же деревни моя бабушка. Узлы понятий и представлений в ее сознании настолько прочны и своеобразны, что понять, распутать их нет возможности. Коммунизм у нас или олигархия — русский человек незыблем.

Эвакуация

Однажды осенью в нашей маленькой комнате в чем-то длинном, черном появилась ни на кого не похожая бабушкина сестра тетя Луша. Тетей она была маме, но в семье так ее звали. Это первое ее имя, но было и второе, не знаю, кто придумал, дедушка ли, сама бабушка, но имя Истина очень подходило ей. К тому же в скороговорке её речи часто мелькало слово «истина».

С Истиной было связано мамино воспоминание о войне, вернее, о нашей с ней эвакуации. После того как в наш дом попала бомба, все решили, что младенца надо спасать.

Когда-то у деда был дом в Михайлове. Теперь там жила с сыном Истина, она же тетя Луша. Вот туда-то в эвакуацию и отправили маму с огромным пакетом, куда упаковали мое крошечное тельце.

В большом бывшем доме деда тетя Луша занимала две комнаты. В одной комнате она обитала с подростком сыном, а вторая, почти пустая, завешана была дешевыми иконками, на полу лежали узлы с каким-то тряпьем. Вдвоем с племянницей Луша притащила из другой половины дома кровать, и мы там поселились.

Неожиданно на третий день советские войска исчезли, и в городе начались погромы магазинов. Мама была на двадцать лет моложе тети Луши и на десять старше ее сына Ванятки. Вот и отправилась она решать продовольственный вопрос. То волоком, то чуть-чуть отрывая от земли, мама притащила домой мешок муки. Без него неизвестно, чем бы дело кончилось.

А через день послышался рокот мотоциклов — немцы. Накануне с другой половины дома хозяева успели уехать, и там поселились оккупанты.

На другое утро в нашу комнату постучали. Вошел высокий парень. От неожиданности мама ответила «Guten tag», немец расплылся в улыбке и быстро-быстро начал говорить. Мама перебила: «Entschuldigen mich — keine… so schnell», не соображая, что говорит не по-русски, но и не на немецком. Так началось ее знакомство с соседями, мама скоро вспомнила язык, еще прошлой зимой она вела уроки немецкого в деревенской школе на озере Ханка.

Как вел себя младенец? А как они обычно себя ведут? Нет у них задних мыслей, поэтому они ангелы. Ангелы без задних мыслей не могут сделать среди людей ничего нужного практически. Ангел может быть только символом, идти впереди тебя и указывать путь. Поэтому мама во все дальнейшие моменты нашей эвакуации поступала беспроигрышно.

Штефан, самый компанейский из троих, поселившихся у нас, пришел за солью и сразу немного погасил тревогу у молодой хозяйки.

Но был еще Матиас. Кормящая мать в соседней комнате так понравилась ему, что потихоньку он начал испытывать неприязнь к Штефану.

Характер моей мамы, несмотря на всю нервность и временами даже истеричность, оказался сильным достаточно, чтобы воспринимать всё окружающее так, будто по-другому и быть не могло.

В начале своей жизни я не могла настаивать на своем, а когда подросла, случались серьезные стычки, и в критические моменты, если она чувствовала осложнение, грозящее большим скандалом, как по мановению волшебной палочки меняла свое мнение, желание или твердый запрет мне чего-нибудь, всё равно чего.

Такая гибкость характера — это подарок от ее мамы. Моя бабушка относилась ко всему окружающему как к данности, не подлежащей не только изменению, но и критике. Такой характер меня удивлял, но для нашей нервной жизни это бриллиант.

Конечно, страх не проходил, но мама быстро наладила немецко-русский контакт, включив часть обаяния, так что Матиас даже жертвовал младенцу кусочки сахара, но на пятый день появился рыжий эсэсовец, и тут моя мама не на шутку испугалась. Всем в округе было известно, что муж молодой хозяйки бьет немцев в Советской Армии.

На шестой день рыжий подошел к дому, постоял и ушел. Мама всю ночь ломала голову, что же он имел в виду и чем дело кончится. Но на следующее утро немцы исчезли, и в город вошли наши. Уже в Москве, вспоминая свою жизнь в Михайлове, мама решила, что Матиас был причиной появления эсэсовца.

Хорошо, что кончилось благополучно, но еду негде было взять, наши еще не наладили полагающуюся помощь населению, например, солдатским

женам, таким, как моя кормящая грудью мама. Возможно, помощь и не была положена.

И вот все вчетвером: Луша, мама и двое детей решили отправиться на историческую родину в село Гладкие выселки, мой голос и даже отчаянный крик, очевидно, не был услышан.

Луша полкило из оставшейся муки сменяла на лошадь с телегой. Уселись и отправились. Скоро мама стала узнавать места: четыре часа назад они точно здесь были. Внимательно посмотрев на лошадь, Ванятка определил, что у нее только один, и тот не вполне, глаз, и поэтому она предпочитает двигаться по кругу. Делать нечего, решили ехать дальше, но внимательно смотреть за дорогой.

Скоро стемнело, где едем, не видно. И вот в полной темноте где-то завыли волки. Ни слова не говоря, Истина соскочила с телеги, подхватила Ванятку, и они исчезли.

Мама сидела в полной темноте с драгоценным обмоченным кульком за кривой лошадью, вздрагивающей от воя волков. Если б она, не выдержав напряжения, сошла с телеги, скорей всего, нам бы настал конец.

Сколько времени прошло, уж кто-кто, а я точно не понимала, но тут послышались шаги, Луша привела людей.

Мы оказались в избе, где на печке лежали и надрывно кашляли четверо коклюшных ребятишек. Мама перепеленала младенца в сухое, и ночь прошла бы спокойно, но под утро, еще в темноте, Истина переполошилась, разбудила нас и объявила, что хозяева хотят нас ограбить — идея богатая. Пришлось вставать и отправляться в путь. Но на этот раз кривая лошадь не теряла дорогу, и скоро мы оказались в родной деревне, где Викторовых знали все, а деда так вообще уважали.

Гладкие выселки существуют с 18-го века. В конце 19-го века население 4000. В конце 20-го 4 человека.

У мамы начались со мной проблемы. Я не отпускала ее от себя, и даже по надобности она выходила под мои жуткие вопли.

Изба, где мы жили, продувалась, топи не топи, но никто не простудился, коклюша я не подхватила, иммунитет был крепок.

И вот однажды Луша вошла в избу с дровами и сказала, что видела, как кто-то по большой дороге идет к деревне, да чудно как-то: пройдет и упадет, пройдет и опять упадет. Мама выскочила поглядеть и вернулась с бабушкой, она пришла нас спасать, пятнадцать километров шла пешком. Оказалась у нее запредельно высокая температура, а когда мы втроем вернулись в Москву, она долго болела воспалением легких. Бабушке как раз в том декабре исполнилось сорок семь лет.

Так окончилась наша эвакуация.

Но вернемся ко мне взрослой, двенадцатилетней.

Икона

Теперь я вижу Истину в первый раз. Невероятно узкое лицо, мне кажется, в палец шириной. Черный платок, закрывающий волосы и лоб, и огромные синие глаза. Вечером она достала из котомки старую икону и Библию. Я, как сильно грамотная, — так объясняла себе, — должна была читать Библию вслух для бабушки и тети Луши, и это продолжалось каждый вечер.

Я не помню, какая икона у нее была, но не изображение, почти невидимое, врезалось в память, а сама темная доска. Икона оставила глубокий след на всю жизнь. Истина жила в доме всего пару недель, а икона снилась много лет, вызывая трепет и восторг ужаса. Во сне она не была связана ни с какими людьми: просто предмет из другого мира. В детстве я пугалась приснившейся иконы, в зрелом возрасте страх сменился сумеречным состоянием, похожим на начало обморока.

Ничего не бойся, причина внутри следствия, и оттуда ее не достать.

Бабушка, ширококостная и полная, казалась противоположностью Луше, узкокостной и худой до истощения. Многоречивую и невнятную Истину я записала в бестолковые. По сравнению с ней бабушка — просто воплощенная мудрость, лишнего никогда не говорила, ни с кем не пререкалась. Но видение Истины мимолетно, а бабушка здесь всегда. Откуда мне знать, может быть, все они никогда не ругают ни внуков, ни соседей. Вероятно, им положено быть безгласной, всепрощающей любовью.

Мама с папой уехали зимой, а весной на работе бабушка, как бабушка-одиночка, получила для внучки путевку в Артек. Когда начали меня собирать, выяснилось, что голова моя завшивела — даром на групповой карточке пятого класса я так гордо вздернула голову, вшивому море по колено. Долго меня обрабатывала тетя Клава, жена маминого старшего брата. Справились, и я уехала.

Конечно, восторг, особенно гора Аю-Даг, лысая и загадочная. Строем под барабан тоже прикольно, тем более что меня выбрали знаменосцем. Я шла в горку, с горки между кипарисами во главе отряда с длинной тонкой палкой с флажком, а рядом девочка барабанила. Но так продолжалось дня три, вдруг утром в туалетной комнате перед зеркалом я выяснила, что не могу поднять расческу. Оказалось, температура 39,5, воспаление лёгких, и до конца смены я пролежала в изоляторе.

Тем не менее за те три дня, что я жила обычной лагерной жизнью, запомнила и запах кипарисов, и купание в море, и пение. Часто я со всеми вместе пела такие слова: «И по-о-омнит каждый час любимый молот Афанас». Примерно через два месяца, уже дома, до меня дошло: «И помнит каждый час любимый Молотов о нас». Но, конечно, представить, как Афанас плывет в море, а в небе сверкает любимый молот, гораздо интересней.

В общем, яркую жизнь в Артеке строила я сама.

И вот я в шестом классе. И что? Кроме бабушки, вокруг не было людей? Приходится признать, что именно так. Друзья были, но не близкие. Они все располагались как-то вне некоторого круга, центром которого я оказалась, мучась и блаженствуя в своем одиночестве. Этот пустой круг не осознавался мною, но, незримый, требовал ответных реакций и чувств.

Когда сверх меры желанная мама наконец приезжала, моя радость не знала границ, а граница находилась близко. Через месяц начинала тяготиться маминым присутствием, хотелось, чтоб она уехала, и она уезжала. Так продолжалось до окончания школы, да и потом тоже не кончалось. Ощущение брошенности в ранней юности вызвало на свет меланхолию, это выражалось в стремлении остаться одной, избегать шумных компаний. Раз мама, самый любимый и любящий человек, легко оставляет ее, то что говорить о людях далеких. Скорее всего, они готовы её предать в любой момент, а это уже фундамент недоверчивости, закрытости, ведь с возрастом мы меняемся радикально, по крайней мере многие из нас.

Только музыка не может потеряться, она, конечно, дедово наследство.

Дед Макар и все-все в Кожевниках

Вот про деда, моего наставника во младенчестве, и говори. Он всегда в семье числился по рангу гениев. Знал все церковные службы с детства, в зрелом возрасте наизусть все оперы, прослушанные в театре или по радио. Его феноменальная память передалась моей маме, в Ленинском педагогическом институте она училась на естественном факультете, где готовили преподавателей биологии и химии. Рассказывала, что достаточно было прочитать один раз какой-нибудь фолиант, как на экзамене представляла себе нужную страницу и спокойно читала ее вслух. За все пять лет не получила ни одной четверки. Память была не только цепкой, но и крепкой, если мы оказывались за городом, она объясняла мне: например, этот цветок семейства пасленовых или какого-то другого. Про червячков и комариков — тоже знала родос-

ловную. Кроме того, ей повезло, она изучала генетику (ведь позже Лысенко эту науку победил) и рассказывала мне всё про мушек и горошек.

Но, конечно, ее характер не был клубникой с сахаром. Дед, мама, дядька Витька — все мы постоянно тревожились, какое-то беспокойство, какие-то яркие живчики сбивали нас с толку. Можно назвать это талантом, можно артистизмом, от этого нелегко жилось нам самим и тем, кто рядом. Зато весело и ярко.

Дядька Витька, как и бабушка, относился к числу дедовых неудач. После войны институт Внешторг, дурная компания золотой молодежи. Пока дед был жив, он нещадно прессовал его, но бабушка и при жизни деда, а особенно после его смерти, обожая своего младшего сына, готова была отдать ему последнее, так постепенно он становился гулякой и в конце концов алкоголиком.

Дед красиво двигался, это передалось детям. А как он рассказывал! Конечно, в первую очередь о событиях на работе, на улице, со знакомыми. При этом фантазия не могла заснуть, и для меня, маленькой, и для остальных сочинялись истории. Например, такая, простите за современные вставки, дед придумал, мама пересказала, я записала:

«Причуды природы»

В тот день в утренних новостях объявили, что во второй половине дня ожидается нехватка кислорода, и у людей с проблемами в головах начнутся проблемы с дыханием.

Утром по радио в музыке слышались дикость и варварство, хотя ведущий назвал программу гениальной. Можно предположить, что она написана в такой же день, день Жол-де-Рика. Потом всех потянуло ко сну, стало не до музыки. И вот в два часа дня пришел настоящий Жол-де-Рик, так называется нехватка кислорода, а почему она так называется, пусть скажут ученые. В это время мой дед ехал в трамвае.

Во-первых, настала тишина, и людям сделалось весело просто так, ни от чего. Это началась бескислородная эйфория. Сначала человек улыбался, но скоро не мог сдержать хохота. Улыбаясь, люди целовали и обнимали друг друга, принимая улыбки за выражение любви. Но смех вызывал агрессивность. Видя, например, смеющегося в трамвае, каждый принимал это на свой счет, из-за нехватки кислорода он не контролировал себя и переходил к действию, то есть бил соседа прямо в лицо.

Мордобой под взрывы смеха — это уже настоящий Жол-де-Рик, хотя и ограниченный площадью трамвая. Вагоновожатый, как человек выдержанный, только похихикивал, зато развил большую скорость и проехал остановку. Те, кому надо было выходить, закричали на водителя, размахивая руками, а одна старушка даже материлась.

Водитель, защищенный от пассажиров толстым стеклом и запертой дверью, расхохотался и в отместку промчался мимо следующей остановки.

В это время Жол-де-Рик ослаб. Люди сели на свободные места и задумались. Мало кто слышал утром о недостатке кислорода, да и кто слышал, забыл, но пейзаж за окном поразительно изменился. Листья опустились, а облака повисли, как старые тряпки. Это пришла следующая стадия Жол-де-Рика. Стадия апатии. Водитель открыл дверь, не дожидаясь остановки, и, поскольку трамвай еле крутил колесами, люди тихонько спрыгивали и оставались в неподвижности посредине мостовой. Они о чем-то глубоко задумывались. Знание о себе покинуло их, и думать они могли только о внешней и внутренней политике чужих государств, чужих семей и даже чужих мужей и жен, — Жол-де-Рик глумился.

Но вот наконец пошел дождь, и всё стало, как всегда.

Затуманилась даль трамвайных путей, забубнила своё водосточная труба, девушки заверещали, перебегая стайками от одного дерева к другому,

старушка, окуная вместе со ступней подол юбки в глубокую лужу, побрела домой. Старичков и юношей на улице не оказалось. Как не оказалось воспоминаний о Жол-де-Рике».

Всё это, по словам деда, происходило сначала утром, а потом в кладбищенском трамвае около сквера на Серпуховском валу: у него на Даниловском были похоронены родители.

Да, мы были очень живыми и в манере говорить, и в характерах, лишь бабушка во всем противоположность, как положительный заряд отрицательным. Она не умела читать и писать, хотя считала быстро и правильно, на свой лад, не похожий на школьную арифметику. Дед пытался хотя бы научить ее грамоте, но бабушка стояла стеной за свои четкие понятия о жизни.

По словам мамы, в их доме, когда дети были маленькими, по праздникам устраивались концерты. У бабушки высокое сопрано, у деда низкий баритон, пели на два голоса.

Подросший старший сын брал уроки у артиста Большого театра, но сорвал голос. Пение пришлось оставить. Он нес в себе некоторый положительный заряд, рано начал самостоятельную жизнь. В пятнадцать лет категорически отказался учиться, пошел на завод. Так всю жизнь там и проработал.

Дед по ту сторону

Скорей всего, дед после своей смерти помещен в хорошее место, думаю так.

Живет мой дед на самом берегу Европы. Спросите, что такое Европа, да это остров от Лиссабона до Владика.

Сколько деду лет, никто не знает, но он всем говорит, что двести. Питается тем, что бог пошлет да люди принесут. А в море любит плавать. Войдет в воду и руками машет — плывет. А море его помоет, потом погладит и ласкать начнет. «Ну, будет для двухсот лет», — скажет — и домой.

Однажды к нему пришла маленькая девочка. Она только голову в дверь просунула, он уже улыбается. «Ты ко мне, ангел мой?» — спрашивает. А она избенку обошла и говорит: «А наша избушка поболе будет». Осмотрелась и сердито так ему: «Ты что, дед, не видишь, что голодная я? Манную кашу хочу». Дед сделал испуганное лицо и оправдывается: «Я манную кашу ел 190 лет назад». — «Значит, вчера не ел?» — строго так, а он краюху хлеба уже тащит.

— А теперь молока.

— Молоко будет, когда твои родители принесут.

— Кто это родители?

— Мамка-папка.

— Нету их, они меня били — я от них ушла.

Девочка показала свою чистенькую беленькую ручку.

Дед покачал головой и сказал: раз нет мамки, пойдем в море купаться. Вошли они оба в море, дед встал и машет руками — плывет. А маленькая рядом оттолкнулась ножками и уплывает. Дед жмурится, ветер его ласкает, вода гладит. Поднял глаза, ангел уже еле виден, плывет на горизонте. «Бог дал, Бог взял», — сказал дед и повернулся идти домой — тут и увидел он своего ангела: сидит на берегу и камушки перебирает.

И пришли они в избенку, и задумался дед, что он будет с ребенком делать, как жить, а ангел и говорит:

— Положи меня на печку, спать хочу.

— На печке я сплю, видишь край тулупа.

— Ничего, ты на лавке будешь.

Утром проснулся дед от сильной тряски. Открыл глаза, перед ним ангел, за плечо его дергает:

— Мы с тобой спали, теперь ты мой муж. Ишь разлегся, вставай быстро за водой, я суп варить буду.

Пошел дед за водой на дальний источник, там вода вкусней. И подумать надо.

Пришел с водой, а в печке щи кипят. Из чего варено, в толк не взял, достал большую ложку, попробовал, съедобно. Похлебал и на печь завалился, а ангел во двор побежал.

Проснулся, солнце уже покраснело, и похолодало. Из избенки вышел, и там тоже ангела нет. Сел на крыльцо и задумался. Долго сидел и тут увидел, что перед ним на веревке, раньше всегда пустой, висит что-то. Пригляделся и говорит себе: полотенце. А у полотенца надвое концы расходятся. Затрепетала тут веревка, и концы, как крылья, взмахнули. Протянул дед руку, схватился за полотенце и вместе с ним вверх поднялся. Полетели они к морю, сначала вроде вдаль, а потом к берегу. Стоит дед по пояс в воде, а красное солнце его нежит. Никакого полотенца нигде нет. Вышел из воды и решил, что приснился ему ангел. Вошел в дом, а в избенке вкусный запах. Взглянул в печь — большая кастрюля со щами, полуостывшими. «Да ты, дед, до трёхсот проживёшь, — подумал, — со щами-то».

Я рада, что деду там хорошо. Но мало я его знала. Он умер в 54 года, когда мне исполнилось семь. Зато с бабушкой жила долго, с 12 до 30 лет. Ее смерть запомнила по часам, но время прошло, воспоминания побледнели, только иногда езжу к ней и всем моим на кладбище.

Первое время снились сны, где я живу с бабушкой вдвоем в узкой высокой башне на очень зеленом холме.

А однажды будто мы с ней идем по кладбищу и видим ее могилу. Я говорю:

— Бабушк, погляди, надпись заделать надо.

А она в обычной своей манере доброй самаритянки и глобальной пофигистки:

— На кой. — И рукой машет с выражением той же самой мысли. Так и прошли мимо.

После бабушкиной кончины езжу на Даниловское одна. Там в одном месте все шестеро, начиная от родителей деда, но дед из четверки моих первый постоялец.

Папа, мама

Когда мне исполнилось пять лет, появился Папа, претендуя вытеснить меня из поля зрения Мамы, — так я чувствовала… И первые годы у него ничего не получалось.

Вот мы втроем вышли на прогулку, папа, как отпущенный с поводка питомец (так теперь принято именовать собак), где-то впереди, мы с мамой, никакого внимания на него не обращая, беседуем, я что-то спрашиваю, мама мне объясняет. Помню, принесла первую четверку: учительница исправила мне слово «пловец» на «плавец» и на полях объяснила: «от слова плавать». Мама сказала, что я написала правильно, объяснив, что Анастсасия Ивановна придерживается своего областного написания, и мне следует не обвинять ее, а просто об этом забыть.

Папа на мои вопросы (да мне бы в голову не пришло спрашивать его) мог ответить только одно: «к маме, к маме».

А вот мои ранние воспоминания о происшествиях, про которые мне никто не рассказывал.

Время от времени, в основном по выходным, происходило непонятное. Мама вдруг принимала вид несчастного, обиженного существа, брала сумку и сообщала, что не хочет больше здесь оставаться. Хлопнув дверью, уходила.

Возвращалась всегда часа через два. Я не понимала происходящего, но мне было очевидно, что папа — жертва маминой несправедливости. Я сочувствовала папе, сохраняя вид полного нейтралитета. Кажется, они оба не

видели, что я свидетель их разборок. Я до сих пор не понимаю, что происходило, предполагая, что мама таким способом хотела заставить папу лечиться.

И еще всплывает в памяти, как я, еще совсем маленькая, ору в метро. Ору так, что, кажется, содрогнулся не только наш, но и соседние вагоны. А произошло то, что мы ехали все втроем, и маме надо было попасть в какое-то место. Она вышла. Мы с папой остались вдвоем, и это для меня оказалось казнью египетской.

Но откуда-то приходит беззвучная картинка: папа везет меня на санках вдоль Александровского сада. Сколько же мне лет, если я в шубе целиком умещалась в детские саночки. И недоумение, какими должны быть улицы, если до Кремля можно доехать на железных полозьях.

А на утоптанном снегу двора папа ставил меня на коньки.

Он еще студентом стал чемпионом Москвы по бегу на коньках на средней дистанции. И вот полная моя неспособность держать равновесие заставляла его выходить из себя, так что я падала от одного звука его голоса. Попытки повторялись, но без результата.

Уже взрослая, в Лужниках я ехала на коньках за папой, а он круг за кругом катился ко мне лицом, делая замечания.

Папа! Папа — это западающая клавиша на расстроенном рояле. Нажимаешь, а звука нет — есть только легкое клацанье. Папа не любил общаться ни с кем, кроме друзей детства и мамы. Мы с ним 12 последних его лет прожили один на один без мамы, и никаких разговоров. Только про еду или что-то бытовое. Однажды после нашей с ним ссоры он сказал: «Тебе было пять лет, когда я впервые тебя увидел, уже тогда ты смотрела на меня волком».

Я волчонок, папа волк и мама — ангел, порхающий между нами.

Одна из кузин как-то сказала мне: «Твоя мама как шампанское, тебе до нее далеко». Моя мама — не шампанское, она воздух. Она не подчинялась закону притяжения и прочим скучным законам. В моей памяти она никогда не ходила — только летала. От нее исходил аромат весны и цветов. Позже, когда я увидела, что это игра, самозабвенная, иногда неожиданная, как кирпич, упавший на голову, я не перестала ею восхищаться.

Смотрю на карточку родителей, сделанную перед уходом папы на срочную службу в 1940 году. Папа в форме и мама, девочка в белом берете. Мама чуть меньше обычного кокетлива, а папа, как всегда, затаился.

Но интереснее карточка со студенческого билета, маленькая, поломанная. Вот тут-то папа и попался. Лицо лирика, длинная тонкая шея. Больше таких снимков нет. Уже в глубокой старости он читал сонеты Шекспира, часами сидел с книгами Ключевского. Делал заметки.

Единственный раз он рассказал про войну.

К 41-му у него уже был диплом исторического факультета Ленинского педагогического института. Срочную службу он начал в училище в Шуе, и на фронт их отправили в первые дни войны. Высадили из поезда в каком-то городке, где началась бомбардировка станции. Они бегали от бомб вокруг вокзала, и папа увидел, как только что бежавший милиционер превратился в столб пыли.

Больше про войну никогда ничего, только однажды, когда летом за городом мы шли вдоль большого поля, он, восьмидесятилетний, сказал мне: «Я слышу канонаду за лесом».

Я всегда думала, что таким закрытым его воспитала суровая бабушка Даша, его мать, да и вся обстановка в крепкой мещанской семье. Но у меня в дошкольном детстве была открытая, богемная жизнь, а результат такой же.

Я чувствую себя веткой, привитой на мамин ствол. Ветка папиного сорта, консервативного, нелюдимого, не переносящего лжи и лукавства. Хотя к лукавству время от времени чувствую склонность: шум маминой листвы.

Мама. Он любил ее так, что больше никого, и меня тоже, любить не мог. Но истина между слов просвечивает. Мы с папой — соперники в общей любви к маме. И, как оказалось, в соперничестве я, двенадцатилетняя, проиграла.

Бирюки мы с папой, бирюки. Нет, поверхностные отношения — это я обожаю. Игра, всегда игра. Я играла преподавателя математики, и довольно успешно, играла дружбу, поэтому разрывы обходились без травмы. Я играла любовь и даже вечную любовь — тоже играла. Назвать или не назвать всё это игрой зависит от точки зрения, а где взять настоящую точку зрения? Что можно считать настоящим в мире игры? Кроме смерти, ничего. И вот игра со смертью — главное занятие, удовольствие всех пока еще живых обормотов. Шакалы считают себя бессмертными.

Наконец я поняла, почему я одна. Что такое нет любви? Это страх довериться человеку. По маленьким меточкам в его реакциях (или в реакции подруги, дружить такая же ответственность, как и любить) ты замыкаешься. Никаких твоих размышлений о нем (о ней), никаких осознаний этих меточек, просто перестаёшь говорить своё.

Моё представление о себе менялось. Сама я становилась другой, но по-настоящему, без игры, я такая же, как в первом классе.

Сейчас ты договоришься. Да, до Веры. Кому, кроме Него, можно довериться? Да никому. Но как довериться, если на Его месте пустота. Для того, чтобы Его создать, надо долго, изнурительно работать, а у меня уже нет времени.

Первым дурнеет хвост

(вместо опоздавшего предисловия)

Конечно, это у кого как. У меня, например, так.

Первыми уходят имена. Слова еще держатся, но из последних сил. Надо спешить, иначе всё, что ты прожила, всё пока ещё сногсшибательно интересное превратится в хрустящую на зубах пыль. Близкие и знакомые, насельники твоей головы, будут только таращить на тебя глаза и не скажут ни слова. Деревья замкнутся в себе, вода, вода блеснет и уйдет. Одним словом, вся твоя жизнь, как кошачий хвост, облысеет и сделается неприглядным.

Знакомый белоснежный котик, имеющий за плечами семнадцать полных лет, не то что молод по характеру, но полон интереса к жизни. Увидев пришельца, ни к селу ни к городу причалившего к дому, он устраивается на столе в максимальной близости от его глаз и начинает исследовать предмет. Он смотрит в глаза с таким бескрайним желанием понять, рассмотреть и сформулировать впечатление, что гость начинает чувствовать себя неуютно, примерно как инфузория-туфелька под микроскопом.

На вид кот как кот, хотя, конечно, стар.

Теперь можно взглянуть на хвост. С какой стороны ни посмотри, он плачевен. Длиннее, чем сам кот, и если бы он был так же приятен на вид! Нет, по всей его длине радостные воспоминания о богатой, насыщенной жизни то и дело обрываются видением нищенского голодного существования. Не хвост, а функция, не имеющая нигде производной.

Наконец припомним, каков, хотя бы на вид, твой собственный хвост. Полное совпадение.

Во-первых, он длиннее меня на несколько километров, и в нем прекрасные заросли богатых воспоминаний обрываются и возникают километры жалкой, ссохшейся плоти, появившейся в бескормицу. В те периоды я перебивалась тем, что попадалось: проблеском солнца, порывом ветра, а то вдруг парой случайно пойманных фраз.

Подробно рассмотреть свой хвост — задача любого хвостоописателя.

Вторая глава, когда не всё на свете хорошо

Мехмат

Канежно, мы — цы
(конечно, мы — молодцы, овцы, цыплята).

Между школьницей и студенткой

И вот школа окончена, мне надо поступать.

Школа, школа, школа. Если бы я училась всё время в одной школе, возможно, всё было бы по-другому. Малютки с круглыми личиками так и сидят у меня в голове, но в седьмом классе пришла в чужую, холодную школу, да еще мальчики явились.

Простите, тетеньки и дяденьки учителя, теперь уж, наверно, жители кладбищ, я не смогла вас полюбить. А без любви и хлеб в горло не лезет, что говорить об одноклассниках и учителях.

На меня обрушился целый класс половозрелых, сисястых, задастых девочек и бледных, маленьких, умственно недоразвитых мальчиков, на вид лет на десять младше девочек.

А там, в покинутой школе, осталась малюсенькая кудрявая Эмка с глазами-вишенками. Может, и тупенькая, зато нежная Рита Войцеховская с задумчивым эллипсом личика, где радиус в много меньше радиуса а, или Литвяшка с носиком незаметным, как пупырышек.

Так и пошла моя любовь кувырком до конца школы.

Пойти-то пошла, но, внимательно посмотрев на хвост, вдруг вспомнила вечеринку. Так, кажется, называли тусовку раньше, в культурное время.

Восьмой класс, собрались на чей-то день рожденья. Чуть посидели — танцы. Медленный, медленный фокстрот, и меня приглашает Валера Евдокимов. Я едва касаюсь его плеча, он — не похоже, чтоб вообще коснулся, — так около моей талии руку и держал. Мы в такт перебираем ногами и не смотрим друг на друга.

После этого вечера или раньше Валера мне нравился. Мы жили в одном доме, в соседних подъездах. У него была очень тонкая, но уже мужская фигура: он занимался где-то спортивной гимнастикой. Нравилось, что он красиво играл в волейбол, что приходил на площадку с маленькой сестренкой. Казалось, что в нем есть сдержанность и достоинство.

Если бы мы смогли как-то поговорить, сблизиться, — нет, всё это фантазии. Наше поведение определяется тем, что сложилось в голове, и ничем больше. Значит, программа не ветвится?

Последний год школы перед поступлением. Выбор уже сделан, я никуда не хотела, кроме мехмата. Мама приедет в начале лета, когда в Южной Азии станет нестерпимо жарко. Я накупила абонементов на лекции и семинары для абитуры на физфак и мехмат. Начала ездить на Ленинские горы.

Еще осенью районный врач разрешила по состоянию здоровья (постоянно очень низкое давление) не ходить в школу по понедельникам. Счастливая, занималась лишний день чем хотела. Читала художественную литературу. К весне чувствовала уже такую слабость, что со второй половины лекций в универе вынуждена была уходить домой.

Пришло время готовиться к поступлению. Мама читала теоремы, я разбиралась, лежа с тетрадкой и ручкой в руке. Потом за две недели до экзаменов она нашла мне — по слухам, лучшего в Москве — репетитора Ваховского. Группа из четырех человек, где я и Лена Шапиро, — на мехмат, остальные на другие факультеты. В запасах задач нашего преподавателя была одна, сыгравшая историческую роль в моей жизни. Это планиметрия, задача с биссектрисой. На занятиях мы ее разобрали.

И вот математика письменная, и у меня она. Наплевав на все простые задачи со всякими бассейнами или велосипедами, начала ее решать. До конца экзамена кончила только первый случай. Радостная, пришла домой с воплем: «на будущий год обязательно поступлю». Результат пошла смотреть мама. Звонит, говорит: у тебя «3».

Нигде, кроме мехмата, такого неформального подхода не могло быть.

Значит, будем сдавать дальше. С трудом — знаний было в обрез — поступила.

И вот я на первом курсе, и снова живу с бабушкой. Домашний холод незаметней, если вокруг такие же, как ты, тем более что с нами учился Боря Гужев, легко слепивший нашу 104-ю группу в прочный коллектив.

Все девочки, по крайней мере на вид, такого же возраста, как я: школьницы, и не самых старших классов. Трудно сказать, насколько они увлечены математикой, но склонность жить в абстракциях очевидна.

Несколько мальчиков увлеченно занимались, но в нашей маленькой компании мальчики казались балбесами, нам под стать.

Вопрос пола нас не занимал ни минуты. Все мы были равны, веселы и довольны собой, просто сказать, симпатяги.

Но проблемы возникали.

После школы МГУ на Воробьевых горах казался таким прекрасным, что к декабрю я поняла, что недостойна его. Сдав досрочно такую ерунду, как зачеты по матанализу и аналитической геометрии, причем в один день, я впала в тоску: Галина Степановна, преподаватель секции лыж, сказала, что по физкультуре больше двойки я не получу никогда.

Ходила по факультету, мысленно прощаясь с дубовыми панелями коридора и запредельным видом из окна. Уже на исходе зачетной сессии, собрав все за семнадцать лет скопившиеся у меня интеллектуальные, физические, астральные и прочие солнечные подарки, пробежала три километра на лыжах, уложившись в срок.

Галина Степановна — родоприемница моего возрождения. Выполняя все ее предписания и в течение двух лет, пока ренессанс длился, испытывая нечеловеческие мучения, я вышла из круга слабости и нездоровья.

Итак, зачет по физкультуре получен, и я опять студентка. Во-первых, 16-24. Крутой амфитеатр, где нас ожидали приключения не только научные.

Наша сто четвертая

Но начиналось все в группе. Думаю, что промысел, он же геном, сработал безошибочно. Все старшие классы я ненавидела школу, если дистрофик может ненавидеть, даже на выпускной вечер не пошла: сходила, получила аттестат и пошла домой.

Чтобы этот яд рассосался, нужна была веселая компания, — и вот она, наша 104-я группа.

Десять минут до контрольной. Пыль стоит столбом. Сухая тряпка от каждого удара рукой и даже ногой испускает, как чернила морское чудище, меловой шлейф. Наконец от меткого удара баскетболиста Малинина она зависает на прямоугольнике лампы. Но в это время Лена Артемьева встала на подоконник, что непросто при ее тогда еще минимальном весе в 120 кг, и размахивает портфелем Гали Лапенковой. Никто не вмешивается, понимая, что это конец разборки двух задушевных подруг.

Итак, Лена выкрикивает в угаре шантажа: «Выкину!!» Галя тоже немногословна, не форсируя голоса: «Не выкинешь». Такой батл. Лена замахивается, и портфель улетает в космос, ведь мы на тринадцатом, соответствующем 17-му в общежитии. Никто не знает, где он приземлится.

Преподаватель входит в аудиторию, как в спортивный зал. Все потные, красные, но дело есть дело: подруга дает Лапенковой бумагу и ручку, контрольная пошла.

После занятий все в читалке на четырнадцатом этаже, но скоро все наши балбесы рассеиваются. Остается Захар и его протеже Лена Артемьева. Галя ушла хлопотать о портфеле. Лена читает лекцию, Захар заканчивает задачки.

Лена в ступоре непонимания уже четвертый раз подходит к стене и гулко стучит в нее головой. Никто не реагирует, да это и не спектакль, это желание понять. Не подумайте, что Елена Юрьевна не кончила МГУ с нами. Наоборот, она первая с курса через год после окончания защитила кандидатскую, но не на мехмате, а среди психологов, научив их обсчитывать связи движения руки с импульсами головного мозга (или что-то подобное). У Лены в жизни было много больших успехов, и гул стены от ударов ее головы предвещал их, хотя трагического было не меньше: докторскую диссертацию она защитила уже после ампутации двух ног. Хочется рассказать о ней подробнее.

Лена Артемьева

В период сильнейших моих переживаний я не умела ни с кем делиться. Прошло время, и кроме Наташи Лебедевой близкой моей подругой оказалась Лена Артемьева. Всех однокурсников она встречала с распростертыми объятиями, но не все оставались с ней рядом. Мои посещения начались совсем незадолго до первой ампутации ноги, и в то время я была единственной из нашей группы, кто приходил к ней часто.

Вот, такое воспоминание, оно не выглядит счастливым, но хорошо, что оно было.

Я пришла к ней в больницу на улицу Адель-Салима в субботу, а в понедельник она умерла. Я застала ее озабоченной тем, как передать анализ мочи в лабораторию. Горела от температуры и, может быть, поэтому казалась активной, собранной, готовой к борьбе. Я взяла баночку, было уже поздно, и мы решили, что возвращаться из лаборатории я не буду. Прощаясь со мной, сказала:

— Я, конечно, выздоровею. Но для чего? — Помолчала. — Не понимаю.

Кроме потери сил она, возможно, чувствовала крушение нашего мира. Хорошо, что время шакалов она не застала. Помню, однажды домой к ней пришла как раз, когда в телевизоре говорил Горбачев. Лена со смехом сообщила мне: «Теперь первичен дух, а материя тащится сзади».

После университета мы долго не перезванивались, и я начала приходить к ней, когда уже около полусотни ее аспирантов благополучно стали кандидатами в большую жизнь.

Во всяком случае, число опубликованных совместных и ее личных работ перевалило за сотню. Мальчики на моей памяти по большей части оказывались москвичами. Они оставались на кафедре, быстро становились доцентами, а некоторые быстро защищали и докторские.

Вероятно, именно знакомство со статьями и результатами ее учеников и подвигло нашего Володю Лефевра у себя в американских журналах назвать Лену основателем советской математической психологии. Это повысило ее статус на кафедре, но не повлияло на зарплату.

В те времена Лена много ездила на конференции в ГДР, Венгрию и каждый год на факультетскую зимнюю школу в Подмосковье.

То, что она рассказывала, трудно было принять за чистую правду. В Венгрии, как она говорила, понимала всё сказанное на этом языке. Весело предполагала, что по-китайски тоже всё поймет. Хотя верно, что если понимаешь термины, то остальные слова не очень нужны.

В Германии, по ее словам, немецкий психолог печалился, что во времена нацистов утеряна очень сильная школа бихевиоризма.

Первые ее аспиранты мало отличались по возрасту от нас. Одна 48-го года рожденья, другая 50-го. Первая, моя подруга Лина, нарисовала кляксами, пятнами и линиями серию рисунков и получила впечатляющие резуль-

таты на большой выборке испытуемых. То есть на одну картинку назывались или одинаковые, или близкие по значению слова. Конечно, не слово «клякса», а что-то по ассоциации из личного багажа. Образовалась работа по новой науке, субъективной семантике. Ну, я как поняла, так и объяснила.

Не знаю, в какую сторону наука сейчас двинулась, но, как бы там ни было, Лена и ее ученики работали много и весело.

После первой ампутации я, войдя в палату, услышала ее голос, даже с оттенком веселья: «Наташка, а мне ногу оттяпали».

Рядом с ней сидел ее давний ученик, ставший в то время проректором Ярославского университета. Он приехал, не зная о случившемся, искать у Е.Ю. поддержки (все люди на кафедре и около неё всегда называли её Еленой Юрьевной). Рассказал, что у них произошло, и она подробно объясняла, что надо делать. Скорее всего, это не про науку, Лена у себя на факультете была председателем парткома и в чиновничьих делах, как и в научных, слыла незаменимым профи.

Эти дела меня не касались, регулярно я приезжала на Юго-Западную, чтобы принести батон и молоко. Это обычное приношение всех, кто к ней приходил.

К тому времени, когда начались первые признаки гангрены, жизнь неслась по рельсам налаженного быта. Лена жила в дальней комнате, а ближнюю занимала какая-нибудь ее аспирантка, после защиты она уезжала в свой город или устраивалась в Москве, а комнату занимала следующая аспирантка.

О работоспособности Е.Ю. можно судить по тому, как она после второй ампутации за два летних месяца написала докторскую диссертацию и осенью ее защитила. Пока были целы ноги, и даже одна нога, Лена не прекращала работы с аспирантами, доцентами, с большим числом факультетского народа, и статьи продолжали идти из-под ее пера, — на диссертацию никогда не хватало времени.

В ноябре она защитилась, а в декабре её не стало.

Про своих коллег с кафедры вероятности говорила, что они делают две недели работу, на которую ей нужен день.

В квартире у Лены всегда бурлил наукоговорящий народ.

Наукоговорящими я назвала их не случайно. Любую проблему, возникшую с коллегой или его близким, они начинают «объяснять». Речь льется настолько наукообразная и тоскливая, что кажется, конца ей не будет никогда. Из всей капеллы, поющей в её квартире, только Е.Ю. этим не страдала. Всегда она смеялась и рассказывала что-то фантастическое, а серьёзной или иногда патетичной становилась только в статьях.

Даже то, что она выкинула портфель подруги с 13-го этажа, говорит о страстях, пылающих в её душе. Она тяжело переживала из-за того, что была так не похожа на обычных людей ни физически, ни психически. Как-то она сказала: «Оскорбить тебя на улице может любой не очень вменяемый», и добавила, что особенно боится не парней, а девушек — они легче распускают руки.

Этот дискомфорт она старательно прятала, и душа ее требовала веселья. Праздники устраивались по поводам и без поводов. Собирались не меньше двадцати человек, вся часть кафедры, влекущаяся к Артемьевой: шум, гам, смех и топот. Сытно поесть в хорошей компании кто откажется?

Праздничный стол раскладывался в большой комнате. Лена любила кормить, но среди гостей встречались кулинары узких специальностей. Например, доцент Петухов, как только народ усаживался вокруг стола, отправлялся на кухню готовить на всех драники. У хозяйки имелись свои рецепты многих блюд, и обязательно на столе стояли кувшины с морсами ее приготовления. На стене висела грамота за первое место в конкурсе «Что приготовить из сухого хлеба». Лена рассказала, что во время работы с заглавиями в газетах (мастерили какую-то важную статью) наткнулась на объявление

об этом конкурсе и решила придумать десяточек способов. Мы спросили ее, пробовала ли она сделать что-нибудь хотя бы по одному из этих рецептов. Лена засмеялась: «могу поискать, а вы попробуете».

Помню на этих сборищах молодую женщину, высокую, королевского сложения, она вела себя за столом как маленькая невоспитанная девочка, выхватывала еду из-под носа соседа, громким хохотом глушила всю компанию и время от времени вещала доморощенные «мудрости». Никто серьезно не обращал на нее внимания: дикие люди среди культурных — это же сад всех цветов.

Другой доцент, с полным отсутствием дикости, рассказывал Елене Юрьевне: «Две прекрасные женщины захотели жить вместе». Так он объяснил, что, купив квартиру для жены и дочки, обнаружил в ней тещу.

Все прекрасно знали друг друга, и только меня не знал никто, кроме хозяйки, но Ленка создавала такую обстановку, что я не чувствовала себя чужой.

В простые дни народ не исчезал, ключ от квартиры лежал под ковриком. И еда никогда не кончалась, зато часто кончались деньги, хотя на наряды деньги не шли. Помню ее зимнее пальто, сильно напоминающее ту одежду, что показывали в наших довоенных фильмах. Начиная с первой ампутации ничего, кроме сарафана, время от времени нового, на ней не бывало.

Лена отказалась от инвалидности, потому что боялась ограничить свою роль на кафедре, и все, кто мог, включая меня, помогали ей деньгами.

Вот я прихожу на встречу Нового года. Почетным гостем оказался юноша из Колумбии, безответно влюбленный в Таню, крымскую аспирантку Е.Ю. Таня выгружает посылку из дома: банки консервированных персиков, и прочее, и прочее, а колумбиец берется за гитару. Всю ночь он, изливая душу, пел народные песни, к тому же в них мы слышали знакомые мотивы из «“Юноны” и “Авось”» Рыбникова, а испанские слова добавляли силы.

Кроме песен было традиционное гадание с шапкой, ты опускаешь туда руку и на вынутой записке видишь свою жизнь в новом году зашифрованной, как в книге перемен, и, наконец, после двенадцати в бокал шампанского надо было опустить кусочек шоколада — он или всплывал, или болтался на дне. И то и другое было признаком, но чего — убей бог.

В жизни Лены это не последняя встреча Нового года, но оставалось ей совсем немного. Когда у нас с ней заходил разговор о смерти, оказывалось, что мы, неверующие, думаем одинаково. Естественно, эту точку зрения мы не изобрели. Е.Ю. говорила: «… я часть человечества, пока оно существует, я не исчезаю. Если оно будет еще тысячу лет, значит, и я буду тысячу лет».

Это хорошо, если оно останется. Ну, хотя бы виртуально, как хвост воспоминаний.

Снова мехматская юность

Нам подруги казались несовместимыми по характеру: Лена — дитя природы, вечно на большой скорости, как слоник, вообразивший, что он не больше тигренка, и замедленная рыжая блондинка Галя. Галя всегда говорила и делала только правильные вещи, угрызая всю группу, если мы решили сбежать, например, с физики, к которой относились почти так же пренебрежительно, как к философии Маркса и Ленина.

Нас не волновали политика, экономика, другие страны и континенты.

На мехмате наши учителя лелеяли в нас концентрацию на собственной гениальности. Нам было запрещено играть в шахматы, и, конечно, все общественные предметы полагалось не знать. Даже, я бы сказала, интерес к ним высмеивался: в группе появилась девушка, яростно изучавшая «Капитал», но скоро исчезла, — мы считали ее странной, а все общественные науки галиматьей.

На экзаменах по нашим специальным предметам, начиная от матанализа на втором курсе, разрешалось пользоваться своими записями лекций, а часто и учебниками. Экзаменатор, как правило, только просматривал твои записи и писал по теме вопрос или задачу. Не можешь решить, иди домой, занимайся дальше.

Что уж говорить о неестественных предметах. Здесь разрешалось всё.

Диамат, истмат, политэкономия не представляли для нас никаких трудностей. Перед экзаменом по политэкономии толпа у входа каждому сообщала, что преподаватель всегда задает после того, как ты прочитаешь выписанную из учебника белиберду, вопрос «Что такое НЭП?», и ответ должен быть гениально лаконичным: «Смычка». Лектор так же увлеченно играл профессора, как мы его преданных учеников.

Получив билет, берешь учебник, выписываешь подходящий кусок, и вот она, пятерка в зачетке. Если же ты пренебрежешь волшебным словом «смычка», случится катастрофа, и тебе нарисуют четверку. Я при этом поплатилась за собственную «честность», призналась лектору, что хотя на всех лекциях присутствовала, но его благословенные слова не записывала (наверно, от восторга), — получила четверку.

Кончили МГУ с твердой уверенностью, что все гуманитарные науки — мусор.

Наши трудности. Диспуты

Так мы и выросли, ничего не зная ни про один съезд КПСС.

Все-таки трудностей с другими дисциплинами мы не избежали. Нас, людей интеллекта, пытались сначала замучить физпрактикумом, потом добить программированием. Лучшие из нас подвергались пыткам при сдаче зачетов по этим предметам.

Сейчас живет и работает в Америке профессор Калифорнийского университета Вова Лефевр. Разнообразные политологи по радио его называют великим философом.

А в наше время он выдержал самые мучительные испытания. С декабря по апрель он сдавал зачет по английскому языку. Мы собирались под дверью аудитории, где Лефевр один на один оставался с преподавателем. И вот теплым весенним днем дверь открылась, и изможденный, весь мокрый от титанических усилий Вова медленно выплыл триумфатором. Кстати, злые языки говорят, что в Америке английский он так и не выучил.

Мы пережили всё это, оставаясь нерушимо веселыми. Лена часто смеялась вместе с нами, хотя, как и Галя, голосовала за то, чтобы не принимать в комсомол мою лучшую подругу Наташу только за то, что члену клана она в 119-м автобусе по дороге в храм сказала: «Нужен мне этот комсомол!!» Кланом я назвала «правильных» студентов нашей группы. В нем состояли кроме Лены, Гали еще Лёня и Захар, и еще Катин. Мы элементарно забили массой этих ортодоксов.

Точно так же через год проголосовали против того, чтобы рекомендовать в партию Катина. Тогда на очередном собрании Лефевр выступил и назвал Катина зреющим мерзавцем. Страсти кипели, как на средневековом диспуте. Помню, Лёня в коридоре прижал меня к стенке и пытался переписать программу в моей голове.

Вот Галя Лапенкова выступает с обличением нас, решивших пойти в поход. Она в своих темно-коричневых чулочках в резиночку неторопливо восстает против безумства толпы и вразумляет ее.

Сверхправильность аукнулась ей после окончания учебы. Выйдя замуж за литовца на 50 лет ее старше, она своеобразно освоила его особняк в Вильнюсе. Разместившись на большом дереве, спуститься могла, только если Альгис приготовит «Киевский торт с ананасом». По крайней мере, так рассказывала нам ее лучшая подруга Лена, якобы из Вильнюса письма шли

регулярно. Я сомневалась даже в том, что идет между ними переписка, но, когда мы отмечали годовщину смерти Лены, я увидела в квартире на тумбочке нераспечатанное письмо от Гали из Литвы.

Лена умерла после сорока, а начались наши печальные потери еще до тридцати. Из группы: Таня Гарина, Роос, Прошин — гениев трудно найти среди здоровых.

После первой сессии из группы в 24 человека отчислили девятерых. Среди них и Малинин. Он не хотел учиться, но хотел развлечений, например, вот таких. Однажды, когда в аудиторию вошел преподаватель матанализа, Малинин встал в проходе и сообщил: «Сегодня в Индонезии запретили хула-хуп, почтим память уважаемой партии вставанием и минутой молчания». Все встали и торжественно помолчали. Замдекана Шидловский, он вел у нас анализ, возможно, понял, что дело нечисто, но связываться с нами не стал.

Другие исчезнувшие очень старались учиться, но осилить даже коллоквиум и зачеты не смогли.

С 13-го этажа можно перейти в общежитие, но по дороге мы часто выходили на просторную крышу, где стояли башенки с красивыми вогнутыми боками, в них продолжалось общежитие.

На бетоне крыши возвышались небольшие ящики с землей, летом в них росла трава. Кроме нашей группы, никто не воспользовался так эффективно этими клумбами. Мы поставили там мемориал. Взяли дощечку, написали на ней фамилии отчисленных после первой сессии: и Володи Малинина, и яркой блондинки Люды Кашкиной, и танцующей на ходу Докукиной, и маленького Евтеева, и еще пяти безвременно от нас ушедших. Летом чисто символически поливали около дощечки водой, но тех, кого отчислили позднее, уже не вписывали, мемориал ушел в историю.

После окончания, когда преподаватели стали с нами почти друзьями, куратор курса Валентина Францевна рассказала, что группа у нас отличалась от других. Даже когда мы сидели тихо, в аудитории слышалось громкое шарканье и топот наших ног.

Мой друг Коловрат

Нас не волнуют такие глупости, как отметки. Это первокурсники, салаги, пусть сходят с ума от страха отчисления. Помню, мы с Коловратом (такое имя мы дали Володе Матвееву) встретились и чего-то ждали, то ли пересдачи, то ли руководителя. Коловрат, бывало, прямо из встречной толпы выскочит ко мне и, улыбаясь, скажет: «Как ты на Гитлера похожа!» В другой раз еще что-нибудь неожиданное сообщит. Мы были хорошими друзьями, пока он не попал насмерть под поезд. «Коловрат» — слово старинное, означающее стоящего около ворот, видно, от каких-то заборов и отошел.

И рассказал он мне, сидя на подоконнике, про себя:

«Разные запахи бродят по нашей стране, но самый сильный — запах соли. Многие думают, что соль не пахнет. Это не так, вся страна пропахла солью. Особенно по ночам. Запах, навязчивый и приторный, оставляет в мозгу лакуны и пещеры. В соляных пещерах мозга вывелись кукушки. Днем они молчат, а ночью каждые пятнадцать минут хором говорят один раз «ку-ку». Час ку-ку наступает в разное время. Иногда едва стемнеет, а иногда ждешь, когда запоют, чуть не до рассвета.

В одной пещере обитает только одна кукушка. За это я отвечаю. Пещеры не имеют между собой сообщения, и то, как кукушки узнают момент произнести «ку-ку», это самая большая загадка нашего времени.

Эта загадка, как проблема Пуанкаре в свое время для человечества, стала для меня главной в жизни. Десять лет я бился над постановкой задачи, где корректно были бы сформулированы все посылки и само доказательство.

Среди данных не вызывает сомнений только количество пещер: 178. Много ночей я тщательно пересчитывал голоса кукушек и остановился на

вышеприведенном числе только после того, как 24 ночи подряд число это не менялось.

Затем я установил, что существует кукушка-предводитель. После того как она скажет «ку-ку», все 177 ее соратниц одновременно, вернее с еле уловимым отставанием, подхватывают песню. Запевала живет в верхней левой части моей головы.

Я устал. Голова болит весь день. Но моя работа не должна пропасть даром. Если я умру, людям придется делать все заново. Эта мысль приводит меня в отчаяние. Я ведь люблю людей. Первый экземпляр я посылаю в математический институт Стеклова. Там настоящие ученые, коллеги оценят важность моего результата».

Он кончил, мне не хотелось самой слушать «ку-ку» по ночам, но задача поставлена корректно. Со временем не он, так другой найдет тех, кто слышит не «ку-ку», так «ква-ква», они организуют семинар, проблема сдвинется с места. Сами видите, какими неподъемными открытиями забиты наши головы. Нам было не до политэкономии. Слава богу, противоестественные предметы преподавали понимающие люди.

Покорение звезды и другие приключения. Мы — цыплята

Май месяц, и все коридоры мехмата наполнены сильным запахом цветущей черемухи, неповторимым духом первой травы и клейких листьев.

Все мы, вся сто четвертая, — все мы клейкие листья. Только приклеиваясь друг к другу, мы начинаем понимать себя. Для нас, никогда не посещавших детских садов, мехмат и был нашим детским садом.

Итак, час дня, занятия первой половины расписания окончены, и мы толпимся у лифта. Набиваемся в кабину так плотно, что, воткнувшись в чью-то задницу, я удивляюсь, как это она может иметь жидкую консистенцию наподобие киселя. Но эта задница не из нашей группы. Мы все худые, упругие и готовые к подвигам в любую минуту.

После обеда лекция на физфаке. Тащиться по улице неинтересно, и мы решаем, что пора обследовать главный корпус. Итак, сегодня мы, четыре подружки, покоряем «звезду». Поднимаемся на центральном лифте на тридцать третий этаж, осматриваем экспонаты музея. Но камни нас никак не интересуют, и тут мы обнаруживаем дверку на винтовую лестницу и отважно лезем всё выше и выше.

Наконец перед нами распахивается дверь, и мужчина средних лет приглашает войти. Мы в небольшой комнате, и наш экскурсовод сначала отбирает у нас пропуска, потом рассказывает об особенностях своего хозяйства. Интересно, воду, нажав кнопку, надо ждать несколько минут, при этом раздается хлюпанье насоса.

Потом смотрим из окна: Ломоносовский проспект, кажется, примостился прямо под стеной главного корпуса, машины и дома, как на макете.

Наконец, прочитав небольшую лекцию о вреде любопытства, раздал пропуска и отпустил. После этого покорения «звезды» я подумывала о последствиях, но вслух мы этого не обсуждали, и воспоминание осталось не замутненным ничем плохим.

После первых двух курсов мы отправились на разные кафедры, это значит, что мы разошлись по разным группам. Но перед этим, окончив второй курс, уехали в подмосковную Битцу строить окружную дорогу, и это было праздником длиною почти в месяц. Приехав домой после первой недели, привела маму в ужас. Руки от кисти до локтя были черными. На самом деле состоялось радостное освоение волейбола. Играли целыми днями, потому что наше рабочее место еще не осуществилось.

Но и на стройке лопатой работали мы очень немного времени. Ковыряли что-то в глиняном откосе час-полтора, потом приезжал грейдер и быстро делал нашу-не-нашу работу.

Чаще находились мы в лагере из нескольких палаток. Жизнь шла здесь. Кроме нашего курса тут обитал курс, на год нас младше. Высокий красивый мальчик привлек моё внимание, вернее, он и его девочка. Нельзя сказать, что завидовала, просто это первое наблюдение за поведением в такой ситуации. Ее не помню, а он казался почему-то униженным.

Через несколько лет на нашей кафедре математики в МИФИ я встречу того самого первокурсника. Действовал он по всем правилам обольщения, но в решительные моменты вспоминал, что дома сидит жена с дочкой, и галантно отступал. Я готова была на прыжок в неизвестность, пока у него дома не увидела фотографию жены. Овеществление идеи подействовало на меня отрезвляюще. В тот вечер мы попрощались и договорились, что я позвоню через день.

На другой день уехала в Турист, в родные места. Помню, что поднималась по длинной лысой горе перед деревней Горки, сердце рвалось от близости счастья и отчаянья, что оно невозможно. Легла на траву и поклялась себе, что ничего не будет, и, чтобы клятва не нарушилась, взяла горсть земли и начала ее жевать, чуть-чуть проглотила. Больше я ему не звонила, наши отношения рассосались.

Как в большинстве таких случаев, фото жены — это только повод, подложенный вместо настоящей причины. Я остерегалась сближения с ним, само общение меня настораживало. Казался он каким-то ложным.

Все эти отчаянные приключения вспоминаются как кукольное представление.

В начале и продолжении таких отношений, чтобы они успешно кончились, в экстремальном случае — свадьбой, женщина должна от начала до конца демонстрировать, что она кукла. Если на минуту показала, что это не так, он испугается. Из-за такой игры после свадьбы быстро обнаружится, что ни он, ни она не куклы. И тогда остается надеяться только на бога.

Но всё это имеет интервал действия от альфа один до альфа два. Главное — характер, от него зависит всё, что с человеком произойдет.

А что же в Битце? Там мы с моей лучшей подругой Наташей Лебедевой по-настоящему обнаружили взаимное притяжение. На стройке мы всегда были рядом, и это только начало.

Наша дружба будет длиться долго, по существу, я стану лет на двадцать членом ее семьи. А муж ее, редактор в «Совписе», будет моим гуру по литературе. Некоторые мои стихи называл он гениальными, зато прозу строго-настрого запретил писать.

Вместе с подругой тогда в сумбуре лагерной жизни я попробовала курить. Затянулась и чуть было не упала, так сильно закружилась голова. Вцепилась в какой-то забор рядом с палаткой. Потихоньку втягивалась, и скоро стало казаться, что без курения и думать не получится, а отдыхать тем более: в самом деле, разве затяжка — это не то же приключение, что на ледоходе?

Подруга называла курение не недостатком, а избытком, но всё избыточное с возрастом изживается, остается лишь необходимое.

Итак, универ окончен.

Уральские страдания

Получив диплом мехмата, комиссии по распределению я объявила о желании пойти на преподавательскую работу, мне торжественно сообщили, что Министерство высшего образования исчерпало свои места. Распределили в НИИ «Энергосетьпроект».

Начинала на «Урале». Он находился на Бауманской и умеренно, сверкая огоньками, гудел в просторном помещении, где в углу вел бурную жизнь перфоратор, временами, как нам казалось, из вредности поднимая звериный вой и разрывая картонные карточки, где был обязан пробить осмысленные дырочки. Там работали операторы.

Программисты ВЦ не имели помещения и вынужденно кочевали по разным местам. Однажды мы, три вычислительные девушки, сидели в кабинете директора, когда утром зазвенел телефон, и нам сообщили, что гроб прибыл. Мы побежали в коридор в поисках адресата ценного сообщения, но найти кого-нибудь было непросто.

Обычно коридоры наполнялись в 9.05, когда импозантные старички (с моей незрелой точки зрения) выходили из комнат, только что на рабочем месте отметив свое прибытие и благодушно предвкушая непродолжительное общение с приятными коллегами. В 9.30 коридоры, как и кабинеты, пустели.

Я выскочила на лестницу, между этажами находилась всегда закрытая дверь с табличкой «Отдел калек». Калек тоже не оказалось на рабочем месте, а девочки объяснили, хотя я уже догадалась сама, что там хранятся кальки.

Кто-то из нас встретил завхоза, передал важную весть, и мы, все трое, вернулись на рабочее место в кабинет директора.

Что я там делала? Трудно сказать. Писала программы на фортране, это было. Было это совсем неплохо, особенно когда они долго ветвились. Другое дело — отлаживать программу.

Это так же тяжело, как принять «Фортранс», порошок для очищения. Конечно, вру, «Фортранс», хоть и пахнет морковкой, намного хуже, и фортрана, и отладки. Могу сравнить его только с китайской едой: водоросли с грибами, после которых неделю категорически не хотелось есть ничего. Никто меня не заставлял пробовать блюдо, это моё кошачье любопытство.

Однажды моя хорошенькая кошечка пристала: «дай да дай», когда я занималась с флаконом «Фэри». Я капнула ей в рот, хотя тут же испугалась, не навредила ли. Муся была удовлетворена, но потом из ее ротика долго шли пузыри.

Так и у меня с фортраном. Придя на работу в сентябре, первый пузырь я соорудила уже в ноябре: написала заявление с просьбой об увольнении и пошла к директору, чтобы вручить его. Долго стояла под дверью, ожидая чувства собственной безграничной силы убеждения для такого важного дела.

Наконец вошла, и, как казалось, после моей речи начальник благосклонно встал на мою сторону. Довольная, пошла к выходу и, не сдержавшись, подпрыгнула именно так, как часто маленькие дети, подпрыгивая попеременно на каждой ноге, бегут в школу. Это меня не смутило, ну разве чуть-чуть, и я ждала благодати.

Конечно, пузырь лопнул без всяких последствий. Зато второй пузырь задуман и выполнен был не с бухты-барахты. Я решила идти в КГБ.

Вошла за тяжелую дверь, и почему-то поразил огромный острый штык на винтовке охранника. Потом прошла в кабинет, и тут моя уверенность в себе несколько скособочилась. Я увидела перед собой за большим столом в большом кресле человека очень доброго, очень благожелательного, но доброго и доброжелательного не совсем обычно. Так бывает, когда в доме, кроме торта, ничего нет, и ты ешь его, ешь и вдруг бежишь к холодильнику и ищешь горчицу.

Выйдя на Дзержинку, я успокаивала себя, что многие наши пошли к ним в ВЦ и, по слухам, очень довольны. Не буду же я работать с этим странным чиновником. Вспоминая его лицо, решила, что, конечно, он член иезуитского ордена.

Но и этот пузырь лопнул.

Примерно через месяц я увидела в своем богом спасаемом НИИ, в пустом кабинете начальника, под стеклом небольшую бумажку, где было написано: откомандировать меня в распоряжение в/ч № 1234. В скором времени, как Пушкина в Михайловское, меня сослали в Огородный проезд.

Там наконец мне поставили задачу по защите электросети от такого несчастья, от этакого, всего десять пунктов. Но раз в неделю пара параметров выбрасывалась, другие вставлялись, но я-то умная, не писала никакой программы и жила в свое, очень заскорузлое удовольствие. Часто выбегала погу-

лять в Огородный проезд без единой зеленой былинки, ходила в библиотеку, но не для того, чтобы читать расставленные по стеллажам отчеты о работах. Нет. Я дружила с Виолетой Самуиловной, румяной высокой женщиной, пожилой, как я была уверена, но всегда с доброй улыбкой и веселыми глазами. Чаще после небольшого разговора, а иногда сразу, войдя в библиотеку, я спрашивала: Виолета Самуиловна, можно? В ответ она улыбалась, и тогда я быстро влезала по доскам стеллажей под потолок и начинала траверс библиотеки. Через несколько минут спускалась с другой стороны двери, говорила «спасибо» и бежала на рабочее место. Иногда, если чувствовала катастрофическую недостаточность всего одного траверса, приходилось повторять.

Да, если б я не была легкомысленной, я не попала бы в «Энергосетьпроект», а если б попала, вела бы себя по-другому. Не стучалась бы в КГБ, вот это просто невообразимо. Нормированный рабочий день без глупостей. Папа мой служил каждодневно и непреодолимо, мне такого нельзя и представить. Я свободна всегда и везде, поэтому мне так нравилось из обрыдлой свободы попасть в альплагерь, в царство необходимости.

Казалось, что в будущем только преподавание — свобода и служение, больше никаких НИИ. И вот на втором году работы в Огородном устроилась на вечернем факультете МЭИ преподавать аналитическую геометрию. Вхожу в аудиторию, передо мной двадцать добрых молодцев, чуть украшенных красными девицами. Начинаю говорить, вдруг слышу себя со стороны, про скалярное произведение почему-то кричу, надрываясь что есть мочи. Отступаю, поворачиваюсь к черному ночному окну, и в нем, как в зеркале, вижу вопящее чучело. Наконец справляюсь с волнением и замечаю перед собой лица парней, все старше меня, некоторые намного, другие выглядит ровесниками, и все улыбаются. Ничего, попривыкли и они, и я.

Прошло три года после окончания мехмата, самые энергичные, самые созидательные в жизни, — как мыльные пузыри, они лопнули, не принеся ни удовлетворения в работе, ни новых знаний и умений. В конце мне сказали, что отпустят, когда я напишу программу, которую пишу последние два года. Я написала ее за два дня, отвезла на Бауманскую, но отладить не успела, меня уволили.

Так закончилось мое инженерное существование. За это время я начала проявлять самостоятельность, это значит, повзрослела, и эмоциональные провалы возникали реже. Я начала преподавать, то есть осмысленно работать. Да и два месяца отпуска тоже время жизни.

Часть вторая
Чужой монастырь

Если другие части — просто повести, то эта, написанная всего за две недели, когда других частей еще не намечалось, мне самой очень нравилась. Я, как могла, отредактировала ее, распечатала и, прыгая от радости, понесла старинному приятелю, издавшему мою первую книгу стихов. Он поглядел на нетолстый файлик и сказал: «Положи здесь, сверху бумаг». Больше он до нее не дотронулся: не было времени.

Оглядываюсь и удивляюсь

Двенадцатого апреля я приехала работать в обсерваторию МГУ на Тянь-Шане.

Впервые в Алма-Ате. Я иду с рюкзаком за спиной по солнечному спящему городу, по широкой бесконечной улице прямо от вокзала в сторону едва видимых вершин. Я иду так, как будто это не город, а вся земля медленно поворачивается под ногами. Нет никаких людей — и быть не может,

нет никаких машин — и быть не может. Есть я и Земля, над нами Солнце и где-то впереди — Горы. Потом, потом я увижу всё это сверху, с высоты трех тысяч метров, земля окажется действительно круглой, как говорили физики, но концы её загибаются не вниз, а вверх, то есть, очевидно, люди живут не снаружи шара, а в его внутренности. Отсюда постоянное припоминание о настоящей жизни, отображением которой по формуле 1/z наша действительность и является. Ну что ж, внутренность так внутренность. Надо только время от времени делать на это поправку, иначе ошибка восприятия становится просто чудовищной.

Всё, что я увижу в экспедиции, в чем буду принимать участие, окажется точно таким скукоживанием того, что сделали люди, здесь жившие лет за пятнадцать до меня; то же было на моей первой работе — никто ничего не делал, хотя когда-то, в тридцатые, сороковые, пятидесятые, шестидесятые, всё делалось с огромным энтузиазмом.

Теперь, не имея никаких обязанностей, можно было заниматься собой, — вот это и было настоящим счастьем для меня. Общество освобождало людей от своего присутствия, и люди поступали каждый по-своему: одни спивались, другие шли в диссиденты и боролись за то, чтобы общество вмешалось в их жизнь, заставив их или умирать с голоду, или работать до изнеможения. Люди всегда борются за то, чтоб им хуже жилось.

Итак, Алма-Ата. Сначала база, то есть перевалочный пункт в городе. Я приехала сюда в день, когда раз в неделю, обычно по понедельникам, машина с базы увозила всех там работающих наверх. Рядом со мной двое рабочих: у одного в авоське газеты столбиками и некоторый бесформенный пакет, у второго сумка непрозрачная. Их разговор, образный, ёмкий, почти без мата, полностью мне недоступен: все слова знакомы, но связь между любыми двумя неуловима. Я слушаю, как песню на незнакомом языке, открыв рот, но для приличия отвернувшись. Интересно, овладею ли я этим языком когда-нибудь? Наконец грузимся и в путь.

Сначала едем по улицам. Город, не похожий на те, что видела прежде. Он просторен. Нет муравейников, слепленных из домов, нет муравейников, слепленных из машин, — этот город не для муравьёв.

И наконец мы из него выехали; медленно поднимаемся по тополиной аллее прямо к горам. Цветутет урюк. После черного снега Москвы — инопланетное чудо. Аллея прямо, не дрогнув, летит к линии гор, от этого возникает чувство надежной бесконечности, будто мы не в горы едем, а возносимся к вершине свободы.

Вот и началось. Слева река, мы в ущелье. Скалы вокруг, впереди ёлки. Но не ёлки, а ели: чинными девушками собираются вдали в кружок, в стаю, в цепь. «Газик» прыгает от моста к мосту: река то слева, то справа, ревёт вот уже баритоном, тише, тише, и снег-свет. Белого всё больше, и вот весне конец, снег и туман. В разрывах густого тумана, в надрывном гуденье мотора в белые снежные ноздри уткнётся машина, но нет. В последний момент извернётся — останемся целы, и выше, и выше вперед.

Прибыли, но видимость ноль. Почти вплотную подъехав в туманном мороке к избушке, заметим и камень огромный, избушка приткнулась к нему, и ель, этот камень подствольный держа, не роняя, сама между тем теряется где-то вверху. На избушке надпись: «Трактиръ». Рядом навес для машин. Под навесом что-то копает малыш.

Прежде чем рассказать о жизни на высоте 3500 метров в горах Тянь-Шаня, хочется объясниться с читателем. Как пришло в голову через два года после начала работы преподавателем математики в МИФИ бросить работу и уехать в Казахстан.

Давние события становятся легендой, притчей, мифом. А случай собственной жизни недостижимо прекрасным, даже если это далеко не так.

Чайки, чайники, чаинки

Айсберг ГП

Мне уже шло к тридцати, но особенности сложения моей жизни, желание уйти в абстрактные смыслы и занятия математикой, всегда стремившейся увести в другую реальность, сильно затормозили развитие. Эти возрастные искривления еще покажут себя и в моей, и в жизни молодежи моего круга.

Когда я окончила универ, меня окружали девочки и мальчики, не имевшие опыта ни половых, ни социальных отношений. Но я и десяток близких однокурсниц не спешили стать взрослыми. Лет через пять случайно вечером на улице встретила трех наших девочек, и они поразили меня несходством с теми, кого видела каждый день на работе. Их лица напоминали мне иконописные лики. Чистые, незамутненные, без улыбок, без оживления, они остались в памяти как три скульптурных портрета милосердия или жертвенности.

После тридцати они вышли замуж, родили детей, и таких лиц ни у них, ни у других знакомых я уже не встречала. Но и на тех, кто не выходил замуж, жизнь наложила свой нечистый отпечаток.

Итак, я уже вроде взрослая. Дядька Витька, тот самый, кто сажал меня во младенчестве на абажур, как-то спросил меня:

— Что замуж не выходишь? Дураки всё?

— Ага, — говорю, — не дураки, так дурни, если не дурни, то придурки. Корень один.

Но природа мстительна, как никто другой.

Мне 21, и я влюбляюсь.

Мы учились на курсах английского языка. Кончались занятия поздно, и он провожал меня до дома. Проходя мимо тенистых деревьев сквера, мы останавливались. Объятья распаляли, но мозг сопротивлялся. Какое определение подходит, не думала, но ясно было, не то. Моя гордость смотрела ему в глаза и спрашивала: ты кто? Предубеждение отвечало: нет, нет и нет. Вместе они образовывали айсберг ГП, грозивший вот-вот обрушиться в воду.

Сегодня я смотрю на нас двоих трезвыми глазами.

Вот мы гуляем в Сокольниках. Нашли укромный уголок и остановились, чтобы целоваться. Сейчас в моей памяти о том дне он — виртуальный персонаж, да и я — подсадная утка любовной охоты.

Теперь вижу, что было полное и абсолютное неприятие друг друга: голое влечение безо всякого желания узнать что-нибудь о другом. Это и есть «первая любовь»? Тем невнятнее причина моих переживаний. Ты хочешь о чувствах? Пожалуйста. Мы, влюбленные, — два пузыря, надутые гордостью и желанием.

Дошло до того, что по телефону сказала ему: «я люблю тебя». Кстати, первый и последний раз в жизни. Мне кажется, что эти слова, по крайней мере в нашем случае, похожи на заклинание самого говорящего.

Он ответил: «а я нет».

Гордость и Предубеждение, взявшись за руки, поплелись в темный чулан, чтобы там вспоминать своё героическое прошлое, и пришла мне в голову мысль о суициде. Тут Гордость и Предубеждение, уже сильно потрепанные, вылезли из чулана и в два козлиных голоса пропели: «Д-у-у-ура».

Оставалось броситься в омут разврата, то есть выдумать «любовь». Это значило, подчиниться человеку, к которому не испытывала ничего, кроме уважения и любопытства, и я получила шок такой силы, что Гордость и Предубеждение, заламывая руки и невнятно что-то бормоча, ушли из моей квартиры искать лучшей доли.

Этот шок повлиял на мое поведение в первой юности и не только. Секс был настолько неудачен, что следующие четыре года я не могла себе пред-

ставить, что издевательство над собой, в простоте называемое наслаждением, я могу повторить. Что спасало? Однообразие жизни, узкие стены, что держат людей. Каждый день после работы ехала в Ленинку, сидела там до закрытия. Читала Достоевского в дореволюционном издании с ятями. Достоевский всегда действовал одинаково и ни на какие другие книги не похоже. Первые пятьдесят страниц читала, как обычную литературу, и вдруг во мне, сначала несильно, разгорался огонь и до конца чтения жег душу. Что за огонь: сочувствия, совести, просто боли, не знаю. Скорее — всего вместе.

Я думаю, Федор Михайлович в понимании внутреннего человека превзошел всех писателей до и после себя. Именно поэтому он не подлежит экранизации. В девяноста девяти из ста случаев кино это про реальность, то, что внутри человека, ему недоступно.

Но вот библиотека закрывается, и я еду к подруге Наташе и домой возвращаюсь в два ночи. Я закрылась в раковине, как моллюск.

Мой характер не позволял никому рассказать о том, что я переживала в себе. Ни близким подругам, ни близким родственникам. Мама, как всегда, не жила со мною, да если бы и приехала, никакой близости у нас уже не было.

Я окаменела. И вела себя соответственно. Как-то вечером позвонила однокурсница Галя Ф. и спросила, можно ли сегодня у меня переночевать. Она опоздала на электричку, и добраться до своего поселка нет возможности.

Я, ничуть не колеблясь, ответила «нет», хотя никакой причины отказать не было. Я не хотела, прямо-таки не могла никого видеть.

Такие мои отказы — хоть их немного — повторялись. Как пятна на моей совести они бросаются мне в глаза при каждом воспоминании о тех временах.

Тогда я думала, что все люди — это я. Так же впадают в прострацию, когда никто и ничто не интересно, или пытаешься что-то понять, не понимая, что же ты хочешь понять. Напряженно работаешь ни над чем. Так и ходила по улицам выключенная, едва не попадая под машины. Мелькали мысли о самоубийстве, но в момент наибольшего запáда, выйдя утром из дома, неожиданно становилась бешено счастливой, ощутив, как прекрасен ветер. Растворялась в воздухе. Или в вагоне метро долго, неотступно смотрела в пол и вдруг становилась этим полом.

Совсем не фигурально. Я действительно была пыльным, заплеванным полом с закатившейся бутылкой под сиденьем. Чем уж так особо отличаюсь я от этого богом забытого существа? Разве что большей подвижностью. Можно, конечно, сказать, что понимала про него самое важное, его, например, усталость, но лучше не говорить, потому что «понимать» не совсем то слово. (Какая усталость у пола — смешно, ты в женскую хрень залетела.)

Кажется, тогда пришло мне в голову, что «понимаешь» в любом смысле только то, чему являешься подобным. В этом принципиально непреодолимая граница познания. Поэтому в космосе мы можем поставить задачу только о малой его части.

Прошло долгих четыре года. В те времена, если в метро мерещилось лицо того человека, я, как заяц, неслась подальше от этого места. И сердце от страха билось, как у того зайца…

Длинные одинокие тропы в чахлых зарослях моего разума вели в темный лес подсознания. Первый поэтический плен — «Демон» Лермонтова.

Лермонтов, как это у него выходит, не знаю, пишет про себя, но всем читателям, булавкой пришпиленным к своим личным несчастьям, именно это в самый раз, не оторваться. Ни содержанию, ни магии стиха я не подчинялась, но выбраться из плена не могла и не хотела. «Мцыри» — выход к яркой зелени предгорий, это про меня.

Единственная калитка в жизнь — альпинизм. Горы — это и есть настоящее ничуть не меньше, чем что-нибудь другое.

Последний альплагерь

Человечество, как казалось, не стоит того, чтоб к нему приближаться, но другого-то ничего нет, ни математики, ни книг, всё исчезло в черной дыре. Моя тропа вела в душный, чужой, незнакомый мир людей. А где можно этот мир увидеть сверху, со стороны? В горах.

Лечь спать в полной амуниции, даже с карабином на груди и в триконях, чтобы в два встать и идти на вершину, иначе таяние льда, и велика опасность схода лавины. Если бы мы, все двадцать человек, разделись, то не смогли бы в полной темноте собрать палатки, одеться и выйти на восхождение так, чтобы больше сюда не возвращаться.

Кому как, а для меня кульминация — не момент на вершине, а сам подъем в связке, ощущение правды того, что ты делаешь на высоте четырех тысяч метров. Каждый шаг, каждый выступ скалы, каждый лед не похож на другие уступы, другие зацепы, другие ледники — ничто в горах неповторимо. И спуск вниз с чувством, что настоящее осталось позади, что оно было и, значит, никогда не может исчезнуть.

Альпинизм, конечно, придуман для сближения с человечеством, но мехматская гордыня изживалась с трудом. И вот, несколько раз съездив в лагерь, я наконец сделала третий разряд.

На третьем разряде я и споткнулась. Вот чем окончились мои альпинистские успехи.

Это произошло всего-навсего за полтора года до экспедиции.

Покупаю за 6.50 путевку в альплагерь Талгар и отправляюсь сначала вдоль гор на лагерной машине, потом вверх пешком.

На следующий день после уроков скалолазания мы вышли на лед. Я попала в связку с парнем из Караганды, килограммов на тридцать тяжелее меня. Когда он вышел на всю веревку вверх, я стояла, вбив, как положено, ледовый крюк, по привычке нисколько не доверяя его прочности, — ну что там я могу вбить, — и рассеянно глядела по сторонам. А карагандинец, сорвавшись, подлетал уже на мой уровень высоты. По правилам я должна была выбрать всю веревку, а я продолжаю держать, как держала, в правой руке веревку, перекинутую через плечо. Напарник скользит мимо меня, и до подножия ледника еще необозримая высота. И тут меня со страшной силой бросает вверх, и движенье прекращается. Товарищ по несчастью висит на веревке на тридцать метров ниже меня. Крюк выдержал нас двоих.

Мои черные очки разбиты, чудом глаз оказался цел, хотя я этого пока не знаю, глаз залит кровью. Мне приказано спускаться в лагерь, я, не чувствуя никакой боли, перелетаю через трещины, преодолеваю чистый лед, не поскользнувшись, и только в лагере началась боль в плече, день и ночь глотала анальгин, когда боль становилась непереносимой.

Не я одна оказалась травмированной после ледовых занятий. Начальник отряда, великий режиссер Большого театра, отменив дни отдыха, привел наш отряд к массовому травматизму.

В одну комнату поместили всех неудачников. Рядом с дверью лежал обезножевший парень, совсем юный: он оступился при возвращении с занятий и сильно то ли потянул, то ли сломал ногу. Около меня девушка, она на скальных занятиях потянула руку.

Кто-то мечтал подняться и участвовать в восхождении, я же решила — домой. С плечевым суставом долго сражалась, по правде, рука неполноценна до сих пор.

Вертер надолго

Всё началось в том же году. Мне почти тридцать, и я нашла близкого, родного человека. Открылась ему полностью — так что же не так? Я переполнена восторгом, я готова ради него выпрыгнуть с любого этажа. Да кто

же к этому не готов? Все готовы. А вот попробуй не отходить от него, если обиделась, попробуй проглотить дурное предчувствие и как ни в чем не бывало снова войти в «море любви».

Не тут-то было, потрепанные ГП заставляют вести себя не так, как раньше, но снова принять неверную тактику. Я отползаю в темный уголок, начинаю медленно загнивать — физически сначала, потом вырождаться морально. Это ли не депрессия? Возможно, но скорее страдания молодого Вертера, он как проснулся во мне, так и не спал десять лет.

Ну-ка попробуй объясниться сама с собой.

Мы учились в одной группе с первого курса. Влюбленность — это не про меня до двадцати с лишним лет.

В первый же день, когда наша 104-я собралась в аудитории, мы устроили маленький театр знакомств. Каждый должен был встать лицом к ребятам и рассказать о себе всё, что захочется. Запомнились скорее не слова, а выражение лиц и одежда — чаще школьная форма, у него серый школьный форменный китель, у моей Наташи коричневое в складку платьице из формы. И главное, конечно, стиль рассказа. У одного петушиный, у Наташи очень серьезный, у В. (назовем его Ваней, правильно, тем самым: «сидит Ваня на диване») стеснительный и ломкий.

Через два месяца, седьмого ноября, мы устроили костюмированный бал у Томы Заикиной. Я нарядилась в белую кофту, и мама нашла бабушкину широкую понёву. Но всех перещеголял наш неформальный лидер, бессменный предводитель Боря Гужев. За столом он сидел рядом со мной в плавках, изображая первобытного человека: пряди мочалки, элегантно покачиваясь, украшали единственную часть его одежды.

В. пил только кефир, запасенный специально для него. Но даже выпендрежем это назвать никому не приходило в голову, все любили всех.

Вино пили, но умеренно, и умеренно отплясывали. Это начало знакомства.

Постепенно из месяца в месяц, из года в год пляски вроде чарльстона по часу на выживание, буги-вуги и рока под джазовую любую рифмовку с хриплым солистом становились всё отчаянней: девочки подлетали к потолку или на каблуках, почти лежа на спине, катились у ребят между ногами. Сказать по правде, такая музыка (тара-ра-ра-рара-тата-татата) и сейчас заставляет приплясывать. Доходило до выходов на карниз дома, всё обошлось, хотя в другой группе в такой же компании кто-то сорвался и погиб. Вино, конечно, ящиками приносил Боря, он признавал только киндзмараули и хванчкару.

Вот первое мизерное приключение с Ваней, влетевшее в душу, чтобы там остаться.

Выходила через проходную зоны «Б», жуя булку. Навстречу шел он, и я предложила ему куснуть, он ответил: «Неужели у меня такой голодный вид?» Оба рассмеялись и разошлись. Проанализировав свою излишнюю теплоту, я решила, «кругом чужие студенты, а он свой».

Продолжим о завязи. Второе «происшествие».

Мы учимся на последнем курсе. Четверо из группы и пять человек из других групп собрались у него в квартире на Смоленском бульваре, сели в поезд и поехали в Карпаты.

Так и запомнилась его маленькая квартирка, а там: мама, папа, сестры и толпа наших с лыжами. Всё это вместе — противоположность тому, как жила я, формально с бабушкой, а на самом деле — одна в двухкомнатной квартире, да еще далеко от Москвы: в степных просторах Измайлова.

Но пока еще ничего не произошло.

После нескольких дней скитаний в Воловце (это станция, окруженная снежными громадами) мы взобрались на вершину горы, и здесь группа солдат-срочников разрешила нам у них остановиться. Это была точка военной связи, заснеженная станция. Выделили нам просторную железную коробку с небольшим числом приборов.

Днем мы вставали на лыжи. Катались — это сильное преувеличение. У двоих из нас были горные лыжи, они и еще трое смелых в вихре снега улетали вниз, а мы не уезжали никуда. Мы чуть-чуть проскребались горизонтально, падали и до конца светового дня выкапывали палки, лыжи и другие детали, свои и друг друга. Снег тут больше похож на воду, в нем можно было исчезнуть не только лыже или палке, но, пожалуй, и человеку. После возвращения в наш металлический ящик с жарко натопленной печкой начинался ремонт сломанных лыж. Особенно ценились пустые банки из-под сгущенки, наши мастера выпрямляли боковую поверхность, и получалась латка на лыжу.

Девочки готовили ужин, и наконец наступало свободное время. Все желающие после двенадцати укладывались спать, но подобралась компания ребят-преферансистов. Далеко за полночь продолжались вопли счастья или запредельного горя, сотрясавшие всё вокруг.

И вот однажды я, видимо чересчур неласково, выговорила мальчикам: не даете, мол, спать. В ту же секунду в двух сантиметрах от моего уха пролетел тяжелый горнолыжный ботинок. Это был его первый в жизни мне подарок, чуть не снесший голову.

События на грани

Я могу тысячу раз говорить, что это любовь с первого взгляда, но после окончания МГУ мы уже не ходили в походы, общие встречи радовали редко. И однажды, придя к нему в гости, где меня приветствовали четырехлетний сын и жена, с которой мы сидели на втором курсе за одной партой, я и он вдруг придумали любовное приключение.

Почему-то жена не была нашей полностью: на первом курсе её еще не было, но дело не в этом. Она, дочь профессора математики с именем, ощущала нас всех как мелкокалиберную шваль. Но дело не в этом. Дело во мне.

После первой нашей встречи, то есть после первых поцелуев на улице, он сразу всё объявил жене. На девять первомайских дней мы вдвоем уехали с палаткой в Крым.

Тем временем события у него в семье шли должным образом.

И вот после первой встречи уже после Крыма, когда я увидела, что он скрывает от жены, что мы видимся, начала искать выход.

Я была в ясном сознании, когда предложила ему вдвоем уйти из жизни, раз мы не можем быть вместе. Он твердо сказал: «нет», и я погрузилась в серое понимание: «он не любит», потом в лиловую воду безысходности.

В трехдневной дырке в расписании экзаменов уехала в Кемь.

Приехала 21 июня, а навигация только с 22-го.

Люди ходят в мрачных, почти зимних пальто. На деревьях только намек на почки. Гостиница на берегу реки и чайки, оглушительно кричащие мне, что всё будет хуже, еще хуже и еще хуже. Двенадцать ночи. Выхожу на берег реки Кемь. Здесь не мост, а плавающая по воде дорога на другой берег. Иду по ней. Такого я никогда не видела, от центрального понтона тропа плывет налево, в сторону моря, метров через десять такая же направо, прохожу направо. Иду, иду, и вдруг вода. Ни тропы, ни дороги. Только назад.

Вхожу в гостиницу. Чайки-гадалки продолжают работу.

На следующий день плыву на судне. Море темное, взлохмаченное и ветер. Я как приклеенная стою наверху, и ветер пытается меня сдуть в море. Один раз причалили к скалистому острову-маяку. И опять тот же ветер и такое же море.

Наконец Соловки. В монастыре меня поселили в комнату с тремя девушками. Примерно час дня, и румяная крепкая девушка предлагает ночное путешествие на лодке по каналам. Я, ни минуты не колеблясь, соглашаюсь.

Часов в одиннадцать вечера мы на лодке отплываем по каналу. Люда, моя спутница, выросла на Ладоге и управляется с лодкой почти без меня. Я только изредка отталкиваюсь веслом от подступившей земли.

Вечерние сумерки, и два берега смыкают над нами кроны невысоких деревьев. Выплываем в большое озеро, высаживаемся у подножья высокого холма. Растительность буйная, уже не мертвая, а с намеком на зелень, мы продираемся сквозь кусты на холм.

Наверху увидели море и над ним, как оцепеневшее, висит красное солнце. Спускаемся, и тут нас атакуют огромные стрекозы. Охранники? Видно, подниматься-то нельзя было. Нет, они не пикируют на нас, но с вертолетным шумом в гробовой тишине вьются над головой круг за кругом. После этой атаки обратный путь запомнился как мистическое приключение.

Полоска воды под лодкой всё уже и уже, а кроны гуще и гуще. Черная сеть отраженных ветвей вот-вот поднимется, и нам не выплыть. Заблудились? Плывем по другому каналу? Только спокойствие моей спутницы не дает мне выйти из себя.

И вдруг перед нами могучий Соловецкий монастырь под лучами нового дня зажигается оранжевым светом.

Путешествие окончено. В полдень уплываю на материк. Вот что осталось от этого приключения:

Воде оставь свое отраженье,
облаку прожитый год.
Белую горькую ночь отчужденья
перехожу вброд.
Облако ляжет на воду,
тронется тина со дна.
Будет тянуться годы
та неживая весна.

Потом уехала на все лето —— оторваться от Москвы, вроде как отказываясь от него, эти часы не забудешь: боль яркой вспышкой пыталась меня вернуть. Чтобы сладить с ней, села писать ему письмо на вокзале. Отправила до востребования на условленную почту, потому что его в начале лета забрали служить в армию.

Осенью одна встреча, потом письмо, где он от меня отказывается. Пришло смятение. Не отчаяние, нет. Кругом всё продолжалось, как раньше, — я продолжаться не хотела. Решила выпрыгнуть из окна с пятого этажа.

Под балконом росла трава, обошла дом, выбрала место.

Купила бутылку вина. Сидела, ждала ночи, отхлебывая из бутылки. Открыла шкаф, захотела найти желтую кофту. Перебираю вещи то ниже, то выше, а плечом каждый раз слегка задеваю дверцу шкафа. Она издает какие-то звуки.

И тут до меня доходит: дверца скрипит и блеет, как большое стадо овец, — тенор перебивается басом, следом вступает сочный баритон. Отошла от шкафа оглушенная: слух сам для себя продолжает концерт баранов.

Села снова ждать в желтой кофте. Напряжение как будто ослабло. Отхлебнула еще.

Наконец всё стихло, заснула улица.

Решила, пора. И в это время в доме раздался звук набата, по лестнице с криком побежали люди. Поняла, что где-то что-то прорвало, где-то кого-то затопило, долбят в батарею. Трагическое намерение сбилось с пути.

Моё самоубийство не состоялось. Думаю, помогла бутылка: пьяное отчаяние бездеятельно. Но главное, овцы отвлекли.

На следующее утро в метро я чувствовала, что меня, прежней, нет, я теперь другая, сама себе странная. Но после перехода в автобус возникла

насмешка над собой, поняла, что имею право делать всё, что захочется. Например, не ехать на работу, щелкнуть кого-нибудь по носу, лучше не кого-нибудь, а начальника. А могу и поехать на работу, кругом будут знакомые люди, я буду им вроде как улыбаться. Но прежней меня нет.

Вот так овцы изменили судьбу, и через пару месяцев я ушла от своих студентов и уехала работать в астрономическую обсерваторию на Тянь-Шане, к незнакомым людям и спасительным баранам. Чтобы кончить анализ случившегося: я открылась, я полюбила, он стал мне самым близким человеком, но тело моё не желало в этом участвовать, оно мне не подчинялось. Тело продолжало воспринимать физическую близость как наказанье. Это продолжалось до встречи с Игорем, — наши отношения просто привели меня в норму. Но это из другой жизни.

Объяснилась? Отнюдь. Перенести событие на бумагу еще сложнее, чем на слова в голове. Но анализировать дальше западло. Я — княжна, брошенная в воду. Я — Кунигунда из Ганы. Я джинтай — последний житель Джомолунгмы.

Сон через тридцать лет

Он пришел ко мне в гости. Пили чай, он сидел боком, часто поворачиваясь ко мне и улыбаясь. Объяснил, что беды мои вовсе не беды. Вот у него была беда: он влюбился в девочку на три года старше, и однажды на катке, когда он подъехал к ней, она взяла его в охапку и с силой посадила на лед. «Вот беда, так беда», — завершил свой рассказ и сделал смешную трагическую гримасу.

В это время я попросила его передать мне сахар. Он вскочил, сделал прыжок и, схватив сахар, поднес его двумя руками.

Ужин окончен. Он вышел на кухню помыть посуду, оставив свое ласковое лицо у меня в глазах. Я отправляюсь на балкон. Передо мной в темном закатном свете на фоне густой зелени больших деревьев высокая, выше третьего этажа, кирпичная стена необыкновенной красоты.

Мне захотелось, чтобы он был рядом, касался меня, и я сказала бы ему то, что он так часто говорил мне: «Смотри, как красиво».

Проснулась и услышала тяжелый металлический скрежет идущего вверх лифта за стеной. Он вздыхал от старости, сетуя на нелюбовь монтажников, отдавших новый лифт своему начальнику и наспех собравших его из старых, ржавых железок. Без любви даже умереть невозможно.

Что, это всё правда? То, что тогда было, — уникально, потому что никогда больше не будет. Оно притягивает, оно интригует. Кажется, немного сосредоточься, и ты там. Но попадаешь всегда в другое место. Что изменилось? Всё.

Высокогорье (*продолжение*). И солнца чернеют осколки

Вот этот день. Апрель. Тянь-Шань. Как я выскользнула из этой вонючей, скользкой, двусмысленной Москвы…

В эти апрельские дни жизнь проходила в тумане. Снег и вода, невесомость, невидимость, свет. Свет, как молочный коктейль, одинаков с любой стороны. Это солнце, не в силах пробиться, заставляет светиться туман. А если пробилось, только взглянула, на яркое жмурясь, как вдруг потемнело — метель. После метели бесцветно-прозрачные крокусы из мокрого снега еле видны. Кажется — мертвые, но пары часов не пройдет, увидишь их снова, лиловых, живых.

Первые дни не забудешь. Если солнца не будет, туман по-другому туманит. То приникнет к открытым глазам, и к лицу, и к одежде — так что ничего не видно, лишь запах цветочный; то, как ветхая ткань, туман разорвется, и в память вплывет черный призрак стены в воде неподвижной. Или банька

на камень влепилась, и бочка желтая, баньки подружка, следом на колесах недвижных проедет.

Я живу в крайнем доме. Если наверх по трассе пойдешь, когда чуть прояснится, увидишь внизу террасу, несколько мелких коробок-домишек на ней, и весь этот крошечный остров как будто мираж, оптический фокус средь серых реальных камней. Живы ли те, кто живут здесь?

Но я живу в крайнем доме. Тут высота, и привычное — вдруг незнакомо. Конечно, не город. Может быть, дух деревенский? Отнюдь. Там листья, деревья. Там пахнет навозом, дровами, дымами, и травы за травы, встревая, растравят растущую мощь опьяненья.

Здесь нет опьяненья, здесь трезвость. Тоже трава, но другая. Жизнь заставляет её поскупиться на лист и на запах. Запахнешь, частицу себя подарив, а зачем? Пчел и другого народца не будет, а будет мороз по ночам. Силы копить и копить. Не погибнуть, на это, что было, отдали.

В разное время разные прелести радовать могут. То облако, то синий цветок. И лишь тишина — полней не бывает. Она оглушительней ветра, страшнее зверей, и слух с непривычки своё продолжает гундосить, чтоб только убить тишину.

И воздух, и гор гробовое молчанье — привыкнешь, тревожит запах, которого нет. Здесь не пахнет почти ничего никогда. А то, что запахнет, едва появившись хоть в кухне, уйдёт, как след человека в пургу. Про это ты можешь забыть, не заметить, но странность, как счастье, имеет привычку застрять в плоти твоей, в дальнейшую жизнь прорастая.

Космос? Почти. А мы? Мы — земляне и скажем себе, что жить хорошо. Что нам здесь приятно и внятно любое касанье и солнца, и ветра, и неба веселой воды.

Ведь в городе что? Там природа в осколках и острой зазубриной может тебе повредить.

Дерево. Да, дерево. Два дерева, да, ещё лучше. Но им, двум, десяти, двадцати, не под силу обнять, приголубить дитя своё. Они могут только напомнить, что есть или были осень, лето, зима — не в обрывках, а целым гигантским созданьем, целой ступенью общего счастья.

Без этого мы, горожане, тоже разбиты на рыхлые щепки, занозы, куски.

Девушки наши

— Нет. Ты представь, не проснулась еще: кто-то ходит. Шуршит, не стесняясь, бумагой, старается в сумку попасть.

— Да ты что?

— Я испугалась. Кричу «кыш», никакого ответа. Так же, блин, шуршит и шуршит.

— Я б запустила хоть чем.

— В кого? Я ж не вижу. Может, ворона.

— Где здесь вороны, ты что?

— Испугалась. Чуть поднялась на локтях.

— И что?

— Белки. Деловые. Обследуют всё. Пакет разорвали.

— Значит, в палатке дыра.

— Ты слушай. Конечно, дыра, да мне-то что толку? Как рыжих бестий прогнать?

— Рыжая бестия, так тебя твой Сашка зовет. Ученый.

— Гад он, ученый.

— Ты что?

— Ничего. Обещал: разойдусь, разведусь. А я опять залетела.

— А он?

— Гад. Ты лучше про белок послушай.

— А что?

— Да то. Убила я белку-заразу. Железку здоровую мой положил в головах — наверно, стащил. Схватила ее и по ним.

— И что?

— Заверещали, побежали, как бабы из бани, если хлещет один кипяток, а этот, бельчонок, лежит. И кровь.

— Что теперь делать?

— Выбросила, что делать.

— Нет, тебе-то что делать?

— Да что я, маленькая? В первый раз?

— Ой, Людка, дела.

— Да, ты языком смотри не трепи. Если кто здесь узнает, я на тебя все повешу, поняла?

— Да брось, что же мы, не подружки? Ты хоть и крутая, а глупая, Людка. Сказать секрет?

— Ну.

— Замуж иду. Заявленье подали.

— Ух ты. Почему ж я такая? Вот че-ерт.

— Приглашаю, через три недели.

— Ты подумай. Вот девка счастливая. Наверно, в Москву уедешь теперь.

— Ну?

— Уедешь, я здесь буду одна.

— Что делать с тобой. Дура ты, Людка. В марте гуляли, тебе девятнадцатый стукнул?

— Сказанула. Девятнадцать исполнилось.

— Всё равно. Не надо рожать, жизнь искалечишь себе и ребенку, но и залетать-то зачем? Что ж ты такая у нас...

— Не тебе чета. Ты у нас деловая.

На этих же днях поднимаюсь от озера к нам. Слышу, Миша, Зоин жених, просигналил. Остановил. Подвезу, говорит. Села. Хохотнул и мимо дороги вверх почти вертикально. Машина ползет, как беременная, переваливаясь с боку на бок. Камни стучат по дну, кузов вот-вот сорвется. Машина-старушка едва жениха переносит, не сдюжит, развалится, кажется, прямо сейчас. А Мише смешно. И что же? Хохочем вдвоем. Длинный срезав язык и подпрыгнув два раза, наконец на дорогу попали, ура. Подъезжаем. Зоя-невеста не бросится Мише на шею, как завидит его. Издали ручкою пухлой махнет, вот жених и растает. Может, счастливою будет.

Но. Но всё, что ты знаешь, для местности данной не нужно, в ближних поселках девушки наши живут и законы свои соблюдают.

Ах, ах, что бы такое рассказать, чтобы скрыть правду. Да, незадолго до экспедиции мое сердце остановилось, подумало и пошло в другую сторону. В прежние времена сказали бы, что оно разбилось.

Из разбитого сердца выходят все шлаки, названье которым «любовь». Да, освобожденье пришло. Но слово «свобода» в свободе значений погрязло. То может быть этим, а после не этим, а тем. Моя же свобода уже утонула в душе. Душа тяжелеет, а дух всё свободней и тише.

Да кто малахольного больше в свободе живет? Только жмурик. Малахольный локтями-когтями не будет сражаться за пайку. Дела нет малахольному, кто там и в чем виноват.

Насельникам местным свобода моя оказалась не всем по зубам. Раздражались.

Но вернемся ко мне. Что же было? Было, не было. Было со мной.

С ним, сейчас уж не знаю. А со мной — крушение, разрушение, ворошение. Именно в такой последовательности. Ворошение — моя жизнь в экспедиции.

Ну, во-первых, какой он? Он — почти как Христос. Любящий всех, прощающий всех. А Христос может жить среди нас? В том-то и дело. Это и

было причиной моего несчастья, да и счастья тоже. Я боялась за него. Мне казалось, что его жизнь в опасности, что его разум не выдержит не то что разлуки со мной, а вообще без меня. Он и я — один человек. Без меня он только полчеловека, и его полразума не в силах справиться с этой постоянной агрессией среды.

Вдруг я с ужасом вижу, что его распинают. Уже вбиты два гвоздя в руки. Он дергается от боли, бледнеет, пот бежит по щекам, струится по груди.

Но вот он вскидывает голову и поет тонким, срывающимся голосом:

Ничего, ничего, ничего,
Пусть считают меня за бревно,
В мой последний час вспоминай о нас
Давным-давно.

Вот и вспомнила. Больше не могу.

Но. Но всё, что ты знаешь, для местности данной не нужно, в ближних поселках девушки наши живут и законы свои соблюдают.

Роза, мать Петеньки

Малыш, которого я первым заметила, когда приехала в экспедицию, сын поварихи Розы, единственный ребенок среди взрослых.

Познакомимся быстро. Пятилетнему Пете не хватает общенья, ко всякому новому человеку, особенно к девушкам, он прилипал намертво: скучно же одному копать в снегу или в июне в песке, а как надоедает целыми днями кататься на машинке с кошкой Настькой, безучастно восседающей между его животом и баранкой руля.

Со мной малыш не церемонился, считая своей сверстницей. Когда ему сказали, что Наташа и его мама одногодки, он спросил меня:

— Да, одногодки, но ты же младше?

Да, мы с Розой одногодки и живем дверь в дверь. Только судьбы разные.

Роза полюбит, Роза любила, Роза не будет любить. Все три состоянья, как точки на линии жизни. Всё, что приходит, от линии этой идет и в ней исчезает. Ось времени — это любовь. Она же — оплот постоянства, надежности, веры в счастливый исход. Мера и плата за все — любовь и расплата — отсутствие оной. Просто-таки нет ни начала, ни даже конца.

Опять неудача. Уехал. Забыл.

Манную кашу на завтрак уже наварила. Наказала Людмиле, как разложить по тарелкам, сколько кому. Ушла из трактира домой.

Петя еще не проснулся. Тоже легла. Закрыла глаза. Не думается. Не спится. Тошно смотреть на обшарпанные обои. Тошно думать без толку привычные мысли. Пете в школу, надо отсюда уехать. Но куда? Брат Иосиф в прошлом году объявился. Сам отыскал. Детство его прошло совсем близко от ее детдома. Зачем их разлучили? Чтоб по-немецки забыли? Она-то никогда и не знала. Родители исчезли, когда ей не исполнилось и года. Куда же все-таки ехать? Вот в Алма-Арасане раньше работала… там, конечно, людей много, а что толку. Не хочется в Алма-Ате оставаться. Всё обрыдло. И Петенька не видел сверстников уже три года. Совсем большой. Он себя считает таким же взрослым, как все вокруг. Если б не он, вспорхнула бы, улетела. Здесь всё — отвращенье. Бабы — бог с ними, а мужики и не мужики вовсе. Ни бабы, ни мужики. Так, — манная каша. Нет, вот единственный, с кем можно хоть просто за жизнь подгрести, это Валька. Валька — трахнутый пыльным мешком, приехал на звезды смотреть. Если б подружкам из Братска сказала, вот бы смеху, никто б не поверил. Или подумали, с крышей мужик набекрень. Но Валька ей сочувствует. Валька Петю на вечер берет и уложит придет, если она загуляет. Кроме Вальки, никого бы и не видеть. Никакого терпенья смотреть на эти шерстяные шапочки, идиотские, вязаные. Мучают ее эти

шапки, руки чешутся шапку на пол схватить. И хочется в степь, на свободу. В Поволжье всё было не так. Ты что, хочешь к мужу, от которого сбежала? Хочешь, чтоб немкой дразнил, чтоб сына ударил за то, что фашист? Всё что угодно, только не это.

Петенька встал незаметно и вышел. Минут через десять за дверью топ-топ частенько, маленький, сын. Тащит кашу в тарелке. Мамка болеет, решил. Стыдно. Встаю.

Роза девушка нежная, мать, а свет отвратительно резок.

Сказка про чёрного бычка

Пропал бычок, как мама, черен,
И черных сил невпроворот.
Убит? Замучен? Иль заморен?
Кто тот сугубый обормот?

Черный бычок был убит, об этом утром в одиннадцать, — то есть сел он в машину в 9, как только рабочее время пошло, — сообщил следователь. Сообщил он завхозу Вадиму Серафимычу с глазу на глаз. Сразу об этом ужасные слухи полезли. Что, мол, разумеется, физкультурник Семенов убил и насытился. Обжора Семенов ни ухом ни рылом не слышал, не ведал, не знал. У спортсмена Семенова — алиби. Неделю он в отпуске был. Но вовсе не думал никто, что отпуск Семенов в долине трудился, болел, отдыхал. Метрах в трехстах от приюта домик в скалах построил спортсмен. В домике много народу всегда веселилось. Они-то и съели. Семенов убил, думал каждый тихонько. Не то — менты. Тихого Валю назначили быть виноватым. На тихого Валю повесили штраф. Все сочувствовали, никто не встревал. Семенов, недаром физкультурник, может в месте глухом и напасть. Лучше подальше.

И тут Роза. Роза сказала, что видела сумку мяса большую в руках у Семенова прошлый четверг.

Снова мент на разведку приехал. Снова длинный писал протокол. И что же? Мистика. Тайна. Облом. Семенов мяса чужого не ел, не варил, не носил. Всё мясо его. Купил и носил. Каждый право имеет мясо в сумке носить, тем более кушать.

Валю добрые люди подвигли протест написать. Не ел, мол, не видел бычка ни в глаза, ни в кастрюле. Долго протест путешествовал в недрах юстиции мудрой. Вердикт однозначен: Валя телятину ел, он убивец.

Много еще про страдальца бычка можно писать, и писать, и писать. Но бычка-то и нет. Значит — сказка.

***

Валя, как Роза, давно в свою жизнь не влюбленный. Валя, как Роза, три года уж, как разведен.

— Однажды в студеную зимнюю пору я из дому вышел.

— Был сильный мороз.

— Нет, Роза, нет. Мороз ни при чем. Были звезды. Они почему-то не стояли на месте, а переливались. Одна выкинет луч, тут же спрячет, другая мигнет и уставится прямо в глаза.

— Ты даешь.

— После, денег скопив, линзы купил, посчитал расстоянье, и вот они — звезды.

— Ну, и глядел бы.

— Да на чердак жена за мной следом примчалась, схватила, разбила, не хочет, чтоб мне хорошо.

— И что, из-за линзы развод?

— Ну, не совсем из-за линзы.
— А, так бы и говорил.
— Я так и сказал.
— А что дальше?
— Жизнь линзой скатилась под стол, как сказал поэт.
— Не... Ты человек, каких поискать.
— Под столом?
— Под столом, там пьяницам место. А ты непьющий. Нет, правда, ты — лучше других.
— Это правда. Лучше, хуже, но другой. Я, Роза, не люблю дурость.
— А кто ж ее любит?
— Да все любят. Только по дурости и живут, по законам ее… Ты заметила, я никого не осуждаю, но не люблю дурости. Дурость, дурь эта — ведь только допусти, она тебя в себя, как в ковер, закатает, и носа не высунешь.
— Это как?
— Дурость — сорняк, пока человек маленький, и дурость у него маленькая. Как у Петьки. Петька вообще без глупостей. У дочери моей гораздо их больше.
— Петенька мой, правда. Люблю.
— А растет человек, и дурость его с ним растет. Раньше люди от нее верою спасались. У меня деды в старой вере и жили, и умерли. А я вот уже без веры. Вот на звезды и направился. Хоть и не полная, а вера. Думаю, звезды поумней нас будут.
— А я в Петеньку верю.
— Нет, если ты будешь с Петьки пылинки сдувать, то он испортится и всё твое хорошее испоганит. Хотя ты только во сне обмираешь о сыне, а наяву я что-то не наблюдаю. Держись, Роза. Он у тебя и без глупостей, потому как ты ему свою дурь не отдаешь.
— Я — дурь?
— Ну да.
— Ну знаешь.
— Обиделась.
— Да пошел ты.
— Обиделась.
— Да пошел ты.
— Ну, пошел, ну что?
— Не лезь ко мне… Я таких, как ты…
— Обиделась.
— Звезды ему. Дури ему не надо, подавай ему звезды. Звездочет хренов.
— Обиделась.
— У тебя другие слова есть?
— Обиделась. Ладно уж, мотай давай к сыну. Того и гляди проснется один и побежит опять мамку искать.

***

Прожив год в экспедиции, я уехала зимой, а через год летом вернулась посмотреть, как они живут. Почти все вышли меня встречать, истопник Лёша сурово произнес: «Ты, Наташа, сильно похужела».

Петенька начал карабкаться на меня, как на дерево, и спросил, гордясь, что мы теперь на равных: «Я в первый класс пойду, а ты в какой?» Я ответила, что в самый, самый, самый последний. Петенька с недоверием на меня посмотрел.

Больше после того лета я не видела Петю, но от мамы Розы приходило письмо: «Мы с Петей едем в Набережные Челны. Посылаю тебе лотерейный билет, если он выиграет, пришли до востребования».

Билет не выиграл.

И вот последнее воспоминание о Петеньке.

Весной чуть повыше, там, где дорога, вильнув, поднялась над домами, в первых числах мая иду покататься на лыжах.

За гору солнце едва опустилось, и майская каша морозом схватилась, я надела лыжи и оттолкнулась. В тот месяц Петя со мной не хотел разлучаться совсем и теперь проводил и остался у камня. Думала, холод, он быстро домой убежит, и я вниз понеслась.

Так-то легко, вот вверх — тяжело, чуть наступишь, наст провалился, а выбраться — силы нужны. Два часа выбиралась. Не знала, что Петя, одетый так, чтобы бегать на солнце, к тому же в резиновых сапожках на босу ногу, всё это время, стоя на снегу, будет меня ждать. Почти и стемнело. Смотрю, он стоит. Волосы ярко белеют, остальное — синее с синим слилось. Голос почти потерял. Ладошки — сосульки. Еле оттерла. Скорее домой. Петенька — рыцарь, единственный друг настоящий.

Рабочий день

Итак, новый месяц. Начинается в четверг, кончается в пятницу. Всего один день, хороший месяц, быстрый.

Завтрак прошел незаметно, слава богам. Дома ни капли воды. Сходила к бане с бидоном. Бочка пуста. В столовой Роза сказала, не знает, нет у нее на запас ничего, мол, Миша утром еще обещал.

Чем это Миша так занят? Не может съездить, всего-то ехать десять минут вниз, там минут двадцать, пятнадцать с осторожностью вверх.

А зачем нам вода, спросим себя? Пить кофе, чтоб после в койку залечь до обеда, но книга не стоит того. Можно к Диане сходить, наверняка угостит если не кофе, так чаем. Нет, будет долго и страстно о случаях в жизни своей ли, чужой распевать. Все-таки дело прежде всего, попьем кофе в лаборатории.

Вот я пришла на работу. Это дом напротив трактира, чтоб работник к обеду успел. Впрочем, дома друг от друга так близко — и всего-то их три, от любого к любому почти так же мало идти. К тому же, где «корпус рабочий», если не знаешь, просто так не поймешь. Все — избушки.

Ступенька. Дверь туговата, руками обеими тянешь — и ты в темноте. Это тамбур. После двери второй свернула направо, кофе запахло и чем-то еще. Здесь — материальная часть всех научных исканий.

Электронное сердце бьется лучше, когда алкоголь в сосудах мужей-электронщиков наших. Коля с Артуром — тандем замечательных пьяниц. Да и как не дружить, если винища любого, наверное, баррель выпит, и проект существует выпить еще. Я всегда завидовала пьяницам: теплые они люди, приняли и, чуть тепленькие, породнились. Бескорыстная дружба мужская не миф, не легенда, но тайный орден братьев по жажде. Женщин в ордене нет и не будет все равно, если женщина пьет.

Дернув дверь и увидев их лица, свой изъян я готова забыть. Вторник сегодня, все выпито, мрак.

В безысходности полной, полнее на свете и нет, — накаляют паяльники разом при виде меня. Молчат, настороженным взглядом Артур что-то тайное Коле сказал. Мне в орден нельзя, я знаю.

А в комнате благостным ладаном веет. Разноцветье крошек цилиндров усатеньких, пыль, проводочки, громоздких приборов засилье — всё, кажется, ждет окончанья поста.

Кофе, хоть слабое средство, вскипает. Коля колбу поднимет, варежкой старой ее прихватив, на три граненых стакана по чуточке всем разольет. Губы сожгу, но глотну. Пьем без сахара, соли, изысков прочих буржуйских. «Деньги лишние в дело» — девиз, тоже тайный, но и чужому — понятный. Что-то я говорю, что-то мне отвечают, но все помыслы братьев не здесь.

Мне пора на работу, вышла, намолчавшись с друзьями довольно. Слева — сердце научных исканий — длинная комната, три окна на восток, точ-

нее, на баню, столы друг за другом, как в школе, стулья за ними, а напротив большие шкафы. Что в них? Звездочетов талмуды-таблицы, старых журналов астропривет. Физики чистой немного, фантастики больше, толстых томов футуристов, где футурум, естественно, в дальнее прошлое врос.

Странно, но только в комнате этой пахло жильем.

Люди, когда-то сидевшие здесь, и подолгу, след оставили — запах, и, смешанный с пылью книг, и шкафов, и разных отчетов бумажных, этот запах уют создавал, подобье жилья.

Не то в наших кельях, где каждый один обитал. Горный воздух чужих не пускает.

Что еще здесь приятно: можно работать под Баха, хотя и Стравинский, как стимул, кому-то хорош. Я не умею работать и слушать. Для музыки можно хоть ночью сюда заглянуть.

Пол-одиннадцатого, и я сижу в лаборатории, передо мной Пикельнер, учебник астрофизики. Пока не одолею десять страниц, не встану.

В лаборатории за Пикельнером бедным самое скучное время стекало с меня, как вода, — бесследно. Но однажды наткнулась на шкаф, где за папками прятались книжки живые. Прежних насельников чтиво. Разные были там книги, вплоть до стихов, больше же рухлядь.

Диана сказала: «Ну, Наташ, на мусор польстилась, брось скорей, он заразный. Разве не можешь полезных занятий найти. Нитки можно купить на базаре, свяжи себе шарф».

Одиннадцать. Пока не дочитаю вторую страницу, не встану.

Полдвенадцатого. Сколько можно, вон солнце какое. И я убегаю.

Из моего крайнего дома, куда я зашла, чтобы сменить легкие ботинки на тяжелые, мимо никаких окон, притворно мертвых, не надо шагать.

Дорога прямой стрелой стометровой уходит, налево вильнув, на общий заезженный тракт. «Заезженный» сказано лихо, если в день три машины пройдут наверх да две спустятся, уже перебор. Такое бывает по пятницам, ну, еще в понедельник.

Вот трасса чуть выше, чем наши домишки, полезла на гору. Под ногами мягкий оттаявший щебень, лед и вода. Быстро вязкое место пройду, и снизу глазу всяких зевак — недоступна, экспедиции видеть больше не буду.

Под ногами чавкает только на солнце, а в тени прямо асфальт. Длинный прогон, всюду темный, в распадок внедрился горы. Пора бы присесть, но где? Влево и вправо не ступишь, все вязко, и круто, и мокро. На камень ближний, почти придорожный? Этот не то, и другой не подходит. Вариантов немного. Похоже, камни сверху валились и дальше со временем съедут. Не так-то легко подобрать. Тот живой — сползает, чуть тронешь ногой, а этот как ледяной, невозможно больше минуты сидеть. На солнце устраиваюсь наконец, и всё исчезает.

То, что со мной происходило в Москве, стопроцентно нереально. Где она, Москва? Есть ли она на белом свете? Конечно, есть, но не для меня. Там, где у меня была Москва, где был у меня ты, в этом месте во мне что-то странное. Это место сделалось сакральным. Полностью нереальное, оно тем не менее не дает реальности обреальниться. Оно, а вернее он, а еще вернее, всё, что осталось у меня от всех событий последнего года, переживаний и дальнейших прожевываний, распространяет свое действие на все мои поступки. Затягивает меня внутрь себя, всю меня остальную. Это как черная дыра в космосе. Если продолжить аналогию, то космос должен быть благодарен черным своим дырам за то, что они не допускают в будущем худшего. Всё плохое уже случилось, вот она, черная дыра, и она — к лучшему.

Возникший порог моего сознания не пропускает в меня ни хорошего, ни плохого. Он, грубо говоря, не дает мне меняться, как гранитный памятник тебе и мне, прежним, памятник внутри меня такой большой, что ни влево, ни вправо, ни вперед, только назад в прошлое. Нет, памятник — это черес-

чур. Уж лучше черная дыра. Одним словом, я вырастила в своем «я» такое сакральное место, что живу и не распадаюсь только за его счет.

Скорее всего, это религия, мною созданная, ежеминутно во мне происходящая. Я живу, имея ее внутри не сознания, нет, внутри себя чисто физически. Я и не знала, что я человек глубоко религиозный.

Ладно, раз так, будем держаться за эту наработанную реальность. Мне с нею спокойно, мне с нею не то что легко, но жизнь полна, и другой не надо. Одним словом, хорошо.

Усыхающее пространство моей любви окружено влажной солнечной весной. Весна, проникая в душу, наполняет жизнью его образ, примерно как кровь оживляет вурдалака, но, увы, я не могу вспомнить лицо. Оно исчезло. Пустынное пространство воспоминаний выращивает мое о нем представление, оно, как прежде, сухо и не живо, и я не забочусь больше ни о каких представлениях. Я осознаю, что моя любовь — это я и не я. Настолько не я, чтоб мне помогать, настолько я, чтоб мне мешать. Всё было бы прекрасно, если б не было так тяжко. Но непреодолимость — это моё личное свойство, моя ДНК, мое обмирание.

Хватит. Пора на обед. Вниз бежать еще веселей, чем вверх подниматься. Две совсем разные дороги. Вверх — мокрая, вязкая, и даже мысль может остановить, вниз — просто движенье, подсчет поворотов. Мелькание белого, черного, снега, камней. И наших домишек сиротский приют выбегает навстречу.

Что там на обед? Новенький? Здорово. Разве из наших кто-нибудь может живое сказать.

Новенький

Что за прелесть наша кухня солнечным деньком. Избушка на камне, как шашлык на вертеле под елкой высокой. Роза в гонг на обед прогремит, и первыми белки по елке поскачут. Вниз, вниз серпантином, на пень. Там уже выложено угощенье, утренней каши кусок, и семечек кто-то насыпал.

Вхожу и слепну от темно-лилового света темноты. Это привычное солнце исчезло, поскольку в южной стене нет окна. Вид из другого окошка — камни, будто камнями пытались «Трактиръ» завалить.

Справа, как входишь, стол полированный, светлый, на черных железных ногах. На столе телефон, один на все ученое и не очень ученое население. По левую руку вешалка, куртку туда. Два ряда столов, тех же черноногих красавцев, за вешалкой следом.

Ну, хорошо. Самое время товарищам честь оказать, за стол усадить.

За дальним столом на месте, всегда неизменном, наш верный Артур. Всегда молчаливый, а скажет, так шепотом, кажется. Тихий — не слово. Что, потаенный? Не знаю. Скорей, упоенный. Просто не хочет ни с кем ни о чем говорить. Но мне, и не только мне, вовсе не хочется ближе к нему подходить. Темен. И слово любое любого, чуть к слуху его подберется, тотчас исчезнет, как камень, любовно озером скрытый навечно. Аминь.

Что пьяница он — не сразу осмыслишь. Лишь по легкой нетвердости ног.

Довольно Артуру вниманья. И другие сидят за столом.

Кто еще? Астроном по фамилии Шаров. Наш главный ученый, завхоз по призванью, ходок.

Не огромный, не столп, а скорее кубышка. Но могучесть с психической силой, пожалуй, можно сравнить, — крутенек, впрямь сибиряк. Ну, а как подругому, если ты поселился в горах. Дом его в долине соседней, прибегает оттуда пешком. Там жена, кажется, дети, может, кто-то еще?

Шар, естественно, знает всегда, что он хочет. Шар знает всегда, что каждый из нас, в свою очередь, должен хотеть. Если же очередь вышла, ты должен уже не хотеть то, что очередь хочет. Одним словом — хозяйственник крепкий.

Но Шар — это что! Многих других мне б хотелось украсить, приклеить, вписать. Но времени нет. Ведь рабочий день ожидает.

Вот он, новенький. Лицом ко входу, спиной к кухне. Не нравится. Слишком мужик, я люблю женственных, тонких и добрых. Христос, если по правде, никак не мужик.

Первое впечатление от человека самое верное. То, что ты видишь сначала, ничем не прикрыто, не затуманено, не завешено словами. Потом будешь думать другое — не верь.

Я здороваюсь со всеми, на него нахально глядя. В последний момент дрогнула, взгляд соскользнул.

После обеда, известное дело, тянет общаться, рассказывать, слушать, любить. Любить собеседника, солнце и солнечных бликов игру на стене, потолке, на лице.

Лирика, брысь. Вот он, момент. Рабочий день не кончился, Пикельнер под мышкой, и марш на рабочее место.

Ну, вот. Он — зовут его Женей — тут. Слово за слово, договорились завтра с утра побежать на вершину. Самую близкую, простую, а главное, без снега. А рабочий день? С божьей помощью. После ужина сразу друг обретенный спать отвалил. (Боже, ну и слог.)

Наутро пошли.

Почти уж когда поднялись на вершину горы-развалюхи, начался хребет, ползущий медленно вверх и усеянный маленькими, как снизу казалось, камушками, жандармы им имя. Здесь, наверху, они были как трехэтажные башни, то толще, то тоньше. Жандармы тянулись один за другим. Справа — не круто, но камни большие, идти — не пройдешь. Слева — отвесный обрыв бесконечный. Что друг мой исчез, я поняла, когда полочка выскочила перед глазами. Небольшая, шириною в ступню, длиною шагов пять, но слева стена, а справа обрыв, обойти этот каменный палец нельзя. Друга не видно нигде. Возвращаться? Пройдено много, и дальше полегче пойдет. К левой вечности левым плечом прикоснусь и забуду, как полочку я одолела, незаметно так из вечности вышла в опять.

Друг мой здоров и силен, скорее всего, полочку видит шоссейной дорогой иль вовсе как-то иначе прошел.

Женя (не совсем ведь) ждал меня метрах в ста ниже. Не совсем, значит. Другой мог бы прийти без меня, а в приюте сказать: затерялась.

Часа три обходили гору вокруг, чтобы вернуться.

В четыре, после обеда и в бане помывшись холодной водой, в том же казенном доме рабочий день продолжала. Тот самый рабочий день, что вчера начинался, сегодня над Пикельнером бедным слипались глаза.

Встреча университетских товарищей

— Шар, наливай.

— Не много ли будет? Ты ведь товарищ равнинный. Не забывайся, здесь высота, Женя, не то что в нашей высотке, не 13-15. Да и мы не те.

— Ну, только не ты. Ты все такой же, непьющий к тому же.

— Здесь по-другому нельзя.

— Ну, будем. За встречу.

— Ладно. За встречу.

— Да, уж здесь-то как раз. Непьющих я сроду не видел. Пардон. Кроме тебя.

— Придумки. Что, Диана, что ль, с мужем?

— Ну, эти всегда вне игры. А новая как?

— Про Наташку? Пьет ли она? Хуже. Курит, как боцман. Мы поначалу влюбились как будто в нее. Каждый вечер я принесу, у Артура чего-нибудь будет, Валька откажет винца. Сидели, пытали ее, что да как там, в Москве,

там, во храме. Храм, говорит, весь на месте, и даже звезда и астроначальство. Очень она… беспричинна. Мало что знает и знать не желает про нас. Вещица в себе. А так ничего. Может, я сурово сужу, у меня точка зрения суровая.

— Да, я слышал в Москве. Что-то с женой?

— Правильно слышал. Вот, старик, такие дела, закрываешь глаза, а там столб черный, вертикальный. Ни влево, ни вправо. Стоит столб, стоит жизнь моя. Летел, летел и сел. Может, вообще всё.

— Что всё? Ты меня пугаешь.

— Заразная это болезнь — шизофрения. Встанет столбом: ни влево, ни вправо. Нет, ну конечно, человек, пока жив, он во времени, он меняется. Но шизофрения — это другое время. Оно столб. Ни влево, ни вправо. А под столбом человек раздавленный корчится.

— И давно это? Да я ж ее помню. Сразу после твоей свадьбы приезжал. Как все это?..

— Теперь даже вспомнить трудно, как все начиналось. Кажется, это было утром. Просыпается она, — я уже оделся на работу, — просыпается она и говорит: «Ты знаешь, Норвегия нам крысу в дом привела жить. Крысу саму я не видела, а крысята совсем маленькие, с мой ноготь, голенькие и ходят на задних лапах».

— Приснилось, с кем не бывает.

— Я говорю, это ты так все помнишь из сна? «Ну да, отвечает, Норвегия это сделала». Я похихикал. Хороша, говорю, Норвегия. Думал, она тоже шутит. Неделю меня не было. Приезжаю в пятницу, пока дела переделал, все ничего вроде, а ночью она мне и говорит: «Эти маленькие так у нас и остались». Какие маленькие, спрашиваю. «Крысята, я ж тебе говорила. Только на крысят они не похожи, потому что не растут». Ты, говорю, что, в своем уме, кто не растет? А она ничего не отвечает, только плачет.

— Ну, лечить, конечно.

— Я не понял тогда. Думал, пройдет. Перестала мне о них рассказывать, только вечерами дико иногда так на пол взглянет и ко мне подбежит. Я стараюсь ее успокоить, правда, раза два стукнул. И не помню, сколько времени прошло, как однажды она с пола будто что подняла, села на стул и покачивается, как ребенка укачивает. Пришлось к психиатру идти. А он ей лекарства. А она пить не хочет. Положил в больницу, полгода лежала, сейчас дома.

— Одна?

— Соседка заходит. Я ей плачу по чуть-чуть.

— Да, проблем у тебя выше крыши.

— Тоска. Тощей тоски. Только держись. В таком я виде, что, кажется, чуть-чуть еще, и сам пойду в психушку. Ну, а второе, это столб черный, вертикальный. Как с ним бороться? Чтобы держаться, мне надо выкладываться физически. А эти цуцики разве поймут? Артур со своей мировой скорбью как с писаной торбой. Коля-заяц, обиженным он, кажется, родился. Власть, закон, начальство, жена — все созданы только для того, чтоб обидеть бедного зайца. Валька-блаженный. Вся жизнь ему с гуся вода. Им бы всем хоть сотую долю моих трудностей. Посидели б с Олей часов пять, посмотрел бы я на них.

— Да, тебе не до науки.

— Какое. Стою я на месте. И место какое страшное. А жизнь уходит. Уходит жизнь. А про новенькую планы были. Видишь ли, человек, любой, где б ни жил, что б ни делал, всегда жив своими близкими. И сам при этом должен в жертву себя приносить, близким своим, значит. А у неё всё не так. По-моему, ей этого просто не дано. На вид вроде нормальная, и лицо кажется надежным. В этом доверительном интервале можно работать, но… Осечка. По сути, пустота. Доверили ей телескоп, а она что — три дня работает, три недели отдыхает. Сидит у себя в комнате, как мышь. Чем занимается? Сначала я думал, что у неё с этим обормотом любовь, проверил, нет, ничего подобного. Пустота. А я себе навоображал, что всё ей и про Олю, и про

экспедицию расскажу. Она всё поймёт. Поймёт, это ведь главное. Мне ведь что нужно? Поддержка. Я ведь один. Один хочу экспедицию вывести из затухания. Один за всех. Воровство завхоза надо прекратить? Надо. Потом организовать пользование машинами по справедливости, потом нанимать в городе людей надёжных, а не шушеру всякую. Я бы всё это осилил. Всё бы сумел сделать. Мне только поддержка нужна. Я и так начальником экспедиции себя чувствую. Нет, нет больше людей рядом. Помощников. Начальник из Москвы, он что, приедет — уедет, а я всегда на месте. Для того чтобы его сменить, нужна диссертация. Для диссертации нужен покой в доме. А Наташка, она же здоровая. Мы бы с ней. М-м-м.

— Сочувствую. Значит, не то она.

— Ну, ладно, развеселись, отвлекись. Вниз съезжу, надо сайгака на рынке купить. Запеку, с собою кусок наверх подниму, вот и веселье, вина-то небось ты с собою привез.

— Ну.

Новенький — итог

Итак, жизнь оживилась, и время быстрее пошло.

День за днем то по речке Медвежьей засохшей спускались, то вдоль озера вверх уходили гулять.

Да, с Женей в сравненье все люди у нас для меня не свои. Он москвич, как и я, а больше здесь нет из Москвы. Вырасти в столице, значит, получить клеймо особого отношения к жизни, определенную дозу цинизма, романтизма и барской детской избалованности. Все обитатели нашего приюта, с точки зрения москвичей, простодушны, грубы, необразованны. Все москвичи, с точки зрения провинциалов, двуличны, развращены, заносчивы, неуязвимы, потому что бездушны, — в общем, русского в них ничего не осталось.

Прошла неделя. Подошел срок ему уезжать. Теперь он казался мне почти другом, почти своим. Предложил вечером проводы сделать, чтоб только вдвоем, у меня.

Приходит. Вот, говорит, я пришел. Подбородком вперед, и улыбка больше на гримасу обиды похожа. Твердый рот, лишь с намеком на губы, набок пошел, скривился, кривые означив мечты. Сели, глядим оба в сторону. В разную.

Слово за слово, я разнюнилась от долгого пребывания в безмосковском пространстве, от выпитого вина, от близости этой мужественной взрослости и интеллекта. Что-то говорю, как бы ему доверяясь. Случай из жизни какой-то, где я белугой реву. Он оценил, что не слабость, а что-то другое в реве моем проявилось.

Ладно. Книги пошли в обсужденье. Тут он больше лирик, чем я: Паустовского любит. Ладно. Прижались, поцеловались — чужой. Рассказал, что фригидной меня обозначил, когда в опасных местах, как бы страхуя, рукою к груди прикоснулся, я — ни звука, ни шороха не издала.

Майку поднял, к соскам прикоснулся губами. Тут реветь начала. Чужой совершенно. Что ты? Не знаю. Не буду же всё, что в душе, говорить. Невозможно. Как будто реветь перестала. Он вроде расслабился. Секс, говорит, для меня ничего, не заботит. И думать смешно. Секс сам, если нужно, приходит, нельзя допустить, чтоб мешал.

Ладно. Секс твой хреновый. Чужой. Только дотронься, я в голос сейчас зареву. Погладил меня по голове. Встал. «До завтра», — сказал и ушел.

В одиннадцать утром пришел. Никак, говорит, снизу машина не хочет. Я сказала, скорей бы. Он усмехнулся.

Ну, что ж, веру я не меняю и сама не меняюсь так быстро, мне так легче и правильней жить.

Пообедав, вышла на свое место над озером. Весь обед опрокинула в черную пасть между двух острокрылых камней. Этот способ, замена вале-

рьянки, давно мне известен. Действие — универсально. Нервы — канаты. Чувств никаких. Нирвана.

Снизу на следующий день позвонил. Приезжай, мол, машина пойдет. Нет, я сказала. Вот — всё.

Ну, приехал, ну, уехал.

Такого рода отказы с моей стороны случались.

Снизу на следующий день позвонил. Приезжай, мол, машина пойдет. Нет, я сказала. Вот — всё.

Такого рода отказы с моей стороны случались даже в более юном возрасте. А не начать ли мне вспоминать юность. Занятие не хуже остальных.

Женя — мехматский, и это, пожалуй, причина рассказать о моем мехмате. Вспомнить своё начало.

Вспоминая мехмат

Женя… Он, конечно, типичный мехматянин.

Когда-то мы с Лизой Сандраковой носились по Москве, пытаясь найти врачей или лечение для спасения Лены Артемьевой. Так вот, Лиза объявила врачу, что мехмат — это тот же Пушкинский лицей, и мы все повязаны одной ленточкой.

Заняться математикой — уйти из жизни. Чтобы войти в современную математику, даже человеку с талантом надо преодолеть тяжелый и очень, очень трудоёмкий барьер. У Жени и мама, и папа были не просто доктора физматнаук, а математики с именами.

Мы, выпускники мехмата, все или почти все индивидуалисты. Каждый сам себе пуп земли: никакие там физики или поэты в подметки не годятся настоящему математику.

Что Женя всерьез занимался математикой, это очевидно даже из его поведения. То, что он мог забыть меня в горах, — простая забывчивость великого человека.

Не знаю, какого уровня достиг Женя, но, чтобы там ни было, со мной ни в какое сравнение: я никогда серьезно не заклинивалась на настоящей задаче. Достижений у меня, даже с пятеркой по защите диплома, никаких не было. Мехмат давался мне легко, и эта легкость тихо уничтожала во мне математика, если он когда-нибудь был.

В семестре весь наш коллектив 104-204 группы не считал нужным ни тщательно писать лекции, ни дома сесть и разобраться.

Экзамены я готовила, лежа в кровати с ручкой и бумагой в руках. Понимала и запоминала легко, но поверхностно. На экзамене, когда преподаватель задавал более глубокий вопрос, я в конце концов понимала, что от меня требуется, и делала это, получая четверку. После экзамена испытывала восторг от того, что, оказывается, то, что я знала, имело под собой интересное основание. Но буквально на следующий день вместо того, чтобы заинтересоваться тем, что узнала, с головой уходила в наши развлечения.

Забор, горизонт, луна

Весна своей невероятной непохожестью стала временем счастья. Первый месяц всем насельникам нашим хотелось со мной говорить. Днем копошатся, но вот кончается день, нежное солнце в тумане, влажный воздух в дымке. Компания в лёгком опьянении алкоголем и весной собралась, скорей всего, у Артура. Все молоды, красивы, добры, интересны друг другу. Никто не подозревает, что у меня камень на сердце, у Артура за пазухой, а у Шара на шее.

Артур улыбается, Шар философствует, а я… Что делаю я, бог весть, но я счастлива по-настоящему. По-настоящему, понарошку, я просто счастлива. Облетая каждый день эту террасу с маленькими домиками, я смеюсь, сме-

юсь тихо, смеюсь про себя. Как я убежала от разлагающегося трупа своей любви. Слава богу, усопшая любовь не болит. А что с ней? Она лежит где-то далеко-далеко, но ты об этом знаешь. Ты знаешь, что она там, полуживая, когда разговариваешь, смеешься, пьянеешь от счастья видеть всё вокруг…

Расходимся.

Ложусь. Луна, как дворовый бомж в висящих по бокам лохмотьях, внимательно разглядывает меня через окно с трех ночи до пяти. Потом она перестает быть видимой, склонившись к горизонту, но, поднявшись с постели, я вижу, что ее белое светящееся тело всё ещё виднеется в облаках.

Почти совсем светло, серо-светло. Тишина вибрирует в ушах, а горы загадочно чернеют. Через три часа завтрак.

Перевалив через холм за трактиром, стою над соседней долиной. Эта долина — моя. Её, покрытую снегом, именно с этого места увидела впервые в день приезда. Тогда поразила какая-то мертвая сила, казалось, спуститься туда невозможно. Камни ростом вдвое больше меня застыли, будто в полёте, между мной и долиной.

Но сейчас июнь, внизу вместо горной реки сумасшедшей течет голубая река из цветов. Что незабудки, вначале никак не пойму: небесная синь повторяет изгибы долины, бесшумные волны уходят за мыс вдалеке. Огромность реки несравнима с какою-то горною речкой, заполнив от склона до склона не площадь — пахучий объем.

Спущусь, где повыше, над слишком большими камнями. Пройду через запах, сквозь синь проберусь, перейду. И вот я на склоне другом.

Сколько бы я сюда, на хребет, ни поднималась, пропустить невозможно момент, когда наконец наверху. Налево скалистый массив, тот самый, что ночью и днем в окошке меня стережет.

Вниз полоски различных оттенков под линзами дальности разной. Покой. Покой как веселье. Покой погруженья в себя. Лицом прикоснуться к ветра страстному лику. Ему улыбнуться. Верней, улыбнуться себе, что такая крошка, пылинка, а вот забралась и живет.

Тут твердая гладкость хребта начинает снижаться, двоиться, камушки-мушки несутся за мной — я бегу. По правой тропе, потому что налево в ложбине озеро примул. Лиловые крошки точны, словно крошечный чип. На теплой земле растянись, под зонтик соцветий устройся. Сколько их? Наверно, мильон. Тех, что рядом. И каждый цветок — шапочка, в ней собрано много сине-лиловых детей. Дети плотно и стройно стоят, и платочками машут, и, может быть, что-то поют. Я не слышу.

Но что это? Рыжий сурок, к тебе повернувшись спиной, соседу о чем-то кричит. Вот, едва чиркнув взглядом, исчез под землею, как не было.

Возвращаюсь. Иду по камням на своей стороне. По склону, где только что я пробежала, спускаются овцы. Как тесто, недвижно по тропам овечьим текут.

Эй, — мекнула звонко молодая.

Что? — ответил патриарх.

Надое-ело, — из другой цепочки.

Дура, — коротко пожилой баран.

А сам-м? — опять из другого места.

Так, мирно ругаясь, в одном направленье идут. Лишь колокольчик вплетает в громкое блеянье звон.

Восторг кончился к июлю. Овцы съели цветы. Пусто в душе и в теле сонливость и лень. Живу будто в вате, ни звук, ни слова не доходят. Красиво кругом, да. Сурки, да. Игра света. Ну и что? Моя долина сделалась пыльной пустыней. В начале долины: юрты, кошары, костры. Люди, дети, собаки — не так их и много, но овцы сожрали цветы.

Наши юноши

Коля, техник, немного му, но, как выпьет, на подвиг великий готов.

— Наташ, что у тебя с Шаром?

— Ты даешь. Что тебе-то?

— Мне ничего, тебе чего.

— Мне тоже ничего. Чуть-чуть жаль Шара. Он печальный.

— Шар печальный? Печальным Шар не бывает. Знаю каждую строчку в его эпитафии: «Шар не мог оставаться на месте, разве в луночке. В жизни ровных мест не бывает, поэтому Шар и полз то вниз, то вверх, разогнавшись».

— Что ты имеешь против?

— Ничего. Мне он просто смешон. Круглым брюшком, круглой головкой и сверкающим взором на ней.

— Завидуешь. Шар чего-то добиться желает, а ты?

— А мне интересно паять. Нет, а правда, — Коля иссиня-синим блеснул под очками, — стремиться быть таким примитивным?

— Ладно, Коль, примитивным не надо. Просто дробям давай научу. Ну, хоть складывать.

— Мне не надо.

— А жаль.

— Дочь вчера сказала: «ты, папа, плохой».

— Это как?

— Жена научила. Всё у меня идет под откос. С Ларой завернулось так, что пути назад нет.

— Беременна.

— Мгм.

— Ну, Коля, держись.

— Лара хочет развода с женой.

— Что же тут скажешь, ребенок-то твой?

— Кто ж его знает.

***

Июль. День бел и обычен. Обучена здесь ровно с утра в безделье впадать. В гору подняться? Но всё чаще апатия в теле, ногах и мозгах. Унынье? Быть может, теперь бы сказали, в депрессию впала она.

Диана вошла, постучав деликатно. «Я на минуту, — сказала, — друг твой лежит и слова говорит не такие».

— Какие?

— Не отвечает, а что-то буровит своё.

— Спасибо, Диана. Иду.

У Коли я дома впервые, ни разу еще не была. Лежит под убогим рваньем-одеялом. Весь красный, видно, у юноши жар. Лицом к стене отвернулся.

«Коля», — окликнула. Повернулся и на меня посмотрел. Лишь на мгновенье в клетку попавшего зверя я в Коле узнала. Потом взгляд ушел, сделался выше меня, потолка, возможно, и гор. Смотрит — не видит. То ли он из абстракции выбрался, то ли в нее с головою ушел. Стал он людям чужим, и идите вы все, и идите.

— Может, «скорую» вызвать, чтоб вниз увезла?

— Нет, — говорит. — Нет.

— Как бы хуже не стало.

— Не станет. Пройдет, — голосом еле слышным и точно никак не своим.

— Что с тобой? Расскажи.

— Нет. Нет.

Через минуту он впал в забытье. Сижу. Время проходит. Задумалась. Вдруг слышу какое-то слово, вроде «расческа», к чему, никак не пойму. По-

том снова что-то сказал ясным словом, но смыслом — никак. Тряпку смочила, положила на лоб. Перестал говорить. Двадцать часов продолжалось его забытье. Без еды, лишь попьет и опять нас забудет. Мы с Дианой к нему, уходя, приходили не раз, волновались.

Бледный, шатаясь, назавтра уже поднимался. И вечером в город уехал недели на три. Что случилось, так и не сказал, а вернулся, всё как обычно. Коля нежный, как мы, остальные, как все.

И, как все, ленивый. Рвенья к работе у наших сидельцев не видела я никогда. Разве только у Шара.

А уж сама! И говорить не хочется.

Здесь, в экспедиции, я работала на солнечном телескопе.

Это был деревянный длинный сарай, а внутри солнечный свет проходил через несколько дырочек в препятствиях и в конце фиксировался самописцем. Однажды я увидела, что луч выскакивает в сторону и всё изображение уплывает. Решила, что это замыкание, выскочила наружу и сразу, увидев нашего электрика, начала на него ругаться, мол, что же вы губите мою первоклассную работу. Он только усмехнулся, и тут я обратила внимание, что большой луг, где находятся все наши телескопы, как встряхнутый ковер идет волнами. Да это землетрясение. Раскрыла рот и пошла в свой сарай выключить работу.

Нет, я ленива чрезмерно. Только б гулять, да и гулять уже не то. Лужайки — пыль и земля. Юрта стоит в Медвежьем ущелье, а я называла его своим. Да, моя долина, глаза б мои не глядели…

Чтобы сбить напасть унынья, я спущусь в Алма-Ату. При первой же возможности.

В гости ходить кто не любит? Мне повезло. Первый раз именно наша московская соседка привезла меня в свою родительскую квартиру в центре Алма-Аты. Оказалось, что она дочь от первого брака биолога, академика Бориса Ивановича Ильина-Какуева.

И вот Борис Иванович и Анна Борисовна, вторая жена, помогают мне не забыть, что кроме природы есть еще на свете что-то очень хорошее.

Алма-Ата. Семья академика

Однажды, ничего наверху не сказав астрономам, в Хиву я уехала, подлинный посмотреть Туркестан. Вру, конечно. Просто всё надоело и потянуло вдаль. И, действительно, оказалась поездка путешествием в век двенадцатый, так увидела.

Шатаясь между крошечных глиняных домов, забрела за глиняный дувал. Мальчик лет четырнадцати встретил меня. Пригласил к себе. Так я впервые побывала в комнате без крыши, стола и стульев. Пила с ним чай. Никакой еды в доме не было. Они живут не только без крыши и прочего, но и без еды. Зато чувствовала я себя в гостях у мальчика как дома.

Кроме этого были у меня и другие путешествия по Средней Азии. Воспоминания об этом и стали основой моей книги о Чокане Валиханове.

Вернувшись, обнаружила, что там, наверху, меня никто не ищет. Но в Алма-Ате всё по-другому.

Семья академика тут меня привечает. Квартира с верандой большой, застекленной в доме старинном на самом центральном проспекте — чай, не московская клетка — потолок метров пять.

Всем заправляет Анна, супруга. Заправляет? Командует? Нет. Царит — вот точнее.

Я нажимаю кнопку звонка, за дверью высокий голос:

— Анна Ивановна, не открывайте, это ко мне.

В прихожей полумрак. Анна Борисовна скорбно произносит:

— Если б не ваша телеграмма, я бы подняла хивинскую милицию. Телефон уже узнала. Уехать, и никаких вестей, мало ли что может случиться!

Царица, как всегда, элегантна в той высшей степени, когда одежду не замечаешь.

Скромное платье надето на жесткий корсет — так надо. Очень прямая спина и осанка царицы пронзительным взглядам расставленных косо, один далеко от другого, глаз небольших сообщают величье. Ну, не величье, но чувствуешь всё-таки «над», несмотря на маленький рост и совсем уж отсутствие тела.

Ее лицо никогда не было самим собой: то выражало величественную скорбь, то непосредственность забияки ребенка, и, только когда она впадала в гнев, оно приобретало естественность и отчетливо говорило: «да, я злая, злая, но я хочу быть злой и буду, имею, в конце концов, право».

Я не знаю, как оправдаться, ведь я послала телеграмму через два дня после отъезда, а всего отсутствовала четыре дня.

— Простите, Анна Борисовна, я не думала, что это принесет вам столько огорчений.

— Не думала. Хм. А кто же за вас должен думать? Вы уезжаете из моего дома, и, не дай бог, — я виновата. Слава богу, что всё обошлось. Анна Ивановна! Можно подавать обед.

Поворачиваясь ко мне:

— Вы, наверно, страшно проголодались.

— Анна Борисовна, извините, пожалуйста, можно я приму ванну?

— Ах, ну пожалуйста. Анна Ивановна, обед через четверть часа.

Непредвиденный слышен звонок. Я дверь открываю, поскольку отойти далеко не успела. Царственным жестом руки Анна-хозяйка мне представляет: «Это Таня, знакомьтесь. Таня школу окончила в этом году, мечтает филологом стать». Потом Тане меня: «Наталья Хивинская — физик московский».

Книгу протянет царице Танюша и тут же уйдет, обещая завтра зайти на подольше. Живет она тут, по соседству. После с ней будем друзьями, за жизнь говорить, на прогулки ходить. Девочка Таня, если со мною сравнить, совсем городская, очень хочет ученою стать, хоть и трудно, и деньги нужны, и к мальчикам тянет.

Потом мне призналась, что сильно шокировал вид мой тогда. Думала, физик, Москва: что-то чахлое, смолоду в дух воплотившись, кривое, а тут с красным крестьянским лицом здоровая тетка. Увы.

Но что у царицы?

Через четверть часа я, спросив разрешенья, звоню на Кисловодскую, к нашим астрономам. Сижу у телефона в гостиной. Анна-прислуга на опухших ногах вперевалку уж супницу грузную тащит.

Мне всегда неудобно сидеть в то время, когда эта старая, с трудом двигающаяся женщина прислуживает за столом. Но встать и помочь ей — у меня даже в мыслях этого нет. Это было бы бунтом, проявлением неуважения к дому.

Анна Борисовна входит в комнату, я кончаю разговор и тоже сажусь на своё место за обеденным столом.

— Борис Иванович сейчас выйдет, — говорит она и, понизив тон: — Опять спал перед обедом. Говорит, что идет работать, а сам ложится и засыпает или часами перебирает гербарий. Я очень за него переживаю. Он опускается, лучшее его занятие — это чтение. Читает недолго и каждый раз одно и то же, всегда «Евгений Онегин». Иногда начинает всхлипывать, как ребенок.

Слышится скрип дальних дверей, и в гостиную медленно входит Борис Иванович. Увидев меня, он меняет свой путь и, почти не отрывая ног от пола, подходит ко мне, протягивает руку, и на его лице мелькает тень оживления.

— Наташа, здравствуйте, а мы, знаете, уже волнуемся. Вот Анна Борисовна… — Он показывает на нее глазами и тут же их опускает. Голос его хотя и академический, но совсем не такой, как у современных академиков, к тому же академичность относится только к манере строить фразу более экс-

центрично, чем прямая фраза Анны Борисовны. Что касается интонации и тембра, то здесь сквозь старческую немощь отчетливо слышится нежность. Не верится, что эта нежность произошла от старости.

Забыв обо мне, он идет к своему стулу.

И вот все за столом. Белоснежная скатерть, безупречные, ярко сияют тарелки, у каждого по две, одна на другой. Вилки, ложки, ножи по-другому блестят, вроде льдистой реки нашей горной. Но то, от чего трудно взгляд отвести жителю местности скудной, имя зверское носит — «бычье сердце». Малиновый шар с острой гузкой размером с арбуз в центре стола соблазняет. Я, конечно, не схвачу помидора, пока Анна Борисовна не похвалит сорт и не предложит взять. Тогда я беру рукой — будь что будет, может, вилкой еще хуже, — кладу себе на маленькую тарелочку, режу пополам. И от одной половинки отрезаю слезящийся плотный кусок, чуть надкусываю. Повесть о сладости тонкой намека, о твердой, как полдневная тень, остроте, о бережном чувстве друг к другу, твоем с помидором. Просто Пруст, первый том.

Царица из супницы пищу не ест. Ей по заказу: овсянка, кисель и настойка врачующих трав. В сталинских ссылках здоровье утратив, закалила то, что природа в избытке дала: силу духа, волю к победе, одинокую гордость души.

Борис Иванович ест без жадности, но с аппетитом. Академик старше царицы, добротой бесконечною мил, но супруга им недовольна, мало трудится, много, для старого, ест.

После обеда супруг удаляется в свой кабинет. Царица ждет какого-то травяного настоя и говорит мне: «А теперь, Наталья Хивинская, рассказывайте». Много позже тех лет незабвенных пойму: меня удержать ей хотелось, молодость, кажется, силой волшебной душами старцев владеет.

Меня не обманешь, отделавшись несколькими фразами, я без особого труда перехожу на роль слушателя. Люди чаще всего предпочитают слушать себя, Анна Борисовна не исключение. Она может рассказывать часами, и ни разу я не замечала на ее лице признаков усталости. Когда же она слушает меня, она как будто слышит не мои слова, а своё собственное эхо этих слов, хотя нельзя сказать, что она невнимательна, мельчайшие детали и оттенки моих интонаций от нее не ускользали. Ко всему прочему за четыре дня моего отсутствия, по-видимому, у нее не было поводов выговориться.

Приятней всего ей вспоминать про Смольный институт благородных девиц. Однажды рассказала, что среди однокурсниц была такая красавица, что начальство, занимаясь своими делами, сажало ее напротив своего стола, чтобы видеть красивое лицо.

Анна Борисовна если и думала о своей красоте, то очень недолго. Она превосходила многих и многих сокурсниц интеллектом. Конечно, западные языки знали все (полагалось говорить один день только по-немецки, второй по-английски, следующий по-французски, и так все дни), но почему она, получив образование филолога, овладела тюркскими языками?

Окончен Смольный, и в том же, 17-м году кончилась империя. У отца Анны, известного политического деятеля Бориса Никольского, казненного в 19-м, вся семья смята и растоптана революцией. Один сын большевик, второй монархист, оба погибли. О матери и младшем брате может позаботиться только дочь, Анна.

Принадлежность семьи к царской элите сломала ее судьбу. Выйти из категории лишенцев уже почти получилось, в 31-м она была принята на должность старшего палеографа в библиотеке АН СССР. Среди ее работ заслужило похвалу А.В. Луначарского исследование об изображении природы и внешности человека в древнерусских литературных памятниках, но в 34-м, скорее всего по доносу, ее высылают в Алма-Ату. Еще в Ленинграде она начинает перевод книги «Путь Абая». Теперь изучает казахский фольклор и продолжает вместе с Мухтаром Ауэзовым, автором этого огромного произ-

ведения, работу над переводом его романа, но в 37-м опять арест — десять лет лагерей.

В лагере организовала театр, писала для него пьесы, ставила.

В 44-м вместе со многими другими заключенными-«доходягами» из Севурлага ее привезли в Талгар. Она не имеет права прописки даже в Алма-Ате, но Талгар почти пригород Алма-Аты, автобус идет около часа. Начала ездить в столицу.

Мне рассказала, что единственное платье, в котором туда ездила, стирала в реке и на камнях сушила.

Работа над «Абаем» продолжилась.

За перевод эпопеи казахского классика Ауэзова получила членство в Союзе писателей, награды и звания.

Теперь она пользуется среди писателей большой известностью, и я свидетель, как шли к ней за справкой те, кто сочинял историческую прозу.

Её работы талантливого ученого несправедливо почти забыты. Например, как текстолог участвовала в подготовке собрания сочинений Ч. Валиханова, а труд ее жизни, перевод «Абая» М. Ауэзова, переведен на 20 языков и имеет статус классики. Хотя в момент выхода романа обстановка в стране изменилась, но Никольская не обозначена в издании как переводчик и никаких денег за свой колоссальный труд (два тома по 600 страниц) не получила. Категория лишенца не имеет сроков давности. Ни в одном издании до сих пор нет ее имени. Жалоба К. Симонову осталась без ответа. И деньги, и слава достались другому.

Всё это я узнала не от неё, а в энциклопедии «Пушкинского Дома».

Конечно, это непризнание никогда не забывалось, как и сумрак лагерных лет.

Про лагерь обычно не рассказывала. Но сегодня по-другому.

…Снег без солнца. Кое-где желтые острова болотной травы. По бескрайнему полю медленно извивается колонна заключенных. В начале этой черной реки начинается песня «Степь да степь кругом». Ее подхватывают. Она набирает силу. В ней нет угрозы, но мощь выражения чувств такова, что все препятствия, без сомнения, этот поток мог бы смести. В конце колонны тонким, обрывающимся ручейком вливается в пение голос Анны Борисовны…

Окончив этот эпизод, помолчав, говорит о питерских дальних, былинных отсветах прежних времен. В отсветах мало героев: близкая ей Лозинских семья, сам Маяковский, Ахматова тоже сама. Теперь понимаю: двадцать с лишним лет заключения Петербург возвели в нереальность. Память все сохранила в черно-белых смысла узлах, плоти лишенных.

Долго ей вспоминать не под силу. Из тонкого рта узкий язык, как змеиное жало, мелькнув, пропадает. Помолчим. Разойдемся по комнатам. Библиотека — гнездо здесь мое и жилище. Затертый паркет. Высокие окна во двор тенистый, нешумный. Лишь голуби утром, пока до конца не проснешься, воркуя, о Персии дальней, о ближнем Китае мысли-сны навевают: ведь видела, знаешь с первого раза, как здесь появилась, они — иноземцы, южане субтильные в розовых перьях.

Просыпаться приятно, труднее заснуть. На стул забираюсь поближе к окошку. Блаженство, как будто я дома в Москве, как будто мне снова семнадцать и в форточку сладко курю.

Теперь почитаем. Что бы такое-такое. Сокровища Крёза хранятся в шкафах от пола до верха. При жизни Цветаевой выпущен сборник. Вот он стоит. Его я уже возвратила. С собой в экспедицию Пруста «В поисках» хочется взять, том второй. Завтра поднимемся. Или нет, завтра с Таней, пожалуй, знакомиться будем.

Город, улица, дерево, я

Алма-Ата теперь вспоминается как сон. Сон, можно сказать, о потере прямо-таки — богочеловека. Ходила и грезила, давние чувства тревожа. Но город вторгался.

Июль, жара. Люди в полночь выходят гулять. Прохлада с гор опустилась, от асфальта волны тепла.

Фонтан подсветкой мерцает, а улицы тонут в тени. От фонтана к фонтану шагаем к Большому арыку. Таня тоже не хочет словами пугать тишину.

Этот темный, теплый уют — чтобы я ни себя, ни тебя не меняла, чтоб реальность померкла, оставив в покое меня.

Или полдень. Трамвай — параллельно горам, суетливым центральным проспектам по проулкам пустым дребезжит. Дом, колонка под деревом, снова дом деревенский и дерево снова. И, меняясь одно за другим, остается все время таким же: город, улица, дерево, я. Нет конца переменам, ведущим всегда к одному. Я — другая, я — та же. И если чувство к тебе мне изменит, то это лишь повод ему возвратиться.

Все окна опущены, я в вагоне одна. Дом сменяется домом, дерево деревом. Разве это не благодать божья? Разве это не указание, что, кроме любви к тебе, я пуста. Я — не поэт.

Поэт — это тот, кто силы избыток в себе ощущает. Он над людьми — и оттуда, сверху, объясняет им, как они себя чувствуют, что они должны делать, что видеть и что понимать.

Писатель же сидит глубоко под землей, у самых корней деревьев и трав. Оттуда он поглядывает, подслушивает и пописывает.

Девяносто девять процентов писателей пишут то, что никому не нужно. Девяносто девять процентов поэтов пишут то, что кому-нибудь нужно, но никто не хочет закапываться.

То, что напишет поэт, очень кому-то пригодилось бы, но этот кто-то не может воспользоваться, потому что ЭТО то жмет, то велико.

Остановка. Неприметный домишко темным глазом пустым уставился в близкую землю. Люди. Какие-то люди входят в трамвай. А девушка, видно, не хочет. Стоит неподвижно. Смотрит в мою сторону, но мимо меня. Вглядываюсь. Лицо-загадка. Такого лица не встретишь в обычной, коричневой жизни. В славянских чертах проступает китайская милая тихость, серьезная цель, не входящая в наш обиход: магический круг намерений странных, мыслей других и чувств непонятных.

Что могло бы ей радость доставить? А что — тронуть? Рот срисован с чего-то, что в транс заставляло впадать поколенья. Может ли — странно подумать — каша, капуста таким существом поглощаться? Не может оно, существо, такими губами не богохульствовать, а просто что-то дурное сказать. Лепка лица, носа, глаз очертанье — тут слова не подходят. Другое здесь. Избыточный пафос природы? Орудие бога? Но цель? Бог весть. Надо стараться понять. Надо стараться.

Обещаю, обещаю. Потом.

Потом пришло через неделю.

Идем с Таней по центральной площади. Впереди оперный, сзади кинотеатр. Таня неожиданно останавливается: «Здра-а-сте». Бледное лицо розовеет. Левым плечиком дернет-замрет: уже знаю, что Таня смутилась. Оборачиваюсь. «Она» сквозь меня без улыбки глядит. Не может быть. Наверно, от странности рот я открыла. Невозможно.

Что-то произносит юношеский голос. Только теперь вижу ее спутника. «Мы в кино, — весело сообщает он, — спешим». — «Ну-у-у, — тянет Таня, — матушке привет». Это одноклассник, говорит она мне, называя какое-то имя. Они уже исчезли за поворотом. «А она?» — спрашиваю. Таня скептически поджимает губы: не знаю.

И было третье виденье.

К вечеру как-то к нам в экспедицию наша машина пришла. Вместе с завхозом выходит она и спутник, другой, показалось. Впрочем, может быть, тот же.

Оказалось, Коля спутника звал, где-то пили, и — вот.

Поселили приезжих в комнате рядом с моею.

Вместе собрались все наши и двое гостей, что-то пили. Спутник, с богемной претензией мальчик, цитировал чей-то задиристый бред. О бессмысленной нежности жизни. О глупом искусстве, что глупо в агонии бьется, не надо мешать. И вообще не мешаться, иначе раздавит простец. Молчала она, даже голос никто не услышал, лишь спутнику что-то сказала, но тихо совсем, не для нас.

Решили отправиться в «горы». Коля, как человек с мотоциклом, не привыкший к пешим прогулкам, наотрез отказался. Артур, просто член ордена, тоже. Она не пошла, исчезнув мгновенно. Шар, я и спутник отправились в путь.

Спустились в Медвежью долину. Спутник что-то молол, потом перестал. На гору «мою» тихо ползли, и тут стало быстро темнеть.

Зеленой яркой темнотой трава нас окружила, синеглазые цветы уставились в лица и смотрят. Да так, что и взглянуть ужасно. Мы застыли.

Вибрации легкие волны сквозь тело прошли. Тишина. Вниз побежали скорее, скорее в обычность привычек.

Набычившись, спутник остановился и вдруг поймал меня, летящую сверху. Посмеиваясь, прижался всем телом. Мне показалось, что меня обволакивает какая-то цепкая рептилия. В ужасе я вырвалась и помчалась дальше. Шаром катившийся Шар ничего не заметил.

Вернулись, разошлись по комнатам. Дом, как обычно, в полной заснул тишине.

Когда утром пошла умываться, увидела настежь открытую дверь. Гости исчезли.

Что за странное существо эта девушка, или она Лиса Пу Сун Линя? Тогда визит не случаен? Что-то ей надо во мне? И зачем на меня насылала угря?

Хочет, чтоб я изменилась? Чтоб я изменила, поняла наконец все, что в мыслях с тобою связала, — болезнь? И название есть: «МДП» (маниакально-депрессивный психоз). Не выйдет.

Моя любовь в сентябре — улица. То есть улица стала тобою, и сентябрь один на двоих. Ощущение этой, именно этой и никакой другой улицы это вовсе не ощущение, а счастье любви. Сухая земля под ногой, на газонах под жесткой иссохшей травой — тоже счастье любви.

Такой сентябрь бывает раз в жизни, и именно потому, что предмет любви далек, несбыточен, недосягаем, я люблю без запинки, без трудности, и город мне отвечает любовью. Воздух незаметен, вода ненавязчива, горы изредка выглядывают, оставаясь незаметными за кронами деревьев.

Мимо огромного, корою нестарой, старинной, с рисунком глубоким, широким, меня оглядевшего дуба пройду, и вот он — другой. За этим еще, и всё дальше, и дальше. Что вверху, и не видно. Там между ветвями воздух висит золотой, здесь золотистый пожиже. Там кроны сплелись, вспоминая какой-нибудь дальний, ну, семьдесят пятый, а век был какой? Не наш же, а чей?

Шпок — в голову желудь. Привет, XIX век. Удачно попал, хоть целился долго, много уж раз снаряды рвались под ногами, в них время-пространство плотно свернуто в детский пакетик. Жалко, целой рощицы шелест разбился, исчез, не начавшись, ну, в точности так, как обойма живых желудей, во мне созревавших без толку.

Кроме пуль этих жестких, ничто тишину не нарушит.

А кто тишине помешает? Машины? Ну да. Но они в другом измеренье. Где-то там под ногой, под корнями дубов. Здесь — в небе стволы, оттуда

тугие посланья, и иногда, редко-редко, чье-то лицо приплывет и исчезнет, оставив меня безучастной. Это раньше любила в лице незнакомом идею всей жизни его отыскать. Ну, играла, конечно.

Может быть, встречу Лису?

Но нет. Нет даже похожих. Она не исчезла, но видеть ее не дано. А вспомнить лицо так же трудно, как потерянный рай обрести.

Рай или ад, от точки зренья зависит.

Постепенно становлюсь трезвее. Очарование улиц уходит. Горы тоже лишь горы — скалы, склоны, скудные травы.

Но иногда, чем дальше, тем реже, как приход, как блаженство болезни, ощущаю загадочный мир посланьем твоим, тобою и мной увиденным чудом.

Остальное время город внизу — грязный, а жизнь наверху — пустая.

Уж не Лиса ли виновата?

Звездочеты, или Озерные туземцы

Иду за водой, а путь мимо «Трактира». Там форточка чуть приоткрыта, слышу ругань, или так они говорят?

— Диана замужняя, что ей.

Я замедляю шаги.

— Ну и что? Женатая. Ей тяжелей.

— От тяжести пухнет.

— Не злобствуй. Возьми и спроси у нее, что за средства.

— Щас. Злая ты, Зоя. Сама-то небось.

— У Артура спроси, как он с Дианой.

— Отстань. Отвяжись. Тебе б издеваться.

Гром тарелок. Молчанье. Я ухожу. Верить, не верить. Но все, что сказали, не мне назначалось. Значит, правда. И что? Что тебе? Бог с ними. Пусть себе строят. Васю-мужа жалко, а впрочем, может быть, так ему хорошо.

Диана хихикала, честное имя утратив в глазах не моих. Уронила. Что она уронила? Честь? Предположим.

Вот подходит ко мне. Как всегда энергична, но в глазах некоторая доля скепсиса. (Я читаю этот взгляд так: «Ну её. Как маленькая, честное слово. Я её пригласила вчера. И что? Забыла!? Нет, занеслась, вот что. Что с нее взять? Бабочка. Ни разума, ни сердца. Ладно. Лишь бы вреда от нее не было. Ну, она и так ничего не видит. Слон мимо пройдет, не заметит»).

Тем временем Диана, ручку откинув, в чем-то меня убеждала:

— Артур? (Хи-хи-хи.) Самый умный? Не умный, он — мудрый.

— Так ли?

— Так.

— И как?

— Про жену я не знаю.

(И зря.)

— Но пить-то зачем?

— Ната-аша! Мы разве можем сказать, зачем мы делаем то или это?

— Не можем.

— Ну, то-то же. Ждет меня муж. Приходи к девяти. Я простила. Оденься. Тулупчик могу одолжить. Приходи, луну покажу, если небо.

— А если дымка?

— Если неба не будет, соберемся у Артика все.

Неба не будет, ура. Собрались. Вместе мы, новенький командировочный Виталик пришел, приехав неделю назад к нам работать. Вот комната, стены и стол, стулья, кровать. Вместе мы, и гор как не бывало. Нет ни тумана в

окне, ни реки, ни холодного озера взгляда. Нет ничего. Мы как мы. Мы — одни. Пофыркав, Диана, — насморк, наверно, — сказала, что хочет пойти отдохнуть. Шар, ошалев от длиннющих пробежек, — он снизу сегодня поднялся пешком, — водки попив, сделался жарким конем. Пусть без копыт, но ножкой шаркнет на месте, глазом косящим абстрактную даль обведет и скажет: «Други, я глуп... я — нечестен... я счастье свое потерял». И заплачет, конечно, лишь в мыслях. А мы помолчим, поглядим на него, плечами пожмем, конечно, лишь в мыслях. И скажем: «Ну что ты. И так всё в царствии нашем спокойно. Воруют умеренно, пьют незаметно, поют. Поют по ночам, естественно, днем на работе не пьют, не работают, даже, похоже, не спят».

Шар: Ну, это, положим, кто как.

Валя: Положим. Как кто?

Шар: Как самым последним бомжам, нам приходится туго. И цели, и цацки — всё всмятку, и выхода нет.

Валя: Ну, скажешь.

Шар: Неужто не ясно. Я — прав.

Валя: Да ладно, что тебе не по нраву?

Шар: Да всё. Где у нас достиженья? Где научного дела полет? Да просто всё валится, всё в негодность стремится. И с каждой минутой всё ближе фиаско любви.

Василий *(муж Дианы. В сторону*): Фиаско уж тут. (Как бы себе.) Мда. Это дело средней глупости. (*Обращаясь к Шару.*) Выход есть.

Валя: Ну-ну.

Шар (обращаясь к Васе, немного обидевшись): Ты же знаешь, жена в психушке полгода как. (*Пауза.*) Хорошо. А где справедливость? Конь наш железный кому достается порой? А... Понял, да? А народ в ничтожество впал — не бунтует, пешком, если надо, бежит, на коня не надеясь. Да, знаешь, и харч, да, и харч он ворует.

Постепенно расходятся. Разговаривают трое. Василий сидит молча рядом с дверью. Я помалкиваю.

Виталик: Кто он?

Шар: Кто. Да все тот же. Серафимович.

Виталик: Так нужно смотреть.

Шар: Кому это «нужно»?

Виталик: Конечно, тебе.

Шар: Мне? Мне некогда, да и нет полномочий… А с бычком. Ну, позор. Валя, Валя, барашек ты наш жертвенный. Александров, житель туристского рая на 200 метров ниже нашего ада, беднягу бычка поймал, сожрал, а на тебя повесили. Тебе что, охота в безденежье вечно? Сколько в месяц от зарплаты?

Валя (*качает головой*): Да много. А что делать?

Шар: Что! Серафимовича вон, и тебя в серафимскую должность назначить.

Валя: Прожектёр. Гуманоид. В утопию влипнешь.

Шар: А ты в топком болоте увязнешь. Конечно, это у кого как. У меня, например, так. Первыми уходят имена. Слова еще держатся, но из последних сил.

Виталик: Деменуэнция.

Ш а р (*отмахиваясь*): Наверно. Надо спешить, иначе всё, что ты прожил, всё пока ещё сногсшибательно интересное превратится в хрустящую пыль на зубах.

Виталик (*подхватывая тему*): Близкие и знакомые будут только таращить на тебя глаза и не скажут ни слова. Одним словом, вся твоя жизнь, как кошачий хвост, облысеет и сделается неприглядной.

Вася: Хвостатые глупости твои — фигня. Когда учились, был хвостатым, таким и остался. То, что там, в воздухе, носится, в просторах степных растворяясь, здесь, в капле, виднее. Гляди, без выдумок. Некуда деться от горстки своих. Всё известно, что будет, что было, что есть… Поняли?

Шар: Неа.

Шар, про себя ругнувшись, уходит. Валя следом за ним. В комнате остаются Артур, я и два астронома-однокурсника, Виталик и Василий. Мне в этом разговоре просто нет места. Я слушаю.

Виталик: Видели вы летающих муравьев? Я расскажу. Большие муравьи организуют себе маленькие крылышки и летают. Крылья у них не всегда, а только в определенный период их жизни, то ли в пубертатный, то ли в предсмертный.

Василий: Ты что, по муравьям соскучился?

Виталик: Наверно. И еще по другой животине. Вот послушай, я жене написал.

Василий: Командировочные обычно писем не пишут.

Виталик: Это почему?

Василий: Некогда им, да и живут они здесь недолго.

Виталик: Знаешь, чего не хватает вам, постоянным жителям?

Василий (*улыбаясь*): Нам?

Виталик: Помнишь в Библии про людей ни горячих, ни холодных. Чувство отсутствия чувств — вот заноза. Это не печально, не весело — никак. Вот и живем в никак. (Василий пожимает плечами.) В пустоту приплывает вражда. (*Пауза.*) Да я, может, письмо и не отправлю. Как здесь отправишь?

Вася: Просто. Вышел из дома со своей бумажкой, руку поднял и выпустил бумажку, если никому у нас не понадобится, то обязательно долетит.

Виталик: Не издевайся… Я про муравьев.

Вася: Загнул ты про Библию. Хотя… Все люди врут, но каждый по-своему. Один врет упоенно, так что сам не замечает, где ложь, где правда. Второй вообще никогда не сталкивался с правдой, он живет в придуманном мире. (*Пауза.*) Вот наш Артур, посмотри на него…

Артур: Язык показать? Или животик?

Вася: …мужик грубый и в своем праве, кажется, зачем ему врать. Ан нет, он врет так искусно, что веришь ему на сто процентов, — артист. (*Артур гордо выпрямляется, но тут же снова уходит в себя.*) Два полюса, артист — зануда. Общее у них то, что они не понимают, что врут. Первый считает, что он красиво говорит и по-другому нельзя. Второй говорит одно и то же так долго, что сам не узнает того, что говорит. (*Пауза.*)

Виталик: Да, так вот про муравьев. Про летающих. Возьмем людей. Они бывают умными тоже не всегда, а в определенные периоды. Думаю, это с крыльями связано.

Вася: Про людей лучше не говори.

Виталик: Так и все млекопитающие так же. Бегемот наверняка тоже летает, только один-два дня за всю жизнь. Полетает и снова в теплую лужу, согрелся и забыл, что летал.

Вася (*чуть-чуть завелся*): А у людей по-другому?

Виталик: У нас, у людей, крылья по графику. Зачешется спина, почешешь, забудешь. А крылья уже готовы, но не всякий сообразит, что уже можно лететь. Сидит, чешется, а когда подарок дойдет до сознанья, крылья уже пересохли и никуда не годятся.

Вася: Сиди в своей кровати и лицо поумней сделай.

Виталик: С крыльями это просто, а вот бывает, сидит на стекле букашка, ты её хлоп — и нет ее. Ни на стекле, ни на окне, ни на полу, ни живой, ни мертвой. Никаких следов. Очевидно, перешла она в другое состояние. То ли стала феноменом, то ли трансценденталом. Одним словом, теперь она невидима.

Вася: Транс…Транц.. Так что, ты себя считаешь видимым? Мечтаешь, чтоб комары кусались? Ну, хоть какая-нибудь букашка прожужжала. (*Неожиданно серьезно.*) Тишина гробовая действует.

Виталик: И не говори. Я всего неделю, хоть и второй раз, а как ты третий год?

Вася: Да так, с умным лицом.

Виталик: Слушайте музыку. У Баха — бог. Сублимация — никакой воды, слез, жалоб, откровенного смеха, как и заносчивости, ехидства, зависти.

Вася: Ну, сказанул. У меня работы невпроворот, а ты Бах. Вот дома с женой повертишься, тогда я тебя спрошу, как у тебя с Бахом. А как, правда, у тебя в Москве?

Виталик: Поздно. Пойдем спать.

Вдвоем уходят, продолжая разговор.

Виталик: Всё плохое вплоть до непереносимого я не даю никому видеть, а утаскиваю вглубь себя и там начинаю грызть.

Вася: Значит, вздохнуть свободно приехал.

Виталик: Вроде того.

Вася: Вообще ты не вовремя приехал. Жизнь приходит, если у нас сундуки. Так их прозвали, потому что в первый раз они привозили много ящиков с аппаратурой. Они из ящика, ну, секретного.

Виталик: Тогда минус, у меня допуска нет, я с командой не пересекусь. (*Пауза.*) Только тебе. Я тут девушку в городе видел. Мне кажется, я бы жизнь за нее отдал.

Вася: Ну, брат, — это кино какое-то. А жена как же?

Виталик (*возмущенно*): При чем здесь жена?

Вася: Прости. Приснилась она тебе.

Виталик: Да нет. Не приснилась. Ну, давай прощаться.

Вася кивает. Расходятся.

Утром. Лаборатория алконавтов

— Ты, Коль, правильно сделал, что вчера не пришел. Ничего не потерял. Хренотень. Но слушай, что после. К часу все разошлись, а эта никак не уходит. Муж, ротозей, зашел на минуту.

— Красавец и сажень косая в плечах под дублёнкою лётной, прям-таки летчик.

— И не говори. Ну, про этого что. От железок очнулся, телескоп починил и пришел. Слушай дальше. Диана ушла, а эта сидит. Шар смотался, Валька смылся, а эта сидит. Новенький болтун говорил, говорил. Наконец вместе с Васей ушли. А эта сидит. Что ей нужно? Сидела. Сидела. И вдруг. «Как ко мне ты...» Не помню чего. Любишь, не любишь. Смотришь, не видишь иль так, уважая, блюдешь… Говорю по слогам: «Я тебя ненавижу. У меня будем спать иль к тебе?» Дура губки надула, напыжилась, личико пятнами всё, и молчит. Я тоже. Паузу долго держал. Черт его знает, что так получилось, я от себя и не ждал. Но зато отомстил. За Диану, за мужа ее, за себя. Будет думать в дальнейшем, как в обществе надо вести.

— Хм. Не пойму, неужели всерьез ты ей мстить собирался? Шутишь?

— Может, шучу, но ведь стоит того.

— Ты не сможешь. Она же не дура. Ну, пошутит сама.

— Пошутит? Нет, не шутила. Умная? Ну. А что толку? Без пола она, это хуже, чем с мордою страшной. Хочешь, тебе погадаю про жизнь этой… ладно. Довел ее ум, а дальше до безобразия и никакого разнообразия. Идеи, на них она спит и лелеет, без них проснется, и — смерть. Идеи всё тверже становятся, жестче. Да что! Говорить с нею будет, как камни таскать. Людей вокруг никого, разве что кошки.

— Ну, Артур, ты сегодня философ.

— Какой на… философ.

— Не ругайся. Мы ж с тобой интеллигенты.

— Интеллигенты… Мы интеллигенты. Вот потому и жизнь наша — бардак. Слушай. Сначала понравилась мне.

— М-м...

— Ну, в первые дни. А она? Чем на людей, на Настьку скорее внимательно взглянет.

— Да кошек она тоже не любит.

— Вот, вот. Я о чем? Ты меня слушаешь или себя?

— Говори, говори.

— А тут оказия вышла. Ну, я про этот случай. Теперь стоп-машина, в мою сторону и не глядит. Вот и ладушки. Я-то тебя как орешек щелк, всю насквозь понимаю.

— Хвастун.

— Не хвастун, а опытный. Добавим?

— Наливай. Да опыт-то отрицательный.

— Сам ты отрицательный. Ты про развод, что ль, мой?

— Ну да.

— А я не рассказывал, как у нас все вышло? Нет? Ну, слушай, раз уж я философ. Поссорились мы как-то, а она в мой остервенелый момент возьми и засмейся. Да нет, пожалуй, не так. Все равно как приходишь домой, еле на ногах держишься, а кошка, вместо того чтоб молнией выскочить из-под ног, вылупилась на тебя и смеется… Ну, и я… сам понимаешь. Ты что, спишь?

— Говори, говори, я не сплю.

— Ну и бросила она меня, моя. Как я ее ни упрашивал, как ни унижался, плакал даже, нет и нет. На нет и суда нет. Думаю, вернулась бы она и меня сжила бы со свету. Теперь я хозяин сам себе. Хочу, пью, хочу, не пью. Одним словом, свободен, хоть второй раз и женился. Здесь тоже хорошо, на этой гребаной высоте 3000 метров. Единственно хорошо, от второй моей далеко. Гнусность.

— Согласен. Только в прошлый раз ты про развод по-другому говорил.

— Ну да?

— Да. Ты был интеллигентом в прошлый раз.

— Да ладно. Я тебе вот что скажу. Любое освобождение оборачивается освобождением от жизни. Маленькое освобождение — немного от жизни оторвался. И ты… чем больше твоя свобода, тем больше ты мертвяк.

— Нет, ну про что ты?

— Да про всё. Пойми ты.

— Я не дорос.

— Хотя какая разница. Эта дыра, та дыра. Что там, внизу, хорошего? Ну, стал бы я там, внизу, начальником. Да я бы этих подчиненных собрал бы в одну комнату да и сжег бы подчистую. Такая все сволота и мразь. А потом каждое утро видеть эту теперешнюю, просыпаешься, а она рядом, боком касается, как будто острыми иголками меня шпыняет.

— Не, у меня не так.

— С моей, тутошней, тоже не так. Она меня ценит. А перед мужем никаких совестей. Сам допустил, сам и терпи. М-м-м, вон эта пошла под окнами. Ну, килька.

— Не ругайся. Не твоё.

— Твоё, что ль?

— Просто ее не надо.

— Да, бабы всегда опасность. Провокация. Только перед ней раскроешься, — бац, как тигра лапой, языком своим ядовитым бац, бац — и в дамках. Она тут ни при чем, она королева. Было бы ружье, да еще если б сделать так, чтоб никто не узнал, — стрельнул бы я в эту.

— Брехун.

— Ни одной, ни одной нельзя доверить никаких слов, никакого дела, не говорю уж, жизнь свою. «Молчи, скрывайся и таи» — это он, конечно, про бабу. Доверяй, но проверяй. А Наташка просто шпионка. Как войдет, зырк, зырк, бутылку ищет, хочет донести.

Чем сердце успокоится

Ну и гадость. Мудрый. Мудрило-мудило. Нет. Все-таки он издевался. Конечно, он мнит себя Буддой индийским. Какая-то дура чужая к нему пристает. К Будде египетской липнет.

Только в экспедиции я начала осознавать, что есть люди другие, да пожалуй, что и все — другие. Среди моих знакомых — люди-стрелы, люди-трубы, люди-баобабы.

Человек — стрела, но стрела эта застряла непонятно даже в чем — Артур. Гордый, да, гордый, но гордостью странной. Как будто себе постоянно внушает: «велик, велик я и мудр, а козявки большое не видят». Про тот случай. Разомлела от бани, устала, вот и сидела. А этот. Я к нему как к другу, почти что любя. Скорее в эту минуту я в нем человека открыла, и вдруг. Вообще-то правда, если кого ощущаешь как место пустое, то не лезь, не ломай себя — хуже будет.

Действительно, я со своими студенческими замашками в чужой монастырь. Но стыдно. Противно и мерзко. Как на него мне смотреть? Так и будешь смотреть, разговаривать, кашлять. Теперь мимо его окон пройти просто так не удастся. Как будто в движеньях моих он присутствует в виде помех. Черт. Не отвяжется. Жуть. Завтра уеду, а как возвращаться?

Из города в наш заоблачный рай возвращенье — всегда приключенье. После духоты комнат, жары несусветной в автобусе — здесь, наверху, благодать. Кажется, всё, что внизу, — всё нечисто. Там пыль, ненужные звуки, вонючие стаи машин. Здесь как будто с неба сняли грязную простынь, и ты в тишине, чистоте, красоте.

Скорей осмотреться бежим.

От крайнего дома в сторону озера выложен плитками путь. Справа наша колония — три телескопа и несколько мелких домов. Это наша лужайка, взятая в скобку хаосом каменных глыб. Тропа слева вдоль скал полого спускается, в ветхий забор утыкаясь. За слоновьей скалой, чуть не дойдя до калитки, в жилище камней проникаю. Маленький выступ для левой ноги и — камень, покрытый землей почти по макушку, окруженную ветхой травой, — подарок правой ступне. Мягко, легко, не попасть невозможно. Дальше — сложнее. Чуть не тот, хоть плоский, удобный, но он в черный провал оборвется или кончится острым хребтом. Препятствия эти не просто известны, но телом заучены так, что и думать не надо. Я — у себя дома, кажется, ночью на ощупь с тем же успехом пройду, сама не заметив, весь путь.

Здесь никто не бывает: это моя личная тропа. А вот и личный стул. Плоский, удобный камень. Однажды сидела так долго, что под ногами горностай проскочил, малюсенький, как глюк. Можно лечь, можно ноги спустить над черною щелью такой глубины, что, если уронишь предмет, сколько ни будешь стараться, в черноте его не увидишь. В сказку играя, можно подумать, выскочил где-то в стране серебра.

Сказки не то, — с тобою не тварный пейзаж. Природе не нужно стараться божественной быть, она — божество. Беспорочно-бессмертное диво, и дотронуться страшно.

Картина художника вводит тебя в круг идей, навяжет свое настроенье, понятие времени, места, тогда как пейзаж, что в природе, — всегда бесконечен. Мы видим, по сути, отчетливо, ближе он космосу, Тенгри, Создателю, только не нам. Человек, рисовать если горы надумал, огрубляет, да так — не узнать.

А если пейзаж первоклассный? В сущности, разницы нет. Гениальный художник заставит тебя трепетать, преклоняться, любить, но картина и ты вместе с ней не в природе. Человек шагнул из нее, начал строить своё в голове, после с этим в реальность вторгаться, с тех пор он один. Вот это в картине и видно уж восемь примерно столетий. Ну, а ты? Можешь ли ты очутиться в природе душой? Ну, попробуй.

Не получится. Мы не в двенадцатом веке. Каждый с природой один на один ищет, находит своё. Содрогнувшись, мистик в осине продрогшей судьбу свою видит, меланхолик с деревом вместе всплакнет, усатый прагматик распилит его и в печь приспособит.

Ну, что ж, будем смотреть.

Озеро. Да, озеро, вот так-так — гигантская чаша горохового супа. Но то, что вокруг, вот загадка. Черных елей гирлянды меж скал острокрылых в воду войдут вертикально, и мир замкнется в себе. В нем нет человека, но нет и существ посторонних: ни птиц, ни насекомых, таких, что можно увидеть.

Ты будешь смотреть, смотреть часами на неподвижную картину, пробовать перенестись туда, забыть о себе, стать её частью. Но мысли и чувства, вспыхивая, остывая, сплетаясь, не находя опоры во внешнем, делаются все бледнее, тише, короче и наконец, как поезда, что мимо идут, исчезнут вдали. Пустеет озеро, пустеют горы, пустеет небо.

Видеть божественное часами, днями, неделями — не для меня. Не озеро пусто, пустею сама. Хочется жизни такой, как была там, внизу, с ее нечистотами, злыми словами, со всем, что привычно зовем «как всегда». Ведь зло неизбежно, когда ожидаешь добра, да и зло в ожиданье добра тоже теплым бывает.

И тем не менее возвращенье наверх всегда новое очарованье. Пусть моя юность пущена коту под хвост, зато я знаю ре-минорного фортепьянного Баха. Слушаю часто его в доме казенном. Ре минор — это горы, не пейзаж, а те, что внутри всех людей.

Кумбель. Кумбель — это то, что мне помнить не надо, — это часть меня

Как узнал Шаров, что я была альпинисткой, предложил на вершину сходить. Раз сходили, другой — и походы серьезнее стали.

Чаще шли мы в такие маршруты, на которых когда-то Шар себя испытал. Но Кумбель — река и долина ее так назывались — был ему неизвестен. Только мечтой оставался, вот мы и пошли. Решили задачу мы с ним в воскресенье в июле.

Самодеятельный туризм — это не альпинизм, прообраз точной науки, а полная свобода сгинуть с весельем в сердце.

Восходили на эту вершину так долго и тяжело, что подходить к ней будем тоже долго и тяжело, то есть обстоятельно.

Выходим из дома — и вниз. С нами собаки: Лаиш и Серый.

Собаки нашего приюта (*это отдельный рассказ*)

Как-то утром, только приехав, пошла причесаться на камни. Со мною Степан. Сначала зарядка — руками машу. И что спутник? Тоже чем-то махать? На прямой плагиат только политик способен да еще журналист. Ну, тех-то специально готовят. Степа умнее, хотя инвалид: лапу заднюю где-то утратил. Степа хотя и немного овчар, но больше лиса по цвету и морде: вечно с улыбкой. Никак не пойму, неужто он с кем-то подрался и ногу в бою потерял? Или недобрые люди стреляли? Но сердце собачье смутить не смогли, Степан — сама доброта и почти человек.

Итак, утром Степа со мной на зарядке, потягушки с поднятием зада, бег с приседаньем, скачками, быстрою сменою хода, пусть пару раз равновесье терял и, шатаясь, валился. Всё это тихо, чтоб не тревожить, без лая, лишь бы участье принять. Но вот я присела, достала расческу и волосы распустила. Что же Степан? Всё он понял. Присел и начал вылизывать шерсть там, где она не совсем совершенство.

Степа исчез очень быстро, ранней весной. Кто-то сказал, у озера труп, у дороги. Судьба всех собак в экспедиции просто трагична. Погибали одна за другой. Дорога-то рядом, а машин не настолько, чтоб пес попривык, но достаточно много, чтоб в неравной борьбе с этим чудищем жутким погибнуть.

Так цивилизации дети ее же плодами незримо, едва и заметно себя начинают морить.

Но собак наших жалко.

Наши собаки собак казахстанских приятней. Наши собаки собак всей долины милей. Серый — обычный собак с выражением морды такой, как бывает у очень унылых людей. Маневр: трусцой, вполубок, как будто к тебе ничего не имея, носом в землю уткнуться, а глазом исподлобья виниться и робко проситься в друзья. Серый — пёс comme il faut, такой, как чаще всего ты встречаешь на улице разных «овчарок». Чуть коричнев, чуть сер, да и с черной полоской спина не так уж черна.

Не то наш Лаиш. Царственный зверь, бродячий философ. Чувство достоинства, силы и к людям, как к младшим, щенкам, — снисхожденье, готовность дурашкам помочь. Черный, огромный, с длинной густейшею шерстью. Черной даже кожу найдешь, если сквозь шерсть сможешь добраться. Выражение морды: чуть вздернутый нос и спокойная каменность взгляда, ну, чем не Сократ изваянный.

Я считаю Лаиша другом, думаю, он мне отвечает взаимностью. Вот какая была с ним история.

Здесь появившись в апреле, все ночи я слышала вой. Сверху он шел, там звездочетов казахских обитель. Сколько у них там собак, не считала. Чуть рассветет, а раньше чего и ложиться, послышится вой. Приподнять занавеску, взглянуть — только белый туман, и в разрывах то арча прочернеет, то камень. Кажется, не живая собака, а дух волкодава не может очнуться от страшных видений, совесть жестоко терзает убийцу. Под вопль этот вспомнить хорошее сложно, а как без хорошего можно уснуть?

Кончилось тем, что в узком тамбуре Лаиш появился, в рабочей избушке. Занял почти все пространство. Лежит неподвижно, а чуть кто за ручку входную снаружи возьмется, Лаиш оживет на секунду, голову чуть приподнимет и снова уронит, — и так много дней. Запах тяжелый пошел, а если дверь приоткрытой оставить — черную тьму осветить, приглядевшись в то место, где смотрят больные глаза, увидишь за ухом… но лучше быстро дверь отпустить. Как-то кого-то спросила: «доколе, может… ружье-то ведь есть». Дурочкой, глупой москвичкой, да вот истеричкой не зря все считали. Никто отвечать мне не думал. Что же Лаиш? Да вот он, не рядом, но чуть вдалеке.

Причину раненья Лаиша узнала потом. Влюбился без памяти в сучку верхних казахских друзей. Вот те собачищи, своё защищая, всей дружной командой сражались с Лаишем одним.

Без помощи нашей он выжил, вылежал жизнь, как черный рыцарь былого.

Грех говоренья, грех сотрясенья пустыми словами — грех безусловный, но убийство задумать — уж это полною мерой.

Чувство вины, видно, понял Лаиш многоумный. Стал он меня привечать. Однажды на дальней прогулке рядом со мною возник. С этих пор часто ходит со мною. Мы дружим.

Вершина Кумбель

Июль, пять утра. Вниз травою до озера, после — медленно, медленно вверх. На небе небесная ясность, и солнце — лев укрощенный — не жарит, а веет теплом. Только налево свернули — ни неба, ни солнца. Тучи на плечи — туман. Так незаметно к полудню попали в место, окруженное горами, в альплагере сказали бы — цирк.

Циркачка-вершина — ну, метров на десять всего и повыше, чем покрытый снегами хребет, на котором стоит. И хребет так кругло нас обошел, что чуть-чуть не сомкнулся за нами.

Мокрый снег лепит в морды, собачьи, людские — что ему.

Слева вползаем наверх, так к дому поближе. Собаки, конечно, Лаиш предводитель, наверх не полезли, остановились и тихо на склоне легли. Вниз

за хребет посмотрев, Шар недовольно глядит. Нет. Это не то. Спустились к собакам и от этого места траверсом к вершине пошли. Собаки исчезли, для них снег глубины невозможной.

Пока что усталости нет, неудобство от темной погоды. На правом плече оказались легко. То ли так в котловане всегда, то ли здесь высота и слегка высотой опьяненье.

Мне страшно в горах никогда не бывало. Все чувства вбирала тревога, хватит ли сил. В обморок падала, просто идти не могла. Но теперь я другая, ведь здесь я живу так давно, что горы своими считаю.

Что за маршрут, я не знала, но Шар, Шар надежней стены. Я по сравнению с ним не полшара, не четверть, а одна 256-я. Сегодня мне кажется, что шла я тогда, как овца на закланье, себя не считая ни жертвой, ни даже овцой. Траверсом склон подрезая, конечно же, видно: лавина возможна, но угроза в уме промелькнула, а чувств никаких.

Вот мы на хребте правее циркачки. Что впереди, не заботит. Ведь видимость ноль. Упадем, ну и что. Эйфория. И в этот момент будто пришло разрешенье горы: туман осветился. Все дурное в солнечной взвеси исчезло. Пройдем.

Прочь от циркачки путь по хребту, снег здесь неглубок, по колено, шагаем, левой рукой держась за карниз, как за перила.

Отсюда шагнуть через хребет одному — а мы без веревки — почти так, как в воздух упасть с самолета. Нет места ни мыслям, ни чувствам. Вот я, вот сюда мне надо шагнуть. Вверяешься богу, судьбе или тому, кто поближе.

Из котлована шагнула наружу. Ослепла, в режим автомата вошла.

Что помню сейчас? Белизна. Белизна без изъяна. Белизна — совершенство, как вечность, как смерть. За это нельзя ухватиться — течет. Трудно ногам удержаться — ползет. Видеть почти невозможно — слезы, и лишни очки. Всё смешано с солнцем. Стужа с жарой, ослепленье со счастьем.

Бояться? Но нет впереди ничего, ни горя, ни тьмы.

Шар пускает снежок, тот улетает, скрываясь из виду метрах в шести. Спуск начинаем. Идем серпантином, и Шар впереди исчезает так часто, что надо спешить. Снег — не вода, не утонем, и крутизна — не обрыв, слава богу. Спустились.

Морена. Сначала камень и лед, потом потекло. Передышка. Назад поглядим. Ого. Наши следы почти что коснулись колонны седого открытого льда. Как мы остались в живых? Провиденье. Оно оставляет нас дальше пожить для чего? То ль бедолаг не заметив, то ли, напротив, строго блюдя свой закон. Ну что же, спасибо. Подарок оценим потом. Теперь нам бы к дому.

Уж это Кумбель, уж Кумбель так Кумбель. Скалы рыхлые, будто здесь взрывотехник работал. И река. На широкой морене сначала чуть бегут ручейки, сливаясь, потом расходясь, исчезая под лед, и вот небольшая речушка-ребенок, волчонок, покусать норовящий ботинок без смысла.

Так примерно шагали часов до пяти. Здесь уж девочки-речки не видно. Тут девушка с юным упорством, то ли колдуя, то ли в скверный характер войдя, рушит, ревет и убить, попадись, обещает. Ткнется в берег отвесный — ку-ку, нам опять переправа. Если же берег и тот вертикален, лезем, кандальники, вверх, хоть это не просто. Чавкает грязь под ногой и вместе с тобою книзу ползет. Взяться за камень не думай. Это не камень, а симулякр, остаток скалы-развалюхи, только дотронься, он в реку тебя унесет. Главное — зрению не доверяй. Что видишь, то только глазами и трогай. Вцепись зорким глазом, а рук не протягивай, цыц.

Солнце не в радость, его нам не надо. Скалы — не скалы, а рухлядь для самоубийц. Ну, а девушка стала ведьмой, ведуньей бессмертной. Мощной дланью ворочает бульники лихо. Как кулаком упрется в ботинок, ревет и мимо летит. И летит, и летит в бесконечность, мокрою пылью кидая нежданно в глаза.

Переправа, — вверх. Переправа, — вверх. Лезем наверх второй, третий, десятый раз. Не до счету.

Рев снизу. Это рев кипящей плоти земной. Нет ей меры, нет названья так, чтоб понятно.

Какая колдунья, смешно. Стихия, кипящий котел. Какая река? Не течет, не играет. Ни камней, ни воды — ничего. Белая — белее вершинных снегов, белее белого цвета. Бесплотна? Плотнее летящего поезда лба.

Наконец берег правый расширился, стал проходим. Река сама по себе, ей нет дела до нас, ну и славно. Если б силы остались…

Что же Шар? Может, блаженствует? Вряд ли. Бодро идет шагах в двадцати. Конечно, его я держу. Не может он бросить меня и быстро домой побежать. Наверно, ругает себя, что связался. Но по виду не скажешь. Надежней стены, но и, как на стене, я на нем ничего не читаю. Кроме надписей: «Опасно», «Шагай», «Подожди».

Около девяти вечера мост показался. Всё. Дела нам нет до реки. Мы на твердой земле, на дороге. Мы с людьми, хоть людей и не видно пока. Шар впереди, ногами одна за другую цепляясь. Как мои ноги идут, мне не понять. Вверх ведь часа полтора в темноте, без сознанья, на автопилоте. Полтора часа вне жизни.

теплой землей мягкой травой
в камень на жесткий снег
сине-лиловое над головой
как неподвижный бег
и от земли в воздух крутой
лезвием забытья
выслушать мокрой метели вой
голос ее нытья
там выше воя и выше нытья
неописуемый свет
жизнь на другой стороне бытия
где и травы нет

После этого большого похода Шар как бы приблизился ко мне. Он мне и жизнь спасал. Как-то я увязла в снегу так, что не могла поднять ноги. Он подскочил, схватил меня за шиворот и выдернул из ловушки, как цыпленка. Я в душе была благодарна ему, но, кроме родственных — мы оба из МГУ, — никаких чувств не было.

Да вот еще, его образ героя труда померк по сравненью с «сундуками».

Сундуки

Люди. Людей мало. Научных работников, техников плюс астрономов — всего пятеро.

Прежде всего старшее поколение. Тем, кто строил, кто первые годы работал, — им слава. Богатырские женщины были. Всё могли: перебросить ведро через гору, на вершину любую взойти, телескопы, приборы от Цейса, так наладить, что и теперь всё работает. Эти женщины не амазонки, но мышцы — камень, мозги — Пифагор.

Они здесь бывают, но редко. Как выглядят? Сила — в движенье любом. Простота — на изысканность тянет: ухищренья убогим нужны, современным.

Где ж того поколенья мужчины? Где восторг человеческих сил? Ну, Василий. Не поняла я его. Он работает, наверно, чересчур много, и остальное время его не видно. Я с ним двух слов не связала. А кто еще? Никого. Юный Коля, самый мне близкий, но дроби не может считать. Что с нас взять? Мы, словно богом забытое племя, живем, чтоб от прежней культуры следы не

исчезли. То, что создано было, чтоб бурьяном не сделалось вмиг, а лишь постепенно.

Август. Желтое солнце. Небо как пух, земля теплой ванной. Лежу на траве и в тишине, как в зеркале, вижу себя. Я не такая, нет. Я не большая, нет. Но я в этой траве, как трава, и в небе, как небо. Я всюду, я здесь. Только и есть, что трава, только и есть, что скала, только и будет. Здесь чистота, в чистоте я сама. Жизнь — чистота. Смерть — чистота, поэтому жизнь никогда не пройдет.

Я в ватнике, мне хорошо на траве, на раздетой, согретой земле, каменистой траве.

Урчанье мотоцикла. Коля летит от наших домов и возле меня тормозит. Мы оба согреты солнца дарами. Мы пьяны, и вечера тихим прощаньем закатным задеты.

Садись, говорит. Мы летим. После озера выскочил — трюк цирковой — на трубу.

Водопровод круто вниз над землею висит. Пьяный дух беззаботен — не страшно, ведь кто-то всех пьяных хранит. Вот труба наконец из воздуха в землю уткнулась, приехали. Мы с Колей стоим, как в пещере, во влажной, блестящей листве. Здесь, чуть ниже, чем наше жилище, широкие листья, а ели, как в праздник, сбились в кучу, держат друг друга кто лапой, а кто и колючим стволом.

Буйный день, окончанье. Коля пусть — му, но, как выпьет, на подвиг великий готов.

И вот в нашем сонном болоте разносится слух: сундуки. Не сразу поймешь, что за люди за словом скрываются. Что оказалось? Когда-то большое количество ящиков к нам они привезли. Кто имя такое придумал? Может, Роза?

Итак, к нам едет команда, почти как в футболе: двенадцать космической веры апостолов юных. С ними дядька-куратор, черноморской закалки начальник. Ведь столица апостолов на море Черном, а здесь филиал. Здесь небо.

Неделю сидели, почти никто их не видел, только в обед дружной гурьбой спускались с небес до трактира. Нет оживленья, всё тихо, всё молча — тоска. Только Семенов, ниже шорт на коленке Вити-фотографа бинт разглядев, через лужайку парня окликнул: «Виктор, голова заболела? Повязка сползла». И дико потом хохотал. Команда плечами пожала, команда прошла. Семенов остался доволен. Мертвяшкам себя показал: он остроумен и весел, не то что московские бледные люди.

Тем временем в наш беспризорный приют прибивается некто Ужимов, литератор на службе в газете «Степняк». С заданьем — ученую жизнь описать.

Ужимов ходил и уныло смотрел на приборы, на трактир, на людей. Что-то его ну никак ничего не волнует.

Наткнулся на сундуковых парней. Несли что-то хитрое к дому. «Вы днем, как и ночью, все сутки в работе?» — «Отнюдь, аппарат для души», — первый молвил. Второй уточнил: «Самогонный». Третий уныло: «Вот, сочинили». И снова тот, первый: «Попробуем в эксперименте». Ужимов ужался, стал маленьким, — очень участье хотелось принять, ох принять, — жалобно вслед уходящим смотрел. Вскипел от нахальства. Больше к умным решил не соваться.

Электрик Петрович в то время увлекся кролями, и зайчики всё еще живы к моменту Ужимова были, хоть скоро он их, откормивши, увез. Клетки утром откроет, зайцы не сразу, но прыг и в траве что-то личное ищут. Кушают, весело машут ушами, потом затаятся и долго комками лежат.

И вдруг наш Ужимов чуть не убил, наступил в черно-белую кочку живую. «Что это? — радостно. — Заяц?» — «Ну да», — отвечали.

Вот заяц и стал ушастой фигурою речи, средоточием мысли научной.

Высоко, высоко, высоко, — степнякам сообщал литератор, — там, где только туман и люди в тумане героический пот утирают, на благо отчизны трудясь, там самый-пресамый, самый в мире и самый на свете — высотный аутентичный грызун проживает бок о бок с наукой, ничуть от нее не страдая, а скорее в ней нишу найдя. Астрозаяц, открытие века, супергрызун. Ихней науке куда, если нашу науку чудотворит природа сама.

До таких вот высот интеллекта добрался, очень сильно хотелось в редакции премию взять.

«Высокогорное чудо» — заглавие вышло.

Долго смеялись электрик, завхоз, звездочеты. Сундуки, о протесте подумав, решили: с таким интеллектом нет смысла тягаться. Написали плакат, лозунг дня, ненавязчивый кукиш. Буквами ярко-красными слово одно: «Отнюдь». Всю стену он занял, устроившись под потолком. На этом забыли статью, щелкопера и все, что внизу там кипит.

А слово очнулось и кинулось радовать отнюдь не любого, своих.

Дело, праздник коррекции, — в среду. Можно туда приходить — всё открыто. Дом сундуковый на камне, вверху. Там просторно, хоть на стуле сиди, хоть просто на белом дощатом полу. Начали день трудовой после заката, а праздник — когда темнота.

Люди работают. Как?

Каждый двенадцатый место свое не уступит. Каждый двенадцатый плотно на стуле сидит. Что сделать им надо?

Те — в небе отловят изделье, эти проявят, другие измерят.

Дядьки что-то не видно. Команду на старт запустил и ушел.

С центром связь непрерывна. Там ожидают, как скоро мы мышку-звездочку выловим в небе. Не ловится. Все в напряженном унынии. Лишь телескоп, не волнуясь, не мышью звезду выдает. И вот прибегает тридцатый, наверное, раз Витя-фотограф с лжемышью под мышкой. Проявлено. Тащит румяному Толе считать. Неужели — «отнюдь», каждый страшится. Толя глядит на экран. Толя колдует. В этот момент все чувства стремятся к нему, все знают, если мышь, он ее не упустит.

Толя «есть!» завопил. Что тут было — шуму, объятий, стуку и бегу вокруг. Отликовали, все длилось не дольше минуты, работа не ждет, продолжаем. И вот она, звездочка, меньше плевочка котенка.

В Крыму отвечают: «она». Тут же коррекция — вот итог всей работы недельной.

Три пятнадцать, убийственно хочется спать. Тело как будто из дома сундучного вдруг улетело, а то, что с тобой, — ватное что-то, чужое. Только бы вату смешную где-нибудь, хоть на полу, положить, под задиристым словом «отнюдь» покемарить.

Апостолы бегают быстро, им не до сна.

Четыре. Кончилась ночь и работа, луна половинкой взошла — неба нет. Спать расхотелось, есть тоже. Можно в футбол. Под луной вблизи телескопа мячик прикольно гонять. Первый упал и не встал. Второй держится за бок. У третьего хлынула из носу кровь. Разошлись. В два часа дня снова сборы. Готовиться к ночи пора. Конечно, им тяжко, а веселье какое!

Хорошо, но в апостола ты не влюбилась? Ну, может, и да, а что толку? Как мне его отловить? Во-первых, всегда они вместе, во-вторых, на бегу. На бегу и слова, и дела, да и мысли. К тому же я не умею коррекцию звездам-апостолам делать. Им же до нас, бедолаг, дела нет. Им — работа.

Вечер последний, прощальный, утром, конечно, чуть свет отмечали. Выпили что-то из местной бутылки смешное. Молча в «Трактире» сидели, есть никому не хотелось. «Мой» с тихим весельем спросил: «Ты здесь надолго?» — «Навек», — я сказала. Он клоунским жестом как будто бы шляпу поднял.

Сундучное счастье для нас продолжалось недели две, три. Раза четыре за лето. Мы помогаем, присутствуем, смотрим, не спим. Для нас это жизни глоток настоящей. Даже Роза забыла любить, ходит-порхает. Когда еще снова гостей ожидать.

Как им завидуем мы. Они звездной пылью у нас на глазах покрывались. У них ни сплетен, ни жалоб — звезда. Все, как волхвы, одною звездою ведомы. Все, как крестьяне, пашут и служат земле. Вот бы нам такой коллектив, да где нам. Мы, как рантье, как буржуи, живем — и гнием.

Мы его погубили

Из нас только Шар не терял вдохновенья. Про Васю просто не знаю.

Коля однажды сказал мне про Шара — он прост. В два счета его вычисляю, сказал. Мне же Шар кажется только по виду понятным. Делает то, что полезно, правильных мыслей вагон, и вагон — на виду. А работа? Каждое утро включает чуть свет телескоп. Каждое утро всё, что тот пишет, внесет, заприходует, вдвинет. Я же не верю, что можно науку железке доверить. Бог нам судья.

Но Шар, сам он себя не всегда понимает, от этого больно. Душа, да, душа не прозрачна. Рационален он только в каждый текущий момент, но время, время другое покажет: действует чаще себе же во вред.

Не хочу я сказать, что кто-то при жизни сумел себя осознать до конца, хотя целое море встречала людей шароподобных. Кажется, говорят-поступают не просто понятно, а так, как и все. Но нескольких дней вам хватит почувствовать бездну, опасность, подвох.

Первопричина, исток его неудач, даже провала — то, что вокруг. Цивилизация вся, — что говорить о приюте, — идет к окончанью. Любви нет нигде, нет служенья, и вот — безучастья холодные волны рождают жестокость и ржавую воду вражды, а уж та всё разрушит. Тут ничем не поможешь. Страсть Шара к порядку бесплодна, Хаос ее поглощает, как воду песок. Бедный, бедный наш Шар, мы его погубили.

После того как не раз и не два кумбели вдвоем одолели, Шар казался мне старшим родным. Довериться можно, а можно совсем не общаться. Он есть, это важно. Да и что доверять? Событий не стало совсем. Вернее, событья, как ветры, придут и уйдут, и помнить зачем? Событья внутри? Обидит Людмила? Людмила не любит меня. Но я от нее не завишу и обиду обедом заем.

Нас так мало, что место — пустое. Пустая поляна. Пустые избушки на ней. И в избушках пустые, пустые дела.

Но Шар изменился ко мне. Как-то пришла, Шар мясо жует. Сразу мясо припрятал, не угостил. Шар ко мне изменился, не только по мясу.

Люди прощают любые грехи, но не грех отсутствия оных. Нет греха, нет человека. Здесь я не живу — ни в ком и ни в чем не умею себя обнаружить. Вина ли моя, я не знаю. Общих проблем никаких. Нет общих мыслей. Что я здесь делаю? Что вообще я делаю в этой жизни? Я родилась зеркалом. Всё во мне отразилось, я ни во что не вошла.

Хорошо, я не та, и не то это место.

Соблазнилась-то чем?

Мир, спокойствие, а красота? Всё в избытке. Именно мне, так казалось, только и нужно смотреть, размышлять, не спешить. Это и было приманкой. И что? Мало. Чувствую, мир где-то там — и глубок, и огромен, и пестр. В изоляции я на горе, как на острове, воздуха волны не приносят желанных вестей. Время, пространство меняются там, далеко. У нас тишина.

А как же насельники наши, как они? Была бы работа, пусть не такая, как труд сундуков вдохновенный, но просто работа с понятной и длящейся целью. Была бы работа, иначе б все было.

Мы на горе, как мелкие капли дождя. А в капле то же, что там, в долине, в Москве иль в Сибири.

Откуда здесь пьянство, откуда безделья занос и семеновский бал бесконечный? Человеку так много ведь надо, чтоб быть человеком. И первое — цель. Цель — работа, семья, чтобы знать, что труд не игрушка. Ах, откуда нам цели набрать? На поляне какой, на болоте? Цель-идея. Цель-ласточка. Где?

Цель — это то, что не очень-то видно, она где-то внутри.

Долгое время у человечества была цель — царствие небесное или варианты этой цели в различных религиях, пока скептики и циники не оказались в большинстве.

В 1917 году люди поверили, что вместе могут построить новую, справедливую жизнь, пока скептики и циники не занялись приватизацией того, что энтузиасты уже построили.

Сегодня найти смысл — это проблема номер один. Богатство и комфорт — это тупик индивидуализма, а какие еще цели существуют в Европе?

Конечно, в Китае, хотя бы на первый взгляд, с этим всё в порядке.

А что же у нас?

Наши терренкуры

Так странно сегодня подумать-припомнить, год ведь жила, не услышав ни разу приемник. Что новости, ладно, но что-то услышать могла бы. А приемник рядом с кроватью стоял. В какой стране ты живешь? Что за ее пределами? Всё, кроме личных переживаний, было глубоко безразлично и здесь, и в Москве. Кажется, это свойство затянувшейся юности.

Конечно, выход так прост — уехать, вернуться домой. Но. Но что там ждет? Жизнь ведь сама прервала.

Да, здесь спокойно, здесь тихо, читай, сколько можешь, гуляй, музыку слушай. А там? Все сначала.

В ловушке ты тут.

В ловушке? Если есть в этом месте прекрасном ловушка тебе, — это ты, ты сама. Честно, сама для себя ты ловушка, и приманка — твой собственный ложный покой.

Неужели в Москве по себе я так сильно скучала, — даже близких, друзей позабыла, ушла.

Да, теперь ты с собой неизменно. Кроме встречи со снегом, чего ожидать? И, как прежде, на людей ты глядишь диковато, как на сцену, где пьеса, скучней не найти.

Оглядись. Нет здесь сцены — просто приют.

Небо уже в октябре призакрылось.

Пошла чёрная проза жизни. Не жизни, обморочных заморочек.

Солнца нет. Серые, холодные горы. Редкостная пустота природы, только скучные люди, камни и снег. И не вспомнить, что было другое.

Конец бесконечен.

И вот зима. Вместе с внезапной лавиною снега, что сыплет на нас каждый день, начинаюсь я, новая. Стала я маленьким танком, шустро между камней и сугробов вверх и вверх неуклонно. Стала легким спортивным самолетом от перевала, где ФИАН, вниз к приюту, тридцать минут по прямой. Мускулы мои затяжелели, сухожилия окрепли, где та растерянная девочка, с открытым ртом внимавшая таянью снега.

Нет, про ФИАН не сказать невозможно. Мы — астрономы. Они — физики. Нам по сердцу что-то большое: Солнце, Луна. Остальное еще больше, пусть не наяву. Им лишь частицы, поймают и глючат.

От нас километра четыре наверх перевал, и там чуть из снега торчат не избушки — причуды людские. С размахом.

Много приборов у них драгоценных и много людей: физики наши, не наши, то немец навстречу, то венгр.

У Шара работал там давний знакомый, и как-то, собравшись к нему, он с собой меня прихватил. С тех пор мы ходили туда чаю попить, поболтать, посмотреть, как работает друг на своем хитроумном приборе.

Такое подобие выхода в свет.

Когда снег окончательно лёг, стала к ним одна прибегать. Могла и дальше пойти. После перевала, обойдя их поселенье, дорога как будто задумала в город спускаться.

Возможно, она никуда не стремилась, ну, как терренкур. Однажды шагах в десяти на камне орла увидала. Не слишком большого, но, пожалуй, со мной бы он сладил. На меня посмотрел, как хозяин: мол, идешь, ну, иди себе. А сам неподвижно сидел и хозяйство своё наблюдал.

Посмотреть было на что, открывалась широкая панорама снежных вершин. У нас такого быть не могло: мы окружены несколькими горами много нас выше.

Подняться на крышу, на шпиль, на балкон не альпинист, но каждый юный в душе охламон обожает. Я часто поднималась не до перевала и не до того места, где ФИАН уже виден, нет, я любила подняться туда, где наше Большое Алма-Атинское ущелье выглядело узким горлышком, облаками набитым, а вечером, если погода позволит, то Алма-Ата в этом горлышке огнями сияет. Погулять по дороге, подумать, вокруг посмотреть — это тебе не кино. Это жизнь.

Новый год

И приходит Новый год — праздник.

Сначала собранье. Ну, без собранья, без теоремы мы просто босячий приют.

Шар выступает. Он главный сегодня. Сначала про время, про вечность, потом про момент. Момент подходящий, сказал. Для чего? Черт его знает.

Наука для нас — это раз. А мы для науки — второе.

Теперь повседневность. «Увы, мне, увы, — это Шар. — Чтоб броситься вверх на вершину науки, нам что? Ну, конечно, нужен мотор. Мотор наш не то что сломался, но клинит, дымит и не тпру. Хотя механизм весь в порядке: капот-фюзеляж и подъемная сила крыла. Кстати о крыльях: несвежи».

Для звездочетов метафора что? Пыльца. То, чего не видно, не слышно, не нужно. Дремлют.

Вскочил тут ошпаренным гусем завхоз тишайший наш, но вездесущий. Очень обидно, сказал Серафимыч, наши машины так людям представлять. Вот тут цифры. За год по первой только машине ездок больше десятков шести.

Что-то еще в оправданье бесцветно и гладко гундит. Все дремлют по-прежнему.

Но Роза вскочила. «Крылья? Когда это крылья несвежие были? Да их сроду не брали, поскольку не может бюджет. Всего-то два раза, и оба хорошие куры попали». Роза волнуется, чуть не рыдает. Валя-друг тащит обратно на стул.

Диана встает. Сама красота. То, что в дыре человек пропадает, сейчас и для нас не заметно, не то что гостям. Безукоризненна. Над выпуклым лбом прическа такой высоты, что Людмила сглотнула слюну. Диана ручку налево, ручку направо, вытянет, нежно к сердцу прижмет. «Друзья, — басом, — что это нам не хватает чего? О чем наши споры? Стол нас ожидает давно. Отчет всех начальников принят. Кто за? — Единогласно».

Так собранье скатилось в «Трактиръ» к накрытому загодя ряду столов. Праздник празднуют всюду — в трактире, в клубе, на рабочих местах. Шел он, наверно, неделю. Много людей незнакомых.

Вот Куляш. Кто привез ее? Царствует, нашим насельникам робким глаза открывая. Пятый день левою пяткой пристукнет, правую выставит, потом

ступни поменяет, как вроде танцует. Нижний животик тряхнется, верхние оба в трепет желейный войдут. Мужчинам нашим, не нашим как же ее не желать, «а что, если что» отметая. Кажется, с каждым уже побывала, — пришпилив, забыла. Что она тянет протяжно? Песню тигрицы, если ту потатарски научат.

А вот Вова. Вова у нас неделю уже отработал и у Люды пытался отбить жениха, пусть жених и женат. Ну и что, спросите. Ничего. «Вова мальчик из бедной семьи, и мама его не ласкала, на работе была» — так в экспедиции принято было за лемму.

А теорема? — Это сам Вова в драных шортах, хоть ночью под тридцать мороз. Люда скажет: «Вовка, видела в пятницу, шел по поселку с Татьяной. Это ты девку брюхатить повел?»

Вова встанет, сядет, ляжет на пол, руки раскинет и всем сообщит: «Людка плюнула в душу».

Люда бросит платочек: «Утри». Вова вскочит, козлиное что-то споет, две струны на разбитой гитаре дернув три раза. Всем надоел. Наконец Куляш удалось забияку в канонический вид урезонить и в темный сволочь уголок.

Так гуляли, гудели, плясали. Но веселье запомню не там.

Утром мороз небольшой после вьюги и солнце. Дороги не видно, все занесло. Большая лопата фанерная — радость в руках, и пошло. На лопате плотного снега ломоть приподнять и кинуть в опушку дороги. Когда он рассыпан без точечки черной — вот кайф. Целый час вдоль дороги слагала поэму снегов. Нет, дворника счастье ни с чем не сравнимо, но только не в городе, нет.

А праздник летит, и где же он сядет?

В доме моем жил истопник дядя Леша. Тихий мужик. Жилистый, с красной, криво сидящей на шее худой головой. Как меня встретит на улице ль, в доме: «Здравствуй, Наташа», остановится, что-то приветливо скажет, черной длинною кистью взмахнет, жестом слова уточняя. Улыбнется, а взгляд очень светлых глаз голубых неподвижен, словно в мысль он какую-то влез, а как выйти, не знает.

И вот праздник шел, и тащился, и вял, а к нам поработать снова Виталик приехал. Виталик как Виталик, летом он здесь уже был.

К вечеру дело клонилось, сидели за ужином. Тут дядя Леша вбегает с ножом длинным кухонным. Взгляд сумасшедший, и на Виталика. «А-а», «сволочь» — и бац. Кто-то, кажется, Коля руку подставил, и нож только царапнул Виталику куртку, нам нервы попортил. Дядю Лешу схватили, связали, велели от водки его беречь и беречь.

Классовым чувством означил выходку мудрый Артур, белку так называя. После этого случая гости исчезли, и приютские жизнь продолжали одни.

Новый год окончен. Восемь дней ему понадобилось, чтоб состариться. Яркое солнце справа, внизу озеро — просто снежное поле. Через неделю уезжаю. Что меня ждет там? Часть меня — это ты, и нет никакой возможности нам не найти друг друга. Твое единственное письмо, где стоит «Я люблю тебя» и «тебя» зачеркнуто и поставлено другое, законное имя; твое письмо я буду читать только «люблю, люблю, люблю». Что ждет меня внизу?

Самолет уже в воздухе. Последний раз на секунду в окошке снежные горы. Сердце сжалось — там осталась моя жизнь. Никогда у меня не будет с людьми таких простосердечных отношений. Никогда больше цветы, снег и скалы не будут любить меня с таким восторгом взаимности, с такой непосредственностью.

Я вступаю во взрослые отношения с людьми, тем не менее эмоции, непреодолимо бесплодные, более десяти лет продолжат топить меня в волнах одного и того же мучительного надлома.

Взросление ещё далеко. Как школьница, будешь искать его телефон, звонить, встречаться. Если бы в нем была капля мужественности, хотя что я о

нем знаю? Смотрю на его фотку периода нашего начала. Мальчик в военной форме занозисто вздернул голову вверх и в сторону. Мол, на-кося — выкуси. Желание славы? Да. Но прежде готовность лететь в танце, лишь бы музыка играла. Захлебнуться восхищеньем, влюбиться без памяти в первого встречного, через пять минут стать его подобием, перенять его жесты, мимику, слова и манеру говорить. Если бы в нем была ну просто капля стабильности, он не стал бы после двух лет разлуки на первый мой по телефону вопрос спотыкающимся голосом «как дела» отвечать: «Ты позвонила, теперь все будет хорошо». Он не стал бы так мучительно улыбаться в конце первого свидания. Для чего он так? Для того. Мне кажется, он определил меня в свои ангелы-хранители. А ангела разве можно просто пожалеть? Ангела лучше забить камнями, чтоб не лез, куда не следует. И только если одолела тоска, набрать номер «ангела» и слушать испуганный голос: «аллё, аллё, ничего не слышно». Так он из маленького кристаллика любви старательно выращивал во мне любовь на всю жизнь, невозможность искренних отношений с кем-либо еще.

Да он настоящий Протей. Каким бы ты себе ни представила его, каким бы ни увидела, через минуту он уже другой человек. Вот и выходит, что за самым настоящим злом может прятаться настоящее добро, ну и наоборот. Не все такого градуса достигают, он именно таков.

И тем не менее… Однажды я повела подруг в его мастерскую. Когда мы вышли, Галя Н. сказала нам:

— Вы заметили, как у него на картинах люди или тянутся друг к другу, или держатся за руки, то есть они всегда вместе.

Галя верно схватила его характер: он жил по правилам, противоположным индивидуализму мехмата, из-за этого люди всегда тянулись к нему. Поэтому ему трудно среди нас, ведь мы другие.

Кирилл Машкин

Всюду искать окно

***

Обрастаешь новой кожей —
будешь исповедью божьей
бесконечного лица.

И промокшая дорога,
словно гусеница, бога
увидала у крыльца.

Горстку слов и слез немного
прямо в небо отнесла…

***

зренье мое болит,
кто-то заговорит,
и за стеклом оконным
слышишь, трава горит.
как разговор твой вспомню…

так я к тебе привык.

***

Брошенная в меня, верни мне мое детство,
верни мне имя свое, прошепчи,
я услышу.
Имя мое верни всему живому —
и беда окажется тобой.

Кирилл Машкин — артист драматического театра «Мастерская» (г. Самара). Печатался в журнале «Урал». Живет и работает в Самаре.

***

В правом, в левом виске, во лбу
и во всей голове моей
в темноте я тебя найду
тенью тьмы в череде теней.

Правым, левым плечом во лбу,
обнимая стихами тьму.

***

С кем я после смерти говорю,
с кем молчу у кромки бытия,
чтобы бог по шевеленью губ
мог узнать ушедшего меня?

***

Печально с Богом говоришь
и смотришь зрением единым
куда-то ввысь, куда-то ввысь
зрачком холодным воробьиным.

***

Кто может с Богом находиться,
надежно спрятавшись в язык,
и для него любая птица
всегда по-русски говорит.

***

ни о чем жалеть не буду,
все останется в былом,
если дерево оттуда
поцеловано огнем.

***

только всюду искать окно,
где, кроме льда, никого.
ничего, кроме льда на реке
и мороза в твоей руке.

никого, никогда никого.
только чьи-то глаза в окно,
только с неба глаза в одно
смотрят небо твое давно…

***

Свет оглох — и потому
скучно свету одному
вспоминать последний ужас,
ужас, брошенный во тьму.

***

Выйти из слез в себя:
что-то сказать реке,
чтобы река твоя
стала рекой во мне.

***

Мысли Мандельштама
о созвездиях воды
до сих пор не превращаются в лед.

***

кто-то вдоль реки шагает босиком,
опираясь на плечо смерти,
возвращаясь в воздух
водой, взлетевшей из воды…

Евгения Толстых

Сны моего одиночества

Рассказ

Нормальный был морской берег: жёлто-серый песок, небольшие ленивые волны, почти штиль, только слишком много людей вокруг со своими полотенцами и зонтиками, и мы идем, утопая ногами в песке, куда-то дальше, где пляж становится у́же, а берег над ним всё выше. Но это не страшно, ветра нет, солнце светит ярко, только спутник мой говорит, что ему надо вернуться, и исчезает: поднимается по лесенке на обрыв и скрывается за кромкой.

Волны едва набегают на берег, и не волны даже, а так, качание воды, но там, вдали на море, почему-то появляются барашки. Их становится все больше и больше, и на горизонте уже поднимаются тёмные валы. Они ещё не докатились до берега, но все отдыхающие уже собрались и ушли. Мне уходить нельзя, я жду спутника, да и лесенка наверх куда-то делась.

Волны поднимаются от самого горизонта, и кажется, что кто-то раскачивает воду в большом тазу. Они медленно накатывают на берег и неспешно отползают назад, обнажая широкую полосу мокрого песка. Внутри меня всё напрягается, но это не паника, а точное знание неотвратимости выплескивания моря — на меня. Вот волны уже высотой с полнеба, я прижимаюсь к береговому обрыву, первая же волна захлестнёт меня полностью, закрутит и унесёт в море, и я просыпаюсь…

Конечно, я просыпаюсь. Это просто тревожный сон, я его знаю, не люблю, после него трудно уснуть. Почему вода? Почему море? У нас на Урале — озера, на которых не бывает эпических волн. Но только не в моих снах: каждый раз, когда мы (я и друзья, знакомые, родственники, просто прохожие) оказываемся на берегу озера (летом, осенью, вечером или ярким днем), все поначалу идёт нормально: на том берегу виднеются горы, и ничего не предвещает раскачивания воды, но оно происходит неизменно. Потихоньку, издалека, на поверхности появляются возвышенности и провалы, и вот уже барашки покрывают озеро. Потом вода собирается в высоченные валы, их на всё озеро три или четыре штуки. Они идут, чтобы выплеснуться на берег, на меня. Наверное, так должно выглядеть цунами, не знаю, не видела — я просыпаюсь…

Евгения Толстых — родилась в Челябинске. В 1983 году окончила биологический факультет Уральского госуниверситета (сейчас УрФУ), доктор биологических наук (2006 г.), живет и работает в Челябинске. Литературой увлекалась с детства, сочиняла стихи, училась в детском литературном объединении «Алые паруса», детские стихи даже попали в сборник. С 2024 года активно участвует в писательских мастерских, лауреат международных литературных конкурсов. Рассказы опубликованы в журналах «Урал», «Сибирские огни», «Пашня» (электронный журнал), а также в сборниках издательств «Перископ-Волга», «Славянское Государство».

В реальности я не боюсь воды, я умею плавать. Я, Калиткина Ираида Вадимовна, взрослая самостоятельная женщина. У меня сын и муж, родители и друзья, коллеги и куча родственников. Даже в Москве есть сестра. Уж с десяток лет, как я кандидат наук, и у меня нормальная зарплата. Понять, в связи с чем появился этот сон, я не могу, зато есть другие повторяющиеся сны с ясной первопричиной и подоплекой.

***

Увы, нет технологий, чтобы заставить человека видеть во сне кого-то или чего-то. Даже любимую жену, которой нет уже пять лет. Даже если ты — сам Пётр Матвеевич Окунев, — профессор и доктор, знаток работы мозга и повторяющихся снов. Ему никогда не снится Леночка, а это обидно.

Повторяющиеся сны… Он согласен на любой эпизод их совместной жизни, даже когда она, еле сдерживая слезы, объявила, что у неё никогда не будет детей. Что значит, не будет?! Она работала в соседней школе учителем младших классов и считала своими вообще всю окрестную детвору. С ней трудно было ходить по улице, со всех сторон только и слышалось: «Здравствуйте, Елена Николаевна! Добрый день, Елена Николаевна!» И ладно бы дети, с ней здоровалась половина встреченных взрослых…

Глебка, злодей, сказал, что у профессора нет этих самых «локусов возбуждения в подкорке» — возможных источников снов. Впрочем, из тех, у кого эти локусы есть, повторяющиеся сны наблюдаются лишь у шестидесяти процентов. И наоборот. И вообще, его аспирант Глеб всё время торопится, — деловой, как пассажир на вокзале, последнее время только про гранты и публикации говорит. А так науку не сделаешь, электростимуляцию локусов надо сначала отработать и, желательно, на здоровых. Но кто ж согласится на дырку в черепе и электроды в мозгах? Вот он, профессор Окунев, согласится. Надо Глебке сказать, пусть ещё раз энцефалограмму с томограммой снимет. Вдруг он ошибся, и локусы есть.

Закрыв глаза, Пётр Матвеевич расслабился в своём рабочем кресле, его морщинистое лицо с пигментными пятнами разгладилось, а перед мысленным взором услужливо появилась любимая картина. Вернее, не картина, а целый клип: шесть утра, он стоит на крыльце общежития мединститута. На пару ступенек ниже, обернувшись к нему, стоит Танька Зверева — староста группы, и Леночка — её дальняя родственница, она здесь случайно, за компанию. Сквозь её рыжеватые кудри пробивается солнце, и светящийся нимб окружает лицо невозможной красоты (на вечеринке было слишком много народу, и Лену он разглядел только сейчас). Зверева что-то говорит, но он не слышит, только смотрит. Наконец, слова Таньки обретают смысл: «Пётр, ты провожаешь Лену, а я — на дежурство… Алё!..» И в этот момент приходит уверенность, что Леночка будет его женой.

Какой это год был — шестьдесят восьмой или шестьдесят девятый? Что они там отмечали в общежитии — сессию или день рождения? Из-под век профессора Окунева привычно потекли слезы, их лужицы растекались изнутри по линзам очков. Резко открыв глаза, он не увидел стрелок на циферблате, да и что смотреть, и так ясно, что почти восемь. Не хотелось возвращаться в пустую квартиру, где он снова будет мысленно разговаривать с женой. Да что тут хитрить, вслух он начнет ей рассказывать о своих рабочих делах, особенно про Глебку, который всё время забегает вперед. А ведь в науке надо продвигаться постепенно, по миллиметру, проверяя всё на десять раз…

***

Когда мне исполнилось одиннадцать лет, наша семья переехала в маленький Болотск из миллионного Трубинска, где всё у меня было хорошо: друзья во дворе и в школе, бабушка, дедушка, дяди и тети. О переезде стало

известно в конце учебного года, в мае, и это не казалось проблемой — ветерок разносил ароматы сирени, тополиные почки падали на землю и липли к подошвам, и даже дома туфли источали запахи лета. У меня всё было хорошо, только изредка снились сны про море и волны.

Мы переехали в Болотск, где живут физики-ядерщики и прочие, кто делает начинку для атомной бомбы. Родители к бомбе отношения не имели, они — преподаватели, просто в Болотске открыли строительный колледж, куда их и пригласили. В сентябре мы переехали окончательно.

Что должно было отпечататься в детском сознании? Новый класс и незнакомые ребята? Как я заблудилась в старой части Болотска, где застроенные коттеджами улицы поворачивают и петляют? Или ещё такой вариант — стандартный сон у всех, кто учился музыке: я сдаю экзамен в Болотской музыкальной школе, выхожу на сцену и не могу сыграть пьесу?

Не угадали, всё мимо!

Из жизни в Болотске, где были постоянные ссоры с сестрой, отвращение к учёбе и первая любовь, возник и задержался один странный сон. Всего один! Как и с морскими волнами, он обрастал разнообразными деталями, но суть всегда оставалась неизменной:

Поздняя осень, стемнело, я иду по тротуару вниз по широкой улице в виде желоба. Выше тротуаров, отгороженные газонами, попарно стоят девятиэтажные свечки, а за ними по верху целыми крепостными стенами тянутся пятиэтажные дома. Людей вокруг нет, но в магазинах внизу девятиэтажек светятся окна, там ходят покупатели. Мне нужно свернуть и пойти наверх к пятиэтажным домам, которые не отличаются друг от друга ничем. Они мне все одинаково неприятны, а наша квартира особенно: родители наверняка на работе, а с сестрой мы делим одну комнату на двоих и изощрённо отравляем друг другу жизнь. Я считаю девятиэтажки, чтобы не пропустить поворот, потому что широкая улица упирается в редкий лесок, за которым темнота скрывает озеро и горы.

Что мне эта улица, если я давно живу в своём миллионном Трубинске? Мой сын-подросток находит себе странные компании, и мы меняем ему школу за школой. Я боюсь его потерять, переживаю и плохо сплю. Вот в очередной раз я просыпаюсь в четыре утра (все спят — муж, сын, собака), иду на кухню, наливаю себе воды, а перед глазами стоят остатки сна: зажигаются фонари, в магазинах у девятиэтажек высвечиваются окна, на автобусной остановке стоят люди — они кажутся манекенами в своих осенних одеждах.

***

«В том, что профессор Окунев руководит диссертацией, есть и плюсы, и минусы, — рассуждал Глеб Константинович Сойкин. — Плюсов, конечно, больше. Окунев — мировое светило, он этот институт мозга чуть не своими руками создал. Кто в их среде не знает Петра Матвеевича? Все знают Петра Матвеевича — респект и уважуха! Из минусов: профессор сильно сдал после смерти жены, оставил за собой только консультирование и одно руководство диссертацией. Его диссертацией…»

К своим тридцати двум годам Глеб Сойкин считал себя вполне сложившимся ученым-практиком. И, по большому счёту, никакого научного руководителя ему не требовалось. Только политическое прикрытие и административная помощь.

Он привычно глянул на часы — десять тридцать. Утро. Успею… Глеб приказал себе не отвлекаться и сосредоточиться: название статьи «Применение электростимуляции замкнутых локусов возбуждения в области таламуса для восстановления внимания и памяти у больных, перенесших коматозное состояние т.д. и т.д.» требовалось сократить — задача простая. На сегодня у него запланировано ещё много дел: совещание у завотделением, приём пациентов, работа с историями болезни, составление отчетов по

науке. До Окунева он доберется хорошо если к 18.30. Но профессор будет на месте, он раньше семи обычно не уходит. И тут из подсознания Глеба некстати всплыло, что он обещал прийти домой пораньше. Какое-то очередное мероприятие, то ли к родственникам идти, то ли в театр, то ли к ним гости… Жена из кухни что-то невнятное прокричала. Не помню…

Последнее время профессор начал Глеба напрягать — теряет темп, хватку и откровенно тормозит. Как он сказал? Вы, Глеб Константинович, пытаетесь бежать впереди паровоза. Нельзя научное открытие (ну пусть достижение) сразу, с колёс, запускать в практику. У нас не физика и не химия. У нас живые люди и мозг. Сначала надо всё проверить на здоровых людях!

Надо! Да кто же, будучи в здравии, согласится, чтоб ему череп просверлили и электрод вставили? Дураков нет. А профессор ещё так, с прищуром, спрашивает: «А у вас, Глеб Константинович, эти локусы есть?»

Есть! Две штуки! И я это знаю, и он это знает. Только у меня помимо локусов — грант РФНИ, договор с диспансером, клиническая работа, жена и сын Димка (блин, что же у них там сегодня?) Профессор же обычно прибавлял: «А длительность наблюдений? Те ваши два случая восстановления памяти после электростимуляции… Надо хотя бы пару лет проследить!»

Надо! Только статью мы должны опубликовать в этом году, а то денег на продолжение работ не выделят.

Сойкин тупо обрезал заголовок посередине и отослал статью профессору — путь редактирует.

***

Окончив школу, я уехала из Болотска в Заводоград на учебу. Сестра еще раньше отправилась в столицу и слава богу, чем дальше, тем лучше. Взрослея, мы с сестрой пару раз почти подружились, но нет, из разного теста мы все-таки сделаны — то она скажет какую гадость, то я… Искусство изводить друг друга мы оттачивали всё детство, оно вошло в привычку.

Из Заводограда нас, студентов, первым делом отправили на картошку в деревню, в колхоз — этакий привет от эпохи коллективизации: студенты коллективно собирают урожай, который потом благополучно гниёт. Заводоград от нас в двухстах колометрах, деваться из деревни некуда, и студенты хорошо понимали, что это приключение надо просто пережить.

Я прибыла в колхоз с отцовским рюкзаком и кучей теплой одежды, сапоги, правда у меня были мамины — на молнии. Сразу выяснилось, что в них нельзя ходить по полю, грязь забивает бегунок, и молния не работает. Комиссары колхозного отряда (свои же студенты-старшекурсники) точно знали, что без сапог — труба, и где-то раздобыли целую партию для таких как я раззяв, так что достались мне нормальные черные резиновые сапоги сорок второго размера. Вполне можно ходить даже при моём тридцать шестом, если приноровиться и надеть три пары носков — меньше все равно нельзя: сентябрь, холодно, иногда идет снег.

Я вообще не помню, чтобы мне там что-то снилось. Вот есть — хотелось. Ели мы, в основном, ту самую картошку, которую и собирали в мешки после вспашки полей агрегатом по имени мацепура (или мацепуро?) Работа была тяжеленная — жуткий физический стресс, у девушек нарушался месячный цикл. И что? Снилось мне что-то из этой забытой богом деревни с размокшим черноземом и джутовыми мешками? Нет! Мне потом даже пруд Заводградский не снился. А вот почему? Из него волны тоже вполне могли раскачиваться и накрывать меня с головой… Но нет!

Очередная любовь и учёба, студенческие пирушки и общежитие, всё это благополучно прошло и не стало ядром для зарождения неотвязных снов. Город Заводоград отметился только одним зачётным сном, что долгие годы всплывал по ночам и заставлял злиться: «Да какого черта!» Заводоград от-

метился сном про автобус, который идет в Болотск.

Согласно расписанию, автобус отправлялся три раза в день от железнодорожного вокзала, и на него (особенно на последний рейс) нельзя было опаздывать, потому что дома меня ждали родители. Позвонить в закрытый Болотск тогда было невозможно, а если я не приеду, мама будет страдать и ходить по потолку.

В Заводограде билеты на этот автобус не продавали, их можно было купить только в самом Болотске. Умные родители своим студентам покупали билеты и передавали с шофёром в подписанном конверте. Ты приходишь в Заводограде на вокзал к автобусу, спрашиваешь конверт на своё имя, достаёшь билет и едешь, или покупаешь его прямо у водителя (если есть свободные места). Так что опаздывать на автобус было нельзя, нельзя и ещё раз нельзя!

Типичный сон: я спешу на вокзал, заскакиваю в трамвай, но он меняет маршрут и увозит меня в какие-то дебри незнакомых улиц. Или: я сажусь на троллейбус, а он ломается по дороге. Я путаю время, я не могу найти вокзальную площадь — во сне все дома маскируются, поэтому я опаздываю, опаздываю и снова опаздываю. И даже если я уже села в междугородний автобус марки «Икарус», в любой момент в моём сне он мог остановиться, передумать, поменять маршрут и не поехать в Болотск. А не приехать нельзя! С мамой будет не знаю что! Она же не выдержит!

Я потом иногда себя спрашивала, не выдержит чего? Вот что с ней такое произошло бы? Инфаркт?

Не знаю… А сон этот снился многие годы, и каждый раз я пыталась добраться до вокзала и бесконечно опаздывала.

У мамы и в самом деле случился инфаркт, но не из-за моих опозданий (которых не было), а после смерти отца. Мы с сестрой сидели тогда у мамы в больнице, в Болотске, прямо в палате. Зима, темень, я собираюсь уезжать в Трубинск, мой автобус отходит в шесть пятнадцать. Мама с сестрой поглядывают на часы и через каждые две минуты попеременно говорят: «Тебе, наверное, пора идти… Уже почти шесть часов… Ты можешь не успеть… Ты хочешь, что ли опоздать на автобус?..»

Неожиданно для себя я срываюсь:

— Если вы еще раз скажете про время, автобус и опоздание, я вообще никуда не поеду.

— Что значит не поеду? — изумляется мама. —У тебя же билет куплен!

— Тебе завтра с утра на работу, — как дуре последней объясняет возмущенная сестра.

— Значит, я не пойду на работу. Позвоню и скажу, что меня не будет… Перебьются!

Я не хочу сказать, что после этой истории сны про опоздания прекратились. Но, ей богу, стали гораздо реже.

***

— …в статье вы пишете абсолютно определенно, что в локусах возбуждения «закапсулированы» воспоминания о значимых событиях, возможно, травмирующих, — говорил профессор Окунев своему аспиранту Сойкину. — И «чрезкраниальная электростимуляция привела к их актуализации, что, в свою очередь, простимулировало процессы памяти в целом». Но это же гипотеза, а не доказанный факт. Что мы знаем о «содержании» локусов у тех двух пациентов, к которым вернулась память?

Вопрос был риторическим. Ответ знали оба, но Глеб покорно проговорил:

— Один сказал, что увидел яркий свет и ощутил взрыв. Другой очнулся с рыданиями и ничего рассказывать не стал. Подозреваю, что стимуляция неприятна для пациентов…

И в этот момент у него запиликал телефон.

— Извините, одну минуту, — обратился он к профессору и через некоторое время, отвернувшись, заговорил в свой айфон. — Ну какое-такое предательство, что ты говоришь, я на совещании у профессора… Не забыл я про день рождения… Да понимаю я, что сын.

Глеб отключился и с трудом попал телефоном в карман халата.

Повисла пауза.

— Значит так, — голос профессора вдруг зазвучал решительно, как в старые времена. — Вам нужно срочно ехать домой. Поверьте, коллега, нет ничего важнее дня рождения сына. Сколько ему?

— Семь вроде. Послушайте…

Пётр Матвеевич жестом остановил попытки Сойкина объясниться и подошёл к шкафу. После небольшой заминки (то ли колебался, то ли старческие пальцы плохо слушались) он открыл дверцу и достал небольшой, сантиметров тридцать, макет самолета — какого-то широковатого и не очень красивого. На белой подставке синей загогулиной стояла чья-то роспись.

— Это макет «Бурана» с подписью главного конструктора, — прокомментировал профессор и добавил, не видя понимания на лице Глеба. — «Буран» — это советский космический шаттл. Крутая вещь. Подарите сыну.

— Пётр Матвеевич, не надо, я сам заеду в магазин. Это же ваша память…

— Никакого магазина, срочно домой, — с этими словами Окунев достал из ящика коробку конфет. — Это для жены. Бегом! В конце концов, я ваш начальник.

***

С той истории про автобус и больницу прошло изрядно лет, и умом я понимала, что надо бы этот опыт применить к морским пейзажам и волнам. Проработать проблему, как говорят психологи, и задавить неприятный сон.

Но мысль эта приходила в голову по утрам, когда все суетятся, а днём лишнего времени на обдумывание тоже нет: сын — то учится, то не учится, мы с мужем ссоримся и миримся, я езжу в командировки, а мама периодически попадает в больницу. С сестрой, понятное дело, я обсуждать ничего не буду: после разговоров с ней всегда ощущаю себя дерьмом второго сорта — у неё редкий талант вызывать чувство вины у собеседника.

Или только у меня.

А вот с мамой вполне можно поговорить. Но сначала надо самой всё вспомнить.

Редкие поездки на море в подростковом возрасте и старше можно исключить, сны появились в детстве. Была там одна история с морем, детали которой я помнить не могу — мне тогда было меньше трёх лет. Родители взяли нас сестрой и поехали вместе с друзьями (и их семьями) отдыхать на Чёрное море. По их рассказам, жили мы дикарями в палатках, соседний посёлок назывался Рыбачье. Кстати, прямо там мне исполнилось три года. Память сохранила только одну картинку: я иду по набережной Ялты (туда мы тоже заезжали), с одной стороны — море, с другой — пальмы, а у дяденьки на руках — обезьянка.

— Мам, — завожу я разговор, когда в очередной раз приезжаю в Болотск, — когда мы ездили в Рыбачье, меня волной там не затягивало? Мне периодически снится сон, что меня затягивает волна, накрывает с головой.

— Нет, конечно, — сразу отвечает мама, не отрывая глаз от вязания.

— Ну, может быть, случайно. Ты же сама говорила, что я очень волновалась, когда папа нырял в высокие волны.

— Не такие и высокие, в настоящий шторм никто не нырял, но ты всё равно кричала: «Папа, не ходи, молю, утонис». Очень смешно.

Смешно значит… Может это я на папу насмотрелась, как он ныряет головой под гребни, и сны мне от этого начали сниться? Ребенок был в ужасе, а им, значит, смешно. Но во сне было ощущение, что вода подхватывает меня, заворачивает и тащит…

После этого разговора с мамой сны про волны почти прекратились, приходил этот сон пару раз и сошёл на нет. Значит всё-таки я за папу боялась? Или это просто возраст что-то стирает из памяти.

***

Серые глаза профессора Окунева, уменьшенные толстыми линзами очков, смотрели на аспиранта благожелательно:

— Глеб Константинович, как научный руководитель, я рад вашим успехам. Вы говорили, что представился третий случай для применения нового метода. Но если вы пришли ко мне после работы, значит, есть и сомнения?

— Не то чтобы сомнения, — отвечал Сойкин, — напротив. Вы же сами просили зайти перед операцией…

Тут Глеб Константинович осёкся, понимая, что зря он это сказал. Пожилой профессор, похоже, забыл. Или не забыл, кто его знает, глазки-то блестят. Опять нудить начнёт. И без него понятно, что риск есть.

— Расскажите про случай подробнее, — приготовился слушать Пётр Матвеевич.

— Пациентка Калиткина Ираида Вадимовна, полных лет пятьдесят шесть, поступила в клиническое отделение двадцать пятого марта с нарушением памяти, внимания и речи после тяжело перенесенного COVID — три недели провела на ИВЛ в медикаментозной коме. К нам направлена после того, как фармакологические и физиотерапевтические методы лечения не дали результатов. На самом деле не совсем типичный случай, — слегка оживился Глеб. — С одной стороны, пациентка в состоянии апатии. С другой стороны, иногда реагирует на речевые раздражители. Если просьбу или приказ повторить несколько раз, то может встать и пойти, скажем, в туалет, может сама поесть, если предложат еду (ест и пьет очень мало). Но если оставить в покое, то будет лежать или сидеть почти неподвижно. Близких не узнает. Рисовать, писать, читать отказывается, зато смотрит мультфильмы (родственники принесли телевизор). Подозреваю, что она просто следит за движущимися объектами. Включен звук или нет — значения не имеет. Для близких это как маленький ребенок.

— И что ваши локусы?

— Определили три, но один под вопросом.

— Какой выберете?

— Простимулируем наиболее явный, с максимальным индексом обособленности. Завтра вживляем электрод.

— Ну что ж, успехов. А не боитесь, что в этих локусах скрыты чудовища? Какие-нибудь подавленные паттерны агрессии?

— Пётр Матвеевич, мы же с вами обсуждали. Вероятность того, что при стимуляции изменится личность — есть. Но это можно, в конце концов, скорректировать, если вернется память.

— Ну-ну, воплощенные сны разума, знаете ли... Ничего, кстати, о первых двух пациентах не слышно?

— Нет. В случае осложнений они бы обратились.

***

Ковид подобрался ко мне незаметно, когда царившую эпидемию уже ввели в некие рамки, когда врачи и пациенты уже знали, что делать. Я всего-то на неделю просрочила очередную прививку (неделя — это же статистически не достоверно!), и всего-то час ехала в пригородном автобусе. Зря, конечно!

Водитель попался странный, не хотел включать кондиционер, ругался с пассажирами, в ответ пассажиры все время ели какую-то жареную гадость — без масок, естественно. Через два дня в голове у меня был красный туман, лишенный прочих образов, температура, кашель, всё как полагается. Я боялась, что сейчас всплывут все мои неприятные тревожные сны, но не всплыли. Медленно прокручивались картинки рабочего кабинета, слова и лицо начальницы, таблицы с цифрами на экране монитора...

Видения с работы раздражали неуместностью, но означали, что я сплю, и это хорошо, значит, подействовали жаропонижающие. А вот когда возвращался красный туман и боль во всем теле, значит, опять у меня температура под сорок. Тогда я садилась и уговаривала себя встать и дойти до кухни — съесть хоть что-нибудь и развести в стакане таблетку.

Врач мне выписала больничный до четвертого сентября, то есть через три дня нужно вызвать её снова, но я, похоже, не доживу — сдохну раньше.

Однако не сдохла.

Четвертого числа врач измерила кислород прищепкой на пальце (на каждом пальце — свой уровень кислорода) и выписала направления: на анализы, на КТ, в стационар, хорошо хоть не прямо в морг. Потом куда-то позвонила и велела приехать в больницу сегодня к восьми вечера — компьютерный томограф будет свободен.

— Доктор, понимаете, я никогда раньше так не болела, мне очень плохо! — делюсь я.

— «Никогда так не болела» — это диагноз, — уткнувшись в бумаги, отвечала юная врач, и голубая маска не позволяла понять, шутит она или нет. Она торопилась, у неё ещё много пациентов.

Вечером я собираюсь в больницу и прошу мужа тоже одеть маску. Неожиданно оказалось, что дойти до машины у подъезда — большая проблема. В голове — пусто, тело болит, а ноги не то чтобы тяжелые, а неуправляемые, они живут своей жизнью и всё время пытаются согнуться в коленях. Периодически перед глазами пробегают цепочки, целые линейки из темных точек — в выступлениях больших танцевальных ансамблей бывает такой приём: выстроенные в отдельные линии юноши и девушки перемещаются вдоль сцены то в одну, то в другую сторону, двигаясь параллельно и слаженно. Для меня эти точки перед глазами — сигнал, что надо остановиться и уцепиться за что-нибудь, иначе — упаду.

Ничего, обошлось…

В больнице из кабинета в кабинет меня водит медсестра в белом комбинезоне со швами, заклеенными синим скотчем или просто изолентой. Я хватаю ее за руку, когда подгибаются колени…

Хорошо лежать на каталке КТ. Правда, пятьдесят процентов поражения легких это, наверное, много, но ведь не смертельно. И да, я понимаю, что у меня возраст, лишний вес и гипертония. И да, я согласна на госпитализацию, я всё равно не дойду обратно до машины.

Звоню мужу, чтоб уезжал.

За час пребывания на больничной койке у меня два раза взяли кровь, сняли электрокардиограмму, что-то выспросили и потребовали мочу для анализа, хорошо не прямо сейчас, только баночку оставили. Туалет в палате есть, но до него далеко — нужно пройти мимо двух кроватей.

Только я закрываю глаза, как опять приходит медсестра, теперь уже с капельницей — все тот же белый комбинезон, и я не понимаю, эта та же сестра, что брала кровь, или нет. Впрочем, не важно. Человек женского пола в белом комбинезоне прокалывает вену и опять надевает мне прищепку на палец.

В голове — туман, и нет никаких картинок перед глазами, есть только странные ощущение в теле, которому плохо. Наконец это плохо переходит в простое желание — в туалет, а до него надо дойти.

Я медленно сажусь, потом встаю, опираясь на спинку кровати. Туда уже прилепили бумагу с именем — Калиткина Ираида Вадимовна. Надо же, моя тёзка. Хотя нет, это ведь моя кровать…

Я делаю шаг, но параллельные вереницы блестящих точек вдруг забегали перед глазами. Я знаю, как с этим совладать — остановиться, удержаться и сесть. Но я не успеваю…

Все…

***

Перед операцией Глеб Константинович Сойкин беседовал с родными Ираиды Вадимовны. На разговор пришли муж и сын с невесткой. Из этой троицы за всех говорил сын Калиткиной по имени Павел, по слухам, хороший массажист. Он и до этого приходил почти каждый день.

— …Нет, гарантий здесь быть не может, — объяснял Глеб Константинович. — Метод экспериментальный, дорогой и сложный. В нашем случае платить вы не будете, но нужно подписать бумаги — согласие на участие в исследовании.

— Да ладно, можете не объяснять, — вдруг включился муж пациентки, — главное, есть шанс, что ваша стимуляция вернет ей сознание и память… Так ведь невозможно жить… Она просто овощ. — Муж, Александр Калиткин, привык, что в доме он всегда был на положении ребенка, это его кормят, следят за его одеждой, говорят, что нужно делать по дому, куда ехать на выходные. В глазах читались усталость и недовольство, и это при том, что последний месяц с его женой в реабилитационном центре провела невестка.

«Не знаете вы, что такое овощ, уважаемый», — про себя отметил Сойкин.

Но Павел требовал объяснений:

— Вот у вас написано «в случае неблагоприятного исхода». Что имеется в виду? Эта ваша стимуляция не даст результатов и станет хуже?

— Неблагоприятный исход — это смерть пациента, — довольно жестко ответил Глеб Константинович. — Поймите, мы (под местным наркозом) просверливаем очень тонкое отверстие в черепе. Затем, под контролем рентгенаппарата и специальной рамки вводим электрод в точно определенный участок мозга. А потом запускаем электростимуляцию. Электрод остаётся на какое-то время для повторной процедуры, если вдруг потребуется.

— Вы откуда знаете, что именно надо стимулировать? Можете как-то объяснить?

— Хорошо. Нужный участок мозга мы определили заранее. Я вам уже рассказывал, что в мозгу есть лимбическая система — структуры мозга, которые отвечают за поведение, за эмоциональную мотивацию. Внутри этой системы иногда образуются замкнутые контуры из нейронов или локусы, где циркулирует возбуждение. Их положение вычисляет искусственный интеллект на основе анализа энцефалографии и функциональной томографии. Что именно хранится в этих локусах, мы не знаем. Но с большой долей вероятности там находятся воспоминания о чем-то значимом: может, профессиональные знания, может, последствия психологической травмы. Электростимуляция «включает» эти воспоминания и действует на всю систему памяти, провоцирует осознание происходящего.

— А что было в локусах у тех пациентов, к которым вернулась память и речь?

— Один сказал, что увидел свет и ощутил взрыв. Другой ничего рассказывать не стал. Возможно, было что-то личное и неприятное.

Беседу прервал телефонный звонок. Павел ответил, и громкий женский голос из телефона услышали все:

— Паша, врач что сказал? Что они собираются делать?

— Электростимуляцию каких-то локусов в головном мозге. Это может помочь вернуть маму в нормальное состояние.

— Каких таких локусов?! Они, что ли, дырку в голове делать будут? Вы сдурели там?! Немедленно отказывайтесь! Её надо перевезти в Москву, здесь по крайней мере можно найти специалистов.

— Тетя Эмма, всё нормально. Это клинический институт мозга, здесь хорошие врачи.

— Какие такие врачи в Трубинске?!

— Тетя Эмма, хотите поговорить с доктором? Он рядом, я дам ему трубку.

— Нет, конечно, я же никого не знаю… — голос стал значительно тише.

— Тетя Эмма, мне сейчас неудобно говорить, я позвоню позже.

— Извините, — обратился Павел к Глебу Константиновичу. — Это сестра Ираиды Вадимовны — моя тётя, она тоже переживает. Мы сейчас подпишем необходимые документы.

***

Время остановилось, его не было, нет и не будет, но оно что-то делает с телом — руки и ноги смотрят на меня, они что-то хотят, но помалкивают. И глаз у них нет, не может быть у них глаз. Глаза — это дырки вовнутрь, они есть только на голове. Голове сейчас очень приятно — ее гладят, чем-то скребут и убирают жесткие волосы, которые мешают. Всегда мешают, потому что растут прямо в голову. Голове свободно и легко, на ней закрепляют корону. Зачем мне корона? но это не больно. Добрые руки гладят по плечу, и можно расслабиться в мягком кресле…

Неожиданно перед глазами вспыхивает свет, и южное солнце заливает пространство вокруг…

***

— Стимуляция.
— Есть активность!
— Вроде получается…
…
— Давление падает! Пена!
— Нитроглицерин!
— Реаниматологи где?
…
— Падает давление!
— Отек.
— Кислород! Твою мать…
…
— ИВЛ подключайте! Через трахею!
— Пульс?
— Нет пульса…
…
— Время смерти 12.15.
…
— Глеб, ничего нельзя было сделать!

***

Сказать, что Глеб Константинович Сойкин был расстроен — ничего не сказать, хотя со смерти пациентки Калиткиной прошло уже два дня. И её было жалко, но, как говорится, у каждого врача своё кладбище. А если бы он выбрал другой локус?..

Он сидел у профессора Окунева в кабинете, и тот участливо подливал ему в рюмку коньяк, в институте никого уже не было, оба молчали, и только Глеб вёл внутренний диалог.

Он вспомнил, как сообщал родственникам о смерти, как объяснял, что при отеке в легких накапливается жидкость, газообмен становится невозможен, смерть наступает от недостатка кислорода. Это называется мгновенный или взрывной отёк. На сына пациентки он старался не смотреть. «А что вызвало отек легких?» — всё-таки задал Павел единственный вопрос. «Мы точно не знаем. Но не инфаркт и не аллергия. Извините, метод экспериментальный. Реаниматологи включились сразу, но сделать ничего не удалось, после ковида рабочий объем легких у неё сильно уменьшился».

Муж пациентки не выглядел убитым, но, кто его знает, за этими масками ничего не видно. С родственниками скорее повезло, они вообще больше ничего не сказали, развернулись и ушли. Да о чём говорить? Они сами подписали согласие на операцию и информирование о рисках…

Но вот методика…

А ведь всё шло по плану у этой Калиткиной, после стимуляции активность в коре начала распространяться. И заключение от патологоанатома — странное. Легкие пациентки практически залиты транссудатом. Можно подумать, что эта Калиткина утонула, а в лёгких — морская вода.

Внутренний Глебов разговор прервал Пётр Матвеевич:

— Коллега, вы же понимаете, с методикой придётся повременить.

— Но почему?! Здесь явно какая-то индивидуальная реакция. Стимуляция не могла вызвать отёк лёгких. Это чудовищное совпадение. Не было никаких предпосылок со стороны сердца. И вообще ни с какой. А если ещё в двадцати случаях всё будет хорошо? И мы лишаем людей возможности вернуть память и активизировать сознание?

— Глеб Константинович, не спешите, просто возьмите паузу. Как, кстати, ваш сын?

«Понятно, переключает на другую тему… — отметил Глеб. — И пожалуйста, я тоже могу играть в эти игры».

— Нормально. Кстати, еще раз спасибо за «Буран». Димка очень доволен, жена купила книгу про космические аппараты, и мы вместе с сыном читаем. Он всем рассказывает, что у него рабочая модель шаттла и настоящая подпись самого главного конструктора. А вы этого конструктора откуда знаете? — Глеб таки переключился.

— Да был один момент в девяностые, — уклончиво ответил профессор. — А вы, коллега, съездите куда-нибудь на море. Отдохните. Диссертация у вас практически готова.…

***

… Неожиданно перед глазами вспыхивает свет, и южное солнце заливает пространство вокруг. Я сижу, вытянув ноги, на мокром песке лицом к берегу, и небольшие волны слегка накатывают сзади, наполняя трусы теплой водой. Я вижу неширокий песчаный пляж. Немного в стороне, в тени обрывистого берега, мама, папа, дядя Коля и тётя Оля о чём-то говорят и смеются.

С берега на пляж спускается сын дяди Коли — высокий и тонкий Славик. Он совсем большой, он старше мой сестры.

Хорошо, что он пришёл, с ним можно играть, если не видит Эмка. Она не любит, когда Славик играет со мной, но сейчас сестра стоит с родителями. Я погружаю ладони в песок и смотрю, как при накате волны песчинки над руками поднимаются и закручиваются в прозрачной воде.

Вдруг прямо передо глазами появляется большое и круглое лицо Эммы. Из-под панамки на меня смотрят ее гигантские чёрные глаза. Она что-то говорит, а я не могу разобрать слов. Это плохо! Сейчас она начнёт очень больно щипаться!

— Вставай, выходи из воды. Мама сказала.

Сестра улыбается, может, даже не будет щипаться.

— Давай руку!

Она пытается вытащить мою руку из песка, но я вырываюсь.

— Ты чего? Мама сказала выходить, а то сгоришь, дура!

Старшая сестра возвышается надо мной, как скала, ее освещает солнце, и я торопливо завожу руки назад.

— Ух ты, большая волна идет! —говорит она, глядя на море.

Я, сидя, пытаюсь обернуться, но теряю равновесие и падаю на спину. Надо мной медленно вырастает волна в полнеба, ее пенистый край закручивается и с высоты падает на меня — голова сразу оказывается под водой. Меня закручивает внутри волны, рот и нос наполняются водой и песком...

Я вся наполняюсь водой и песком…

Теплой солёной водой…

***

Пётр Матвеевич с удовольствием прошелся от института до дома: в городе зацвели липы, их запах перебивал и бензиновые выхлопы машин, и отдающие серой заводские дымы. Со своей Леночкой он начал беседовать ещё по дороге — мысленно, конечно, не вслух. Хотя, что ему переживать? Он, в определённом смысле, вполне сумасшедший профессор, может и вслух говорить. Более того, на улице народ часто громко беседует, типа сам с собой, а в действительности по телефону.

Квартира встретила его тишиной и порядком. Организовать быт в наше время не сложно — раз в три дня курьер приносит готовую еду, раз в неделю приходит уборщица.

Ты понимаешь, Леночка, — продолжал профессор на кухне уже в полный голос, — этот Глеб оказался не так прост, не совсем пропащий юноша. Похож на нас с тобой в молодости, только с поправкой на всякие новшества типа искусственного интеллекта. С этим ИИ вообще беда! Получается, что человек создал искусственный интеллект по образу и подобию своему, для изучения интеллекта, создавшего ИИ. Нонсенс!

Но я не о том. Ты представляешь, Глеб решился провести опыт на себе с полной выкладкой: ему сверлят дырочку в черепе и в нужное место вживляют электрод, я тебе рассказывал, как это делают, при эпилепсии, например. Он вообще какой-то другой из Сочи приехал.

Конечно, Леночка, это опасно, но запретить я не могу. Завтра всё это будет. Завтра… Он вообще считает, что я ничего не знаю.

Пойми, на мне этот опыт провести никак нельзя, нет у меня этих чертовых локусов, которые ИИ вычисляет. Глебка три раза проверял. А как было бы славно, если б обнаружился у меня изолированный такой очажок возбуждения — локус, а в нем ты, в лучах рассвета, как тогда весной. А еще лучше, чтобы ты мне снилась.

Приснись, пожалуйста…

Вот скажи на милость, почему в мозгу не капсулируются кусочки счастья, не превращаются в зачатки снов, чтоб по ночам утешать влюбленных?

Леночка…

Галина Шубникова

Слова неговоримые...

***

Колет лицо и кусается снежная взвесь,
Лист запоздалый поймаю почти на бегу.
За мной вырастает безмолвный лес.
Вытащить слово смогу, — сберегу.
Нет, не достать. Молчание вяжет язык —
Не достается ни звука, ни капли воды…
Осенью день из горящей листвы возник,
Только слова заковал во льды.

***

Заглядываешь в зиму — вечность длится,
По снегу тени бродят до рассвета.
В груди забьётся одинокой птицей,
Но не найдётся ни на что ответа.
Там холод забирает чьи-то души,
И холодно звучат слова пустые,
И наступает зимнее удушье.
Впервые...

***

Впервые всё:
Слова, и снег, и холод.
Во всём слова —
В руках не удержу…
И тает звук, томителен и долог —
Подобен миражу.

Галина Шубникова — родилась в Советске Кировской области. Выпускница литературных курсов Челябинского государственного института культуры. Автор поэтических книг «Я о любви не говорила много лет» (2019), «Нарисую стихи листопадом» (2020), «Морозное яблоко» (2021). Стихи публиковались в журналах: «Нижний Новгород», «Причал» (Ярославль), «Ротонда» (Киров), «Новый Ренессанс» (Германия), в коллективных сборниках и альманахах.

***

Когда слова пусты и без прикрас,
Когда черны, неистовы, нелепы, —
Рассветом обожглась и отреклась,
Незрима истина, и мы блуждаем, слепы.
Ищу я сердцем верные слова —
Ни взглядом, ни душою не отрину.
Я понимаю, истина — права.
И длится жизнь во взрослом сыне.

***

Робкое слово вдруг зародилось во мне
И замолчало. Круги по воде, по воде.
Словно испугано в вечной своей новизне —
Не утонуть, не пропасть в говорливой орде.
Если дыхание вдруг затаится в ночи,
Слово из капли холодной воды прорастёт,
Светом прольётся, что будет едва различим, —
Светом незримых свобод.

***

Возьму слова, что бог открыл во мне,
Возьму их для тепла и для согрева.
И даже если истина в вине,
Не гневай небо, говорю, не гневай.
Не выброс слово мусором на снег,
Ему нужна и сила, и опора.
И будет бег, тот бесконечный бег —
Среди словесного земного сора.

***

Не исчезай, —
Просила молча я.
Земля и небо,
Всё, что между ними…
Слова, слова, слова —
Не говоримы.
Не говоримы
Никогда и никому.
И воздух плотен
Вечными словами.
Молчанием звучание приму.
Стихами.

***

Говоришь слово,
Оно превращается в звук
И растворяется в гуле, тишине, вечности.
Возвращается
Иным словом.

***

Печальнее слова
Нет ничего на свете.
Всё перемолото
Теми, кто тщетен.
Печалью взрастает мост
Между теми и теми,
Бедой в человеческий рост.
Мы немы.
Мы немы. Мы немы. Мы немы —
От слова рожденья до смерти.
Или безучастно внемлем
Инертно.
Становимся тенью слова,
Его безучастной тенью…

***

Мелькает лес —
Стволы, стволы, стволы.
Что между ними —
Пустота иль вечность?
Я разгляжу
Среди звенящей полумглы
Всей жизни скоротечность.
Там свет уходит в землю,
Обретя
Деревьев форму,
Слова или тела.
И плачет, будто малое дитя,
Когда стемнело.

***

Верни мне звёзды,
Сердце освети,
Когда под ноги
Падают закаты.
Когда слова
То немы, то пусты,
Когда виною вечной
Виновата.
Верни тепло,
Звучащее в груди,
Когда слова —
То дождь, то зной, то холод.
И просто взглядом
Мимолетным награди…
Путь без любви
Мучителен и долог.

Саша Николаенко

Сберкнижка для ежа

Истории о том, какие мы все трусы друг за друга

— Медведь, а ты куда?
— Я на минутку, ёжик.
— А долго ждать тебя?
— Всегда.

О справедливости всего

Несказка для Володи

«Я вот что думаю, медведь…» — сказал однажды ёжик и начал думать вслух, чтоб медвежонок слышал мысли (чтоб кто-нибудь твои услышал мысли, их нужно думать вслух или по радио сказать, в учебник написать, в Лесной газете, а чтоб твоей никто не слышал мысли, ее надежней промолчать).

— Несправедливо это всё…
— Что «всё»? — спросил медведь.
— Да всё вообще.
— Ну… это относительно кого.
— Вот именно, медведь! Большие маленьких едят, а защищать должны!
— Ну, просто есть хотят, вот и едят.
— Едят… но я же не еда!
— Для них — еда.
— Вот в том-то всё и дело, медвежонок! Что я для них не человек, то есть не ёжик, а обед…
— Ну, я тебя не ем.
— Не ешь, потому что я твой друг, а Лис бы съел, и Волк бы съел.
— Я, может, потому и больше их, — сказал задумчиво медведь, — чтобы они тебя не съели?
— Но если б не было тебя, то съели бы!
— Я, может, потому и есть, — сказал медведь.

Дождались

— Медведь, там дождь...
— Я вижу, ёжик, ничего, закончится, пройдёт...

Саша Николаенко — писатель и художник. Окончила Московскую художественно-промышленную академию имени С.Г. Строганова. Автор книг «Убить Бобрыкина: история одного убийства», «Небесный почтальон Федя Булкин», «Муравьиный бог: реквием». Лауреат литературной премии «Русский Букер» (2017), премии им. Эрнеста Хемингуэя, премии журнала «Новый мир», литературной премии «Ясная Поляна» (2023). Печаталась в журналах «Знамя», «Новый мир», «Новый свет», «Сибирские огни», «Урал», «Этажи», «Юность», «Дружба народов». Живет в Москве.

— Вот именно пройдёт, закончится, медведь! Медведь, ты понял? Понимаешь?!
— Что?
— Как что, медведь? Сегодня же четверг!
— Четверг, и что?
— Четверг и дождь...
— Четверг и дождь, и что?
— Как это что?! Сбылось, медведь, мы дождались!
— Чего мы дождались?
— Великий день! Сегодня после дождичка в четверг настанет…

Как перелетные летяги

Еще весна, сугроб седеет! Видали вы? Уже совсем седой, а завтра все забудут про него! Совсем забудут вьюги и метели, навсегда! До следующих вьюг.

Еще весна, еще она, еще отряхивает капли с крыш: кап-кап на нос! И нет счастливей слез, когда сосульки тают, и веселей весеннего ручья что может быть, пока еще сирень не зацвела, тем более пионы, любимые цветы, они еще не начались! Всё — впереди! Но после-то, потом… Опять зима?

— Ну, да…
— Давай, Медвед, когда закончится вот это лето, пойдем туда, куда оно уйдет? Как перелетные Летяги, которых дом, где им теплей?
— Как перелетные, не выйдет.
— Почему?!
— Летяги-то летят, а мы идем. Тогда придется, ёжик, выходить уже сейчас.
— Чего чичас? Совсем чичас?
— Ну да.
— Чичас кулечек соберу!

Медвед вздохнул, а ёжик собираться побежал, кулечек сдернул с бельевой веревки, с кулечком быстро-быстро пробежал к крыльцу и вдруг остановился, обернулся, огляделся и спросил:

— И всю весну тогда пропустим?
— Да.
— И лето!?

Медвед молчал. А ежик опустил кулек на травку и навсегда остался здесь.

1 октября

В день рождения друга

В лесу шел дождь. Без грома, не вприпрыжку, не проливной и не грибной, на радость только лужам, лягушки даже мерзли в нем. Не во вчера с позавчера, он шел в сейчас, и шел совсем не так, как ходит он весной, не так, как летом. Дождь шел осенний, серый, тихий, грустный, уставший дождь, такой, что даже из окошка зябко за Медведа. Медвед, туман, туман, опять Медвед, какой-то весь на ежика большого и промокшего похож, Медвед, а из Медведа пар. Дождь замерзал и превращался сам в колючки, колючки снежные себя. Дождь плакал, плакал о былом, о радости своей весенней, о сладости греметь, обрушившись потопом на поля — поить и поднимать раскат зеленых трав…. «Эх-ма… — подумал ежик, — колючий дождь», — подумал он, «а осень — вредная привычка лета. Особенно ноябрь», — подумал он. Ужасно длинный день, совсем короткий, и от темна и до темна в окне светает, только чтобы ты увидел, как грустно, как печально все… Увидел, убедился: всё лето кончилось, вся впереди зима, такие холода, такие вьюги,

такие месяцы сугробов и метель, заметены следы, следы дома и крыши, в окне узор, похожий на перо хрустальной птицы ледяной, и от дыханья на узоре полынья, а в ней такие белые, такие синие искрящие раскаты, пустыни снега, холода, такие темные до первого сосульного капельного дождя…

«Эх-ма…» — опять подумал ёжик. «К плохому не привыкнуть, нет, никак. Так хочется, чтоб побыстрее лето… А-а-апчхи! — такой бездонный грустный дождь, прощальный…» Приходится прощаться с летом, да? Но ведь не навсегда? А-а-пчхи! — чихнул Медвед. Медвед вошел, с ним вплыл туман и запах горький листьев. Ну как вы там, вареньем запаслись? Теперь терпеньем запастись…

Вошел Медвед, затопал там, снимая дождевик…

— Медвед, я не согласен, что зима…

— Хе-хе… — сказал Медвед.

Никто не спрашивал меня…

— Привыкнуть бы пора. «Не первый год зима», — сказал Медвед.

— Я не могу, я не привыкну никогда! К хорошему привыкнуть можно, да! С плохим бороться нужно…

— Хе-хе… — опять сказал Медвед.

С зимой война у печки. И если ничего нельзя поделать, что же делать? Только ждать, когда…

Когда закончится она…

Вечный ёжик

Сказка для Серёжи

«А я когда умру, то стану Страшным волком или Хитрым лисом, чтоб больше не бояться их... Ну, или им? — подумал Зёжик, посмотрев туда, где медвежонок у малины грядки поливал. — Да, или им, ведь жизнь, она зачем? Она затем, чтоб выбирать, кем хочешь стать потом, умрёшь и скажешь там: я буду...

— Зёжик!

— А?

— Малину будешь?

— Буду!

...Я буду навсегда, и медвежонок тоже. То он, чтоб я, то я, чтоб он, тут важно, чтобы вместе. Тогда умру и там скажу, что мне неважно кем, я даже ёжиком опять согласен, мне только нужно, чтоб с медведем или с ежом, но не с каким-нибудь другим, а только с ним...

Несправедливый лес

— Ну, всё, Медвед, я не хочу, я не могу так больше жить...

— Как «так»?

— Несправедливый лес! Несправедливый день! Несправедливый год... Вся жизнь, Медвед, несправедлива!!! Все шишки с ёлок на меня, ни одного съедобного гриба, большие маленьких едят... Несправедливо!

— А если маленькие будут есть больших, то справедливо?

— Да!

— А ты уверен?

— Да! — ответил ёжик, потом насупился, потом остановился и спросил:

— А что?

Медвед пожал плечами. Зёжик замолчал, и стало слышно, как шумит над ними большой несправедливый лес, и ёлки сбрасывают шишки на всякого, кто мимо них ползёт, бежит, идёт: на грибника, на ёжика, на волка; и солнце светит странно: одно на всех, одно для всех.

Кто пишет эту книгу

— Медведь, чего поделываешь здесь?

Медвед молчал.

— Медвед!

Молчал.

— МЕДВЕД, Я ГОВОРЮ: ЧЕГО ПОДЕЛЫВАЕШЬ ЗДЕСЬ???!!

— Читаю, ёжик, сам не видишь?

— А я не потому тебя спросил, что сам не вижу, а потому тебя спросил, что ты не видишь никого, когда читаешь сам...

Медвед молчал. Сердито.

— Она о чем? Медвед, о чем она?

— О всём...

— О всём? О нашем лесе, да? О нас? О страшном волке, хитром лисе, о медведе, обо мне? О лете, о зиме, о дождике, о речке… и о несправедливости всего? Совсем как есть?

— Почти.

— А в ней написано, что будет?

— Не совсем...

— И неизвестно тоже в ней, чего потом?

— Ну... да.

— Тогда вставай скорей, пойдём узнаем сами, что будет дальше с нами, чем сейчас...

Медведь вздохнул и посмотрел на ёжика, на небо, на проливные в небе облака, на сад.

На лес, написанный не нами. На книгу, что мы пишем вместе и никогда не дочитаем до конца.

Как посмотреть

7 марта 2026 года. В день рождения мамы

Катилось солнце на закат, кончался день из тех, каких не будет больше никогда, неповторимый, безвозвратный день счастливый, из тех, которые проходят навсегда, не возвращаются обратно, а только снова настают. А плохо это или хорошо? — как посмотреть. Как посмотреть на лес родной, он добрый или злой? — такой-сякой, опасный лес, колючий лес, любимый... любимый навсегда, родной.

А ёжик всё вздыхал, бубнил, сгибал на лапках коготки и разгибал, считал чего-то... Опять вздыхал, сопел и даже всхлипнул...

— Ёжик, ты чего?

— Так, ничего, не важно... — Ёжик замолчал, опять чего-то подсчитал и вдруг спросил:

— Медвед, ты помнишь, завтра день рождения у меня...

— Конечно, помню.

— И ты, наверное, подарок приготовил мне...

— Наверно.

— И тесто замешал для пирога с малиной, да?

— Возможно.

— Медведь, давай его отменим, а?

— Кого? Пирог?

— Нет, день рождения! ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!!!

— Почему!?

— Ну, просто... я тут подсчитал, так получается, Медвед, что с каждым днём рождения жизнь короче....

— Или, наоборот, длинней. «Как посмотреть», — сказал медведь.

Плюс двадцать пять надежды

Ну всё, ты видишь календарь? Восьмое марта!!!! Прощай, суровый снежный лес, непроходимый зимний лес, где ни тропинки, ни пруда, ни птички! Я говорил, что рано лапы опускать и рано лапы поднимать, нельзя сдаваться, нужно верить, ждать! И вот! — Мы ждали-ждали, дождались! Мы жили-жили, дожились! Зима прошла! Весна пришла, капель, ручьи и лужи! Медведь, проснись! Медведь, вставай, медведь смотри на календарь! Медведь, пора! Давай же, говорю, из шубы зимней вылезай, линяй скорее!!!!

— Там, ёжик, минус двадцать пять...

Ну да, там минус двадцать пять. Плюс двадцать пять надежды.

Весна пришла

— Медведь, ко мне! Медведь, на помощь!!!!

— Что случилось?

— Там кто-то есть, медведь, залез в сугроб и дышит, слышишь?

— Нет.

— Шуршит... шевелится, медведь...

— Да нет там никого, там просто грядка.

— Смотри, следы... Огромные следы...

— Следы мои.

— А вор по ним прошёл, залез в сугроб и поджидает, чтоб напасть внезапно... Давай скорей его откапывай, медведь!

Медведь вздохнул и взял лопату... Снег отлетал, искрился, снег сверкал...

— Вот видишь? Я же говорил! Зеленомыши!

На месте прежнего сугроба из-под земли торчали маленькие хвостики травы...

«Весна пришла», — сказал медведь.

Надежда

Весна пришла!..

Топило солнце льды, крушило и вершило! Река вдруг выгнулась, приподнялась и, выгнувшись вскипела и сразу вышла из себя, лес стал как островки, по полю плавали напуганные щуки, в корнях берез метались окуньки, мелькали бабочки, сползались-расползались сонные шмели, эвакуировались зайцы, лисы, волки, справляли белки новоселье в верхних этажах дубов… Медвед на плот «спасательной калитки» продукты от потопа собирал… Спасались все! — А ёжик на крыльце стоял, на берегу ступеньки, смотрел наверх, на козырёк крыльца, и думал: «Куда сосулька упадёт, когда сосулька упаде…?» — И вдруг взлетел, подхваченный потопом, зажмурился от ужаса, свернулся, умер и очутился на плоту…

Открыл глаза. Сосулька рухнула, разбилась в сотни искр, веселых брызг, осколков… «Так красиво!» — И медленно ушла на дно крыльца…

— Ты что, медведь, совсем с ума сошел?! Поддался панике, как все? Забыл, что люди… (то есть звери) тонут как раз тогда, когда ОНИ, КАК ВСЕ!?

— Какие все? Нет, это ты с ума сошел! — взревел медведь. — Стоять и ждать, когда сосулька упадет! Ты идиот!!!!!

— Я ждал «куда», а не «когда»…

— Ты хуже идиота!

— Ты ничего не понимаешь, всё испортил, всё!

Медведь молчал и, хмуро и дыша свирепо, лопатой оттолкнулся от крыльца, направив плот к полянке… к полянки берегам далеким, но все же видимым еще…

Но все же видимым еще.

Великий день

Вода не убывала, казалось, в мире стало море, океан воды, нет, мир воды, в нём кто не рыба, и не белка, и не птица, не спастись...

«Как хорошо, что есть калитка, — думал ёжик... — Как хорошо, что есть медведь...»

Калитка скрипнула, прошла между стволов, качнулась. Там, впереди, Холм Справедливости Лесной... (верней, его вершина) — зелёный флаг и памятник вождю. На островке Холма сидел промокший волк, заледеневший лис и Аец... его жена, его сестра и три Айчёнка. Медведь калитку вел вперед — до берега Надежды становилось ближе, ближе...

— Медведь, куда ты? Тормози! Там Айцы...

Медведь вздохнул:

— Они не влезут, ёжик.

— Влезут! Они же маленькие все...

— А волк и лис?

— А их спасать не будем!

— Если спасать, то всех, — сказал медведь.

«Если спасть, то всех?» — по справедливости лесной не так! Спасаются, кто могут! Те, кто спасён, спасают тех, которые друзья, а волк и лис враги народа! Они, все те, кто раньше ели тех, кого сейчас спасти возможность есть...

Медведь цепочку прикрутил к берёзе, сказал: «Спасаться будем так: сначала айцев отвезем, потом за вами приплывем. Отдайте флаг». Отдали флаг и айцев. Калитка плавала весь день, пока не скрылся под водой Холм Справедливости Лесной и памятник её вождю. Врагу народа.

На берегу Надежды у костра под флагом новой справедливости лесной сидели волк и лис, все Айцы, ёжик и медведь…

На день один, великий день, был мир между народов.

Свободомыслие внутри

Спасённые сидели у костра довольно дружно, но ёжик с Айцами поближе сел к медведю, подальше (сами понимаете кого). И ёжик всё молчал, молчал, сопел сердито и вдруг сказал, верней, спросил (у сами понимаете кого):

— Мы вас спасли, а вы бы нас?

Лис облизнулся.

«Ёжик, помолчи», — сказал медведь.

— Не буду я молчать! Вот тоже мне свободомыслие внутри! Сказать нельзя, но думать можно! Свободомыслие внутри, внутри меня, а значит, заперто от всех на все замки! Сиди, глубокомысленно молчи под общим флагом, сиди и молча возражай, когда тебя пинают, кивай, не соглашаясь на пинки... Внутри свобода? Я так не хочу! Имею право говорить, что думаю внутри! А ты, Медвед?! Спасаешь их, спасаешь нас, а видел, как сейчас смотрел на Айца лис? А волк, ты думаешь, наелся сухарями? Моими, между прочим, я сушил...Ты отвернешься, он же съест его!

«Не отвернусь», — сказал медведь.

Одна иголка на сосну

— Медвед, а государство это кто?

— А государство это лес.

— А я?

— А ты в лесу живёшь.

— Но я не государство?

— Нет, ёжик, ты его процент.

— А это сколько силы?

— Одна иголка на сосну.
— Я ничего не значу, да? И сделать не могу...
— Ну почему? Ты можешь чай попить с вареньем.
— Но я хочу всё изменить в родном лесу к добру! Хочу иголкой быть, которая хоть что-нибудь для леса значит! ...
«Ты значишь, ёжик, для меня», — сказал медведь.
А ветер тряс сосну, и падали иголки, и шишки падали, и сосны новые росли, медведи, ежики и волки.

Праздник на нашей улице

На нашей улице салют! Торжественный парад зверей счастливых! Зверей, довольных каждым днём, уверенно смотрящих в будущий день! И благодарно в прошлый...
— Медведь, ты слышишь, музыка, салют! Пошли скорей на праздник!
— Нет, лучше дома посидим.
— С ума сошёл? Отсиживаться дома, когда на нашей улице салют?
— Ты знаешь, ёжик, в честь кого...
— Чего «кого»?
— Ну, в честь кого салют?
— Какая разница, медведь, там шарики и яблоки бесплатные дают!!!
— В честь волка.
— В честь волка праздничный салют?! Не может быть!
«Да нет, случается, поверь», — сказал медведь.

Анабиоз надежды

Был поздний час осеннего заката, когда промокшее заплаканное лето уже с утра шуршит иголками дождя, и лапы, только выйди на крыльцо, такие мокрые, что так и хочется втянуть обратно, втянуть в себя, себя втянуть домой, калачиком свернуться и уснуть, и пережить, проспать зимы приход, её торжественное ледяное и незыблемое право существовать, торжествовать над миром, над всем, над всеми, своей холодной, неподвластной лапам, носу, торжественной смертельной красотой.
Анабиоз надежды, спячка, темнота, ни огонька, ни лапы, ни души...
— Медведь, ты здесь?
Медведь вздохнул.
— Ты дверь закрыл на три щелчка?
— Закрыл.
— Глаза закрыл?
— Закрыл.
— Чего там видишь?
— Лето...
«Я тоже вижу лето, — думал ёжик, — странно, как это может быть? Ведь я глаза закрыл… Оно внутри?» — Оно внутри.
Анабиоз любви, анабиоз добра, анабиоз надежды, всех этих летних ливней и цветов, жуков и пчёл, поющих птиц, счастливых лиц, закатов и восходов в потоке сна, в потопе снежном, в безбрежном океане зимней мглы, уснуть и видеть сны о прошлом лете, и так добраться до весны.

Большая разница

«Еще немного, и дойдем, мы же вдвоем, не пропадём, ну или пропадем вдвоем, так все же понадежней, — думал ежик, — надежней вместе пропадать, вдвоем, уцепишься в медведя, и даже если падать будешь в пропасть навсегда, то вместе с ним. Надежней точно… или нет? Но если вместе упадем, то кто меня из пропасти достанет? Кому кричать тогда наверх: «Мед-

вед, я здесь! Спаси! Достань меня отсюда?!» — Нет, это не подходит, точно нет, пусть лучше, чтобы падал я один, а он потом меня достал, я упаду, я провалюсь, тогда есть шанс, хоть маленький, зато огромный — выжить…»

Скатилось солнце в дальний лес, сгустилась темнота, кусты зашевелились, похожие на страшный сон, лесной кошмар, свои, колючие, кусачие, родные…

— Медвед? А это точно наш родной любимый лес, уверен ты?

— Ну да…

— И мы в нем заблудились?!

— Да.

— Но мы же знаем в нем все ёлки наизусть, всех страшных во́лков, хитрых лисов…

«Ну… просто елки подросли», — сказал Медвед.

— Медвед, смотри, тропинка!

— Нет, ежик, это не тропинка, а тропа, к тому же волчья…

— Зато как здорово протоптана она, и што, что не тропинка, а тропа, и што, что волчая она? Какая разница, медведь, они же все ведут из чащи!

— Не все, — сказал медведь и, прейдя тропу, раздвинул чащу…

«А может, мы еще немного, и дойдем? И так, вдвоем, не пропадем, не упадем, найдем домой тропинку, домой в наш лес родной, спокойный, тихий, мирный, прежний лес… вот только так тропинок много, все перепутаны они, ведут неведомо куда…»

— Медвед, тропинки нужно подписать!

— Потом подпишем. Днем.

— Смотри, здесь от орешка шапочка лежит, ведь это я орешек ел, медведь… Медвед, мы здесь уже ходили! Смотри, твои следы, мои следы, ну да… Мы что, пришли туда, откуда шли?!

— Похоже…

— И что теперь?!

— Иди спокойно ежик.

— А я спокоен, я СПОКОЕН! Знаешь, почему?!

— Ну, почему?

— Да потому, Медвед, что это ты же виноват, что мы … что мы здесь потерялись! И я спокоен потому, что хоть, по крайней мере, буду знать, кого винить, когда меня съедят!

— Кого?

— Тебя!

— А не того, кто съест тебя?

— А не того!

«Никто тебя не съест, пока здесь я», — сказал медведь.

Луна чертила линии меж сосен, блуждала по стволам, сияла в звездной глубине, ей было видно всех и всё, она могла бы, как фонарь, тропинку к дому указать, но тоже не могла, луна ползла своей тропинкой.

«Мы потерялись, потерялись, потерялись, нам конец, а я ведь говорил, не надо в эту чащу лезть, я говори…»

— Не потерялись, заблудились.

— Какая разница медведь?!

— Мы заблудились, да, но мы не потерялись.

— В смысле?!

«Иди сюда, балда», — вздохнул Медвед.

И там, на дне медвежьего кармана, в привычной темноте, пропахшей пылью, шерстью, мятой, табаком, вдыхая запах дома и веточку малинную грызя, сопя, идя неведомо куда в кармане у Медведа, ежик думал: «Кто все же виноват, что елки подросли, что не подписаны тропинки, что волчьи тропы только широки, куда они ведут, и правда ли, что если погибать, то лучше вместе, и кто спасет нас всех от нас самих…»

Пятое кольцо

«БЕГИТЕ, ЗВЕРИ! ЗВЕРЬ ИДЕТ!» — по небу пронеслось на крыльях птичьих высотное тревожное «чирик!» — из тех частот, что каждый узнает, хотя не слышал прежде никогда… «БЕДА!» … На всех широтах жизни, на верхних, нижних и подземных леса этажах, и стало тихо так, как никогда, молчания секунда на раздумья… «СПАСАЙТЕСЬ, ЗВЕРЬ ИДЕТ! БЕГИТЕ…» — откликнулось внизу на все лады всеобщим ужасом лесным, кротиным, беличьим, мышиным и шумом тех деревьев, тех ветвей и крон, что навсегда корнями с лесом, где посеялись, вросли… Куда спасаться им? Их некому спасти, им некуда бежать…

...Бежали звери, белки, волки, лисы, зайцы, схватив своих зайчат, лисят, волчат, ежат, летели птицы, и только муравьи метались возле муравейников своих, зачем-то строем приносили веточки, как бревна, чтоб укрепить свою беспомощную перед ЗВЕРЕМ веру в незыблемость ЗЕМЛИ и в подзащитность дома и детей, в заботу и защиту от того, кто шел их истреблять.

ЭВАКУАЦИЯ! БЕДА! ВТОРЖЕНИЕ! ЗВЕРЬ ИДЕТ!

«Но мы же верили, что лес несокрушим…» — шептались возле вмятых норок мышки… ЛЕС СОКРУШИМ! — кричало эхо… ЛЕС СОКРУШИМ, А ЗВЕРЬ НЕСОКРУШИМ!

По лесу полз, ломая сосны и круша, вытаптывая и взрывая норки, домики, дома, НЕСОКРУШИМЫЙ ЗВЕРЬ, испепеляя, истребляя всех, не выбирая, не деля зверей на зайцев, белок, лис, волков, на нужных и ненужных… Неведомый зверям, иной породы ЗВЕРЬ, железный. Хрипел, вдыхая бабочек, шмелей, взгрызая ямы, и хоботом мотал, вгрызался в землю, грыз, отбрасывал назад, мышат, кротят, ежат, весь лес, РОДНОЙ ЛЮБИМЫЙ ЛЕС, ломая крылья, лапы, ноги … ломая всё, вгрызался и сгрызал…

А ежик…?

Ежик вдруг спросил медведя: «Медвед, а почему кричат «Бегите!» вместо того, чтобы кричать «спасайте лес… спасайте лес, вставайте, звери… вставай, родной любимый лес, гони ЕГО отсюда… «ВСТАВАЙТЕ, ЗВЕРИ! ЗВЕРЬ ИДЕТ!» Ведь если ты, ведь если я, ведь если мы все вместе встанем на него, мы сокрушим его, медведь! Давай кричать: ВСТАВАЙТЕ, ЗВЕРИ!

— Здесь, ежик, больше некому кричать.

ЗВЕРЬ приближался через дым, сквозь лязг, ложились штабелями этажи лесные, и ЗВЕРЬ царил над всем лесным, над всем живым…

— Медведь, Медвед, ну ты же царь зверей, скажи ему, скажи ему, уходит пусть!

— Он, ежик, не уйдет…

— Он что, тебя сильней?

— Сильней.

— Тогда глаза закрой…

— Зачем?

— Да потому, что ЗВЕРЬ тогда исчезнет! Я проверял, всё исчезает, если…

«Зло не исчезнет, ежик, если на него глаза закрыть», — сказал медведь.

Но ежик все равно закрыл глаза, зажмурился и думал: «Как я хочу, чтоб он исчез, чтоб ЗВЕРЬ исчез, чтоб зло исчезло...»

Но вместо зверя исчез родной, любимый лес, на месте леса вырос лес бетонный, торговый центр «Светлые просторы» и пятое дорожное кольцо.

Ромашка имени надежды

Сказка для Л.Ю.

«И это все?! Такой плохой конец? Я для того читал, верней, писал, верней… мы для того с тобой, Медвед, писали эту книжку, чтоб узнать, что ЗВЕРЬ непобедим?»

— Но это правда, ёжик.
— Нет!
— Открой глаза и посмотри.
— Медведь, в твоем кармане, что открывай глаза, что их не открывай, всегда темно.
— Ну, вылези на лапу.
— Не хочу.
— Не хочешь правде посмотреть в глаза?
— Нет, не хочу смотреть в глаза НЕПРАВДЕ!
— Реальность, ёжик, такова…
— НЕ ТАКОВА!
— Вот вылезешь на лапу и увидишь…
— НЕ УВИЖУ!
— А я сказал тебе уже, иди сюда! — сказал медведь и вынул ежика из темноты кармана на свет всепобеждающего зла, чтобы увидел ёжик глупый, сумасшедший, слепой и маленький чудак, совсем дурак, блаженный идиот, который не желал признать победу зла за правду, и видеть не желал, как плохо всё, как окончательно, как безнадежно плохо всё…
— СМОТРИ! ВЗРОСЛЕЙ! ПРОЗРЕЙ!
— Медведь, смотри, ромашка…
— Нет!
— Я говорю, ромашка, посмотри, сам посмотри, ромашка, правда же, медведь…

Медведь открыл глаза (ведь он сидел с закрытыми глазами с тех самых пор, как на его глазах погиб родной любимый лес, он так сидел, совсем седой и пыльный, еще живой, но точно выжженный внутри, решив не открывать глаза до самый смерти, но только потому, что тоже видеть не хотел, что всё погибло… всё…)

— Открой глаза, смотри, медведь!

Медведь открыл глаза: бетон, асфальт, железные машины и каменные радуги-мосты, лес пережившие прожорливые крысы, шакалы, волки в заячьих и овечьих шкурах, ни суслика, ни белки, ни сурка, ни муравья… закрыл глаза.

— Медведь, рома…
— ЗАМОЛЧИ! — взревел медведь и сжал кулак огромный. (Ёжик пискнул.) — ВСЁ, Я СКАЗАЛ! ВСЁ КОНЧЕНО! МОЛЧИ! Молчи! Молчи…

Но ежик нос из кулака просунул… просунул нос, поджал иголки, вылез, по лапе вниз прополз, принюхался с открытыми глазами, закрыл глаза, принюхался еще, открыл и повторил:

«Ромашка… посмотри, и пахнет точно так же… медведь, ромашка победила…»

Приподняла асфальт, бетон пробила, расправила живые лепестки непобедимая неведомая сила, ромашка имени надежды, последняя и первая ромашка на земле…

Богдан Бейк

Лилия и пепел

***

Я здесь люблю,
И здесь я умираю.
Но, умирая, там люблю,
А здесь — всего лишь умираю.

***

Своя у всего тишина:
Тишина знойного дня,
Тишина свежего снега,
Тишина зимнего леса, чье имя черно.

Тишина светлячков,
Тишина высокой травы,
Тишина ночного гостя,
Тишина, когда ты плачешь, плачешь, плачешь,
жалея выпавшего из гнезда стрижа.

Тишина тебя, тебя, тебя,
когда приходишь —
Тишина не своя.

***

Ночь тихо блестела:
Нас правильно видеть учила,
Пах месяц хвоей и медью,
А флоксы сердцем больным.
Вместе мы выдыхали
Вещество долгих прощаний
Над пространством железным,
Мы были собою, мы стали другим.

Богдан Бейк — поэт, писатель. Печатался в журнале «Урал». Родился и живет в Екатеринбурге.

***

Отсутствие любой звезды среди радиопомех,
но: является этот язык, другой,
не твой и не мой — немой,
но — язык.
Язык, когда на ощупь,
язык, когда никто не прочтет,
похожий на лилии,
молитвеющий,
не прекратит ничто
наш со-дальний,
о,
при-ближенный нам.

Весна, лето, осень, зима

*

Твой голос мое горло щекочет,
Коротки
Засловесные встречи наши.

*

Обратно — домой.
Поговорим руками о розе,
О том, как сердце назад все было иначе.

*

Закончился снег,
Щурится солнцу кошка.
Теплые запахи.

*

Каждому белому свой уход и возвращение.
Новое-новое небо. Слова: быть может.
Куранта.

***

в пространстве
между выдохом и вдохом
я все еще ли человек
……
жгут листья
первый снег
и весь ты сердце
и холод
т а и н с т в о

***

Когда весна отпустит твои руки,
Отступит смерть в свои владения
На предрассветное мгновение,
Ты перестанешь сниться мне,
Когда весна отпустит твои руки.

Когда весна отпустит твои руки,
Исчезнет всякий звук, в лазури растворившись.
Опустит ангел темный зрак, замрет движение его огня,
Но — не потеряет камень каменность себя,
Когда весна отпустит твои руки.

Когда весна отпустит твои руки,
Здесь утвердится жизнь, что расцветет внутри
Заянтаревшей плоти мертвецов всем смехом брызг
Разбитого гвоздями солнца. Но лишь на миг —
Когда весна отпустит твои руки.

***

Расстужена зима, да
Тебе предстою, да
Слезы тверды, да
Тело терпит любовь, да
Ждет прикосновения

Твоей Пустоты —

только ужас причинить
возвращение
способен

***

среди ночи
темное зеркало

не-сон

отчего

до провала
подать рукой

белеет в пепельнице
встреченный взгляд

Борис Телков

Бедный Налай

Рассказ

Налай сидел на поваленной пальме на берегу моря, колупал пальцем кору дерева и ждал. Он сюда приходил каждый день и смотрел туда, где вода касалась неба.

Ожидание стало его обычным времяпровождением.

Налай ждал, когда в небе над морем соберутся тучи, вода станет серой и тяжелой, как и небо, и тогда две взбесившиеся стихии соединятся в единую страшную, разрушительную силу и пойдут на остров. Никто из жителей острова в Океании не только не ждал прихода этого урагана, но и до дрожи боялся его. Один лишь Налай молил духов воды и неба, чтобы над островом взметнулись волны, как голодные дикие звери, и жадно поглотили этот клочок земли с пальмами и жалкими людишками.

И вот когда оставшиеся в живых обитатели острова собьются на самом высоком месте в трясущуюся, как медуза, стаю, из зловещей тьмы в сиянии молний появится огромная лодка, а в ней будет тот, кого вот уже несколько лет ждет Налай, — большой Белый человек. Он обязательно приплывет и тогда ответит за все несчастья, что принес Налаю. Немолодой, но еще достаточно крепкий туземец в состоянии отомстить ему…

***

Налай уже несколько раз встречался с Белым человеком, и всякий раз тот бесцеремонно и равнодушно изменял его жизнь.

Первый раз Налай встретился с ним, когда был еще настолько мал, что с трудом поднимал кокосовый орех…

Мальчик проснулся ночью от страшного грохота. Остров терзал шквальный ветер, который не только собирал хижины в кучу, но и вырывал пальмы с корнем. Родители Налая, схватив малыша в охапку, спрятались под таким упавшим деревом. Сверху на них с треском падали еще пальмы, и семья оказалась как в шалаше. Счастливчикам казалось, что духи смилостивились над ними и решили подарить им жизнь. Возможно, так они и спаслись бы от урагана, если бы остров не начало захлестывать высокими волнами. Семье пришлось покинуть свое убежище и устремиться с остальными аборигенами к скале, куда они приносили свои жертвы духам.

Когда спасительная суша уменьшилась настолько, что мужчины взяли на руки своих маленьких детей, чтобы откатывающиеся назад волны не утащили их за собой, вот тогда и показалась огромная лодка.

Туземцы возликовали и стали кричать, боясь, что лодка проплывет мимо. Но она направлялась прямо к ним…

Борис Телков — член Союза писателей России. Автор более тридцати книг. Лауреат нескольких всероссийских литературных премий. В настоящее время редактор журнала «МАКАР». Живет в Нижнем Тагиле.

Хозяином лодки оказался белый великан — трем туземцам надо было забраться друг на друга, чтобы коснуться его косматой головы. Спаситель ловко подгреб к несчастным и, свесившись через борт, могучей рукой отловил всех и, как щенят, забросил в лодку. Некоторые островитяне при этом норовили лизнуть его руку, признав в белом человеке духа моря. К своей работе спасателя великан относился очень дотошно — он долго крутился вокруг исчезнувшего острова, боясь оставить в бушующих волнах хоть одного пострадавшего.

Убедившись, что за бортом никого не осталось, Белый человек, довольный уловом, оглядел островитян. Даже спустя столько лет Налай хорошо помнил, что спаситель хотел потрепать его по кучерявой голове, но мать испугалась, что гигант своей ручищей ненароком сломает малышу хлипкую шею, и не позволила ему это сделать. Хмыкнув, Белый человек вывалил перед туземцами несколько корзин с фруктами и поставил бочонок воды. Накормив островитян, он установил парус, и лодка куда-то полетела.

После трудов праведных лодочник решил позволить себе вполне заслуженный отдых. Он громадой завалился на корме и, подложив под голову руки, вскоре заснул. Из его открытого рта, похожего на пропасть, вырывался такой храп, что заглушал раскаты грома.

Спасенные туземцы, прижавшись друг к другу, испуганно переглядывались меж собой. Куда он их везет? Сначала они были рады своему спасению, а теперь встревожились. Они слышали, что белые люди могут быть очень жестоки к туземцам и делать с ними все, что захотят.

К вечеру лодка привезла их к другому острову, тоже полузатопленному водой, и Белый человек также отловил оставшихся в живых. На следующий день они обплыли еще несколько терпящих бедствие островов и также спасали людей. Лодка набилась до отказа.

Не убирая паруса, Белый человек приналег на весла, но все же судно плыло медленно. Чтобы помочь себе, он запел какую-то разудалую песню, от которой туземцы в ужасе слиплись в тесный комок, как кусочки глины. Они не напрашивались помочь в гребле лодочнику: во-первых, никому из них не под силу было поднять весло, с этим справились бы разве что три-четыре островитянина, а во-вторых, они не знали, куда он их везет, поэтому особо не спешили, а поглядывали в ту сторону, где, по их мнению, находился родной остров.

***

Через несколько дней болтанки в беспокойном море лодка пристала к высокому каменистому острову. Такому морская стихия была нестрашна. Белый человек вицей погнал туземцев, как овец, по узкой тропинке на гору. Он привел их в просторную пещеру и развел им огонь, чтобы согрелись. Завалив выход из пещеры камнем, сдвинуть который с места было не под силу и нескольким туземцам, Белый человек куда-то ушел — островитяне слушали удаляющийся хруст веток и хрумканье камней под его могучими ногами.

Когда Белый человек откупорил пещеру, были уже сумерки. Он поднес туземцам корзину с плодами, а сам взялся разделывать ножом, похожим на меч, косулю. Нанизав ее на жердь, он подвесил тушу над огнем. Когда мясо поджарилось, великан оторвал косуле заднюю ногу, а остальное отдал своим пленникам.

Ел он жадно. Островитяне с ужасом смотрели, как кости косули толщиной с руку хрустели на его зубах, словно это были птичьи ножки.

Поев, Белый человек закрыл вход в пещеру глыбой, и вскоре пленники услышали храп, от которого в горы ссыпались мелкие камушки.

Так прошло несколько дней. Море все еще штормило, перекатывание камней по его дну, как недовольный ропот подводных демонов, и удары волн о берег слышались даже в пещере.

Все это время Белый человек лежал у входа в пещеру и отлучался только для того, чтобы добыть еду. Когда ему становилось скучно, он выхватывал кого-нибудь из пленников и забавлялся с ним, как ребенок с игрушкой. То ставил на камень перед собой и любовался им, а то, усадив на ладонь, начинал подбрасывать несчастного вверх, хохоча так, что с горы осыпались камни. Возвращался туземец в стаю в обморочном состоянии. Но больше всего пленники боялись, когда Белый человек начинал изучать части их тела, тыча в них пальцем и вертя в разные стороны. В глазах чудовища были восторг и детское удивление. Казалось, еще немного и он оторвет им руку или голову или захочет посмотреть, что у них внутри. К счастью, такого ни разу не случилось…

Когда туземцы уже не сомневались, что попали в рабство, Белый человек неожиданно выгнал их из смрадной пещеры.

Ярко светило солнце, море было спокойно и лишь иногда при легком ветерке ластилось о берег мелкими волнами. Оно словно извинялось за свое буйство и теперь хотело показать людям, что оно может быть добрым и нежным.

Белый человек вновь усадил туземцев обратно в лодку и куда-то повез. Пленники уже ничего не понимали и готовились к худшему. Благостная погода их не радовала.

Каково же было счастье, когда они вновь увидели первый остров! Туземцы, которые проживали на нем, едва узнали его — морские водоросли висели лохмотьями на обломках пальм, хижин не было вообще… Но все же это была родная земля, дом!

Когда подплыли к острову, Белый человек опустил весла и оглядел своих пассажиров. Взгляд его был сосредоточен, губы шевелились, словно он что-то проговаривал про себя или считал. Наконец он, приняв какое-то решение, побросал, как рыбешку, в мелководье с десятка два туземцев и поплыл дальше…

Это было так неожиданно, что туземцы не сразу поняли, что произошло.

Всего несколько человек возликовали, оказавшись на берегу, остальные что-то закричали вслед уходящей лодке, а кто-то даже поплыл за ней — не все туземцы хотели остаться на острове...

Дело в том, что для большей части выброшенных в воду это был чужой остров, более того, на лодке остались члены их семей. Как узнал Налай позже, оставшихся в лодке Белый человек развез по другим, дальним островам и также, не церемонясь, побросал их в прибрежные воды.

По-своему человек-громада был добр. Он спас туземцев и после бури вернул их на острова. Причем старался, чтобы на острова попало равное количество туземцев — мужчин, женщин, детей. Возможно, если бы Белый человек знал язык аборигенов, он прислушался к их мольбам, и не было бы столько горя, а так он просто исполнил неведомо кем наложенную на него миссию — не оставить острова без людей…

***

Спасенным туземцам ничего не оставалось, как начинать новую жизнь.

Время брало свое, и мужчины начинали приглядываться к другим женщинам. Выбор и тех и других был невелик, поэтому пары сходились быстро. Женщины отвечали взаимностью, потому что выжить одной было очень тяжело. Приходилось заново строить хижину, ежедневно добывать пищу.

Тяжелее всего было детям и старикам, они были никому не нужны, если по чистой случайности среди островитян не оказывались их родственники, знакомые или просто добрые люди...

Налай не был везунчиком. Белый человек увез его родителей на неведомый остров, а среди тех, с кем ему предстояло жить на одной земле, не было ни одного знакомого человека. И он прибился к старику, такому же

беспомощному, как он сам. Общими усилиями они кое-как построили себе крохотную хижину. Целыми днями старый и малый бродили по берегу моря в надежде найти что-нибудь съестное из того, что выбросило волнами на сушу. В джунглях они собирали только жуков и личинок бабочек, потому как с более крупной добычей им было не совладать.

Время шло, Налай быстро подрастал, научился ловить рыбу на мелководье, мастерить и ставить капканы на птиц. Построил хижину, более просторную и не такую дырявую. Старик уже не ходил с Налаем на промыслы, и подросток кормил и ухаживал за ним до самой его смерти.

Настал день, когда мужчины стали общаться с Налаем как с равным. По законам своего племени он уже мог взять себе жену, но на острове не было ни одной его сверстницы. Те девочки, что родились здесь, едва научились ходить, предстояло подождать еще не менее пяти весен, чтобы можно отправиться с подарками к их родителям.

Налай не отчаивался. Он выбрал из подрастающих крох самую привлекательную по имени Сасси и каждый день старался увидеть ее, чтобы порадоваться ее расцвету и убедиться, что никто посторонний не положил на нее глаз. Молодой человек, как садовник, наблюдал за ростом посаженного им с любовью прекрасного растения. А как радовался он, когда стал замечать, что у Сасси на совсем еще недавно плоской груди стали проявляться два остроконечных холмика!.. Бедра ее также округлились, и сзади ее уже нельзя было спутать с мальчиком.

Сасси заметила ухаживание крепкого парня и отнеслась к этому благосклонно. Налай был завидным женихом на острове. С одной стороны, он на самом деле был хорош, а с другой стороны — выбирать особо было не из кого. На острове, несмотря на все любовные старания туземных пар, населения было немного.

И вот наступило время, когда молодые остались вдвоем и впервые потерлись друг о друга носами. У Налая помутилось сознание, он не удержался и по-животному обнюхал всю Сасси. Он погрузил нос в низ ее живота, в намечающиеся заросли курчавых, как и на голове, волос, и с жадностью и упоением втянул в себя запах ее лона. Молодой человек все глубже и глубже просовывал нос меж сжатых ног, и ему казалось, что он ничего прекраснее не нюхал за всю свою жизнь…

Родители Сасси, люди небогатые, были не против такого жениха, тем более что он принес за нее целую корзину рыбы. А своей невесте он подарил несколько ожерелий из нанизанных на пальмовую нить вкусных жирных жуков.

Сасси перебралась в хижину Налая, и они целыми днями наслаждались друг другом, а устав, валялись на циновке. Налай, положив голову на колени юной жене, блаженно жмурился на солнце, а в это время тонкие пальчики Сасси ловко ерошили его густые волосы в поисках вшей. Молодые были безмятежно счастливы.

Когда Налай уходил на охоту, Сасси сворачивалась, как змейка, у входа в хижину на циновке и ждала его…

***

Налай готовился стать отцом, когда злые духи позавидовали ему и вновь наслали на остров ураган…

История повторилась. Если после первого наводнения Налай потерял родителей, то после второго — Сасси с поселившимся в ее животе ребенком.

Вновь выброшенный на неведомый остров безжалостной рукой Белого человека, Налай, можно сказать, потерял все…

Он много раз вспоминал тот ужасный день, когда, подхватив на руки беспомощную Сасси, убегал от подступающей воды. О-о, лучше бы они утонули вместе! Где она сейчас? На каком острове?

На новом острове Налай первым делом построил себе не хижину, как остальные спасенные, а пирогу. Он отправился в море наугад в поисках Сасси, но, проплыв несколько дней, изможденный, поклеванный чайками, вернулся назад, кое-как найдя остров среди ненавистных, сверкающих на солнце водных просторов.

Налай готов был утонуть, он не хотел жить без Сасси, но от смерти его удержало появившееся безумное желание убить Белого человека. Это придало ему силы жить дальше…

Его план был прост. Самое сложное в нем — дожить до того дня, когда на остров вновь обрушится ураган и из ниоткуда, из рокочущих волн, ливня и молний, появится его враг — Белый человек.

Налай придумал несколько способов, как покончить с этим громилой. Можно воткнуть ему в живот — туземцу выше не дотянуться! — маленькое копье, острие которого он пропитает ядом мохнатого паука. Орудие убийства можно легко спрятать в травяную повязку на бедрах. Конечно, можно утопить Белого человека, пробив острым камнем дно лодки, когда он, везя спасенных островитян на каменный остров, на некоторое время заснет на корме. Этот способ нравился Налаю меньше всего: во-первых, громила может услышать стук камня о дно, а во-вторых, в этом случае вместе со злодеем утонут и все спасенные. Кстати, они же могут и помешать Налаю совершить задуманное. Был еще и третий способ убить Белого человека: бросить ему в голову камень, когда он привезет туземцев на остров. Налай не очень верил в это — тот камень, который сможет завалить его врага, ему просто не поднять.

И все же Налай готовился и обдумывал все три способа убийства Белого человека. Острый камень и отравленное копье, которое он время от времени обмакивал в яд, уже несколько лет лежали наготове под циновкой в хижине, а наводнения все не было. Налай с досадой замечал, что стареет и уже не так силен, как ранее…

Женщины, которые раньше рассматривали его как жениха, постепенно теряли к нему интерес. Они уже не виляли бедрами перед его хижиной и не норовили прилечь рядом с ним на циновку.

***

Как ни ждал Налай урагана, как ни всматривался в море, ни принюхивался, подобно голодной обезьяне, к воздуху, пропахшему гниющими водорослями, он все же пропустил начало стихии…

Изможденный вечным бдением и надломленный подступающей старостью, он едва успел забрать свое оружие и добежать вместе с остальными туземцами до середины острова. Если бегущие рядом островитяне кричали в ужасе, хватались друг за друга, то Налай испытывал волнение и радость. Час расплаты пробил, и это настолько вдохновляло туземца, что он вновь ощутил себя молодым и сильным, как в ту ночь, когда бежал с Сасси от надвигающейся стихии.

Остров уже почти весь затопило, но Белый человек не появлялся. Туземцы, стоя на коленях, молили небеса, чтобы они простили их и успокоились.

Радость сменилась отчаянием. Налай не боялся умереть, он боялся покинуть сей мир раньше, чем убьет Белого человека. Появился еще и другой страх: а вдруг Белый человек давно уже умер сам по себе?

И вот наконец-то из темноты, разрываемой голубыми вспышками молний, показалась знакомая гигантская лодка… Странно, но Белый человек ничуть не изменился, как будто был вечен или у больших людей текло другое, более тягучее время. Он прибыл на остров с некоторым опозданием, потому что в лодке уже было полно туземцев с других островов.

И Белый человек, как всегда, принялся выдергивать из воды островитян и забрасывать в лодку. Налай нащупал свой дротик и стал ждать, когда руки Белого человека дотянутся до него, и тогда он нанесет удар. И в самый ре-

шающий момент он вдруг испытал что-то вроде сомнения в правильности своего решения, какое-то короткое замешательство. Ведь если он убьет Белого человека, то все островитяне погибнут. А это родители с детьми, влюбленные парочки…

Сомнения сыграли роковую роль. Налай пропустил удобный момент для удара, рука его дрогнула, и дротик скользнул мимо туловища Белого человека и упал куда-то в море. Его враг даже не понял, что был на волосок от гибели, и продолжал спасать людей.

Так Налай вновь оказался в знакомой лодке. Он был в отчаянии и решил, что все равно накажет Белого человека. Это несправедливо и жестоко разлучать влюбленных. Они должны жить или умереть вместе. Только вместе.

Когда Белый человек устал грести и прилег отдохнуть тут же за веслами, Налай осторожно, чтобы не привлечь внимания своего врага и не пугать островитян, колупал днище лодки. Но днище лодки оказалось таким толстым, срубленным из твердого дерево, что камень Налая раскрошился раньше, чем в днище появилась маленькая лунка.

Вся надежда была теперь на схватку на острове. Но и тут Налаю не повезло, он на самом деле был неудачником… Белый человек так и не приблизился к нему настолько, чтобы старый туземец смог ударить его камнем, а добросить его до врага он не мог — слишком тот был тяжел.

И вновь Налай плывет в лодке на неведомый ему остров. Ему хочется заснуть и никогда не просыпаться. Духи дали ему понять, что они против того, чтобы он убивал Белого человека. Ему все равно, на какой остров его забросят, хоть в воду, — он ехал умирать. Лишь бы побыстрее все это кончилось…

У первого же острова Налай не стал дожидаться, когда его коснется ненавистная рука Белого человека, и сам выпрыгнул в мелководье. Белому человеку самовольство аборигена не понравилось — это нарушило его расчет, сколько людей он должен высадить на острове. Он на некоторое время задумался: догнать нерадивца и забросить в лодку или оставить в ней одного из толпы предполагаемых жителей острова. Великан, как видно, тоже устал и выбрал второе. Одному из старых туземцев предстояло поселиться на следующем острове.

Был поздний вечер. Туземцы — те, кому посчастливилось найти своих родственников или знакомых на острове, разбрелись в поисках еды и веток, из которых можно построить хижину. Одиночки остались на берегу и громко причитали.

Налай уже пережил все эти страдания. Это была ненужная, не интересная ему суета и душевная маета. Женские завывания мешали ему готовиться к смерти, и он отошел подальше, чтобы лечь за высокий валун и на время забыться.

Светила яркая бесчувственная луна, а за камнем было темно. Налай лег на прохладный песок и вдруг через некоторое время почувствовал, что здесь он не один. Кто-то рядом не то сопел, не то скулил.

Налай, кряхтя, поднялся, чтобы уйти, но напоследок не удержался и глянул на того, кто помешал ему наслаждаться одиночеством.

Из-за темноты человека было не рассмотреть, ясно, что он лежал, поджав колени к груди и обхватив их руками. Странно, но эта поза была ему хорошо знакома.

— Сасси? — спросил, а вернее, подумал Налай, потому как в горле мгновенно пересохло.

Незнакомец поднял голову. Теперь луна смогла осветить его.

Это была Сасси, худая, с морщинистым лицом, но все же такая родная.

Налай рухнул перед ней на колени.

«Хорошо, что я не убил Белого человека…» — подумал Налай, осторожно убирая с ее щек и носа прилипший мокрый песок…

ДЕТСКАЯ

Авторы рассказов — финалисты литературной премии «Глаголица» — двуязычного международного литературного конкурса для детей и подростков от 10 до 17 лет, пишущих на русском и татарском языках. Конкурс направлен на поддержку юных писателей. Рассказы Ярославы и Кирилла были отобраны из нескольких сотен работ, присланных на конкурс, и обратили на себя внимание жюри. Несмотря на то, что авторы ещё совсем юные, тему для рассказов они выбрали очень серьёзную — Вторую мировую войну.

Наталия ВОЛКОВА, член жюри премии «Глаголица»

Ярослава Воробьева

Летавицы[1]

Обстреливают нас уже третий день. С самого раннего утра и до поздней ночи. Над головой свистят снаряды; разбиваясь о землю, грохочут. Сидим уже который день в промерзшем окопе и ничего не можем сделать, орудие наше подорвали давно, ещё на той неделе, ещё и вдобавок наших артиллеристов. Их было жалко. Совсем ещё мальчишки, а один, который снаряды подносил, умел играть на балалайке такие красивые вещи, что все забывали про войну и смерть вокруг. Снаряд громыхнул совсем близко, и я вжался спиной в стенку окопа сильнее, чувствуя через шинель её неровности и холод.

Обхватив руками, словно первенца, жму к груди винтовку. Пальцы вцепились в дуло и приклад; кажется, что больше не разожмутся. Оно мне и не нужно, хотя если умру здесь, так пусть все, когда найдут, хотя бы считают, что я сражался до конца и погиб героем.

Небо, несмотря ни на что, казалось сегодня на удивление светлым и безоблачным. Оно живёт своей жизнью. Даже природа подстроилась под

Ярослава Воробьева (2008) — учится в областной специализированной школе-лицее для детей, одаренных в области математики, физики и информатики. Пишет прозу преимущественно на военную тему. Участница литературного конкурса «Глаголица». Победительница нескольких областных олимпиад и конкурсов по истории. Участница международного конкурса по роботехнике First Robotics. Живет на востоке Казахстана, в Усть-Каменогорске, городе, куда в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы промышленные предприятия, продолжающие работать и сегодня.

[1]Летавица — персонаж, встречающийся в славянской мифологии, попадающий на Землю в виде метеорита или падающей звезды. После падения он превращается в прекрасную девушку (реже — в юношу) с длинными желтыми волосами. Отличительным признаком летавицы является ее обувь — красные сапожки, наделяющие способностью летать. Летавица появляется только ночью и исчезает с наступлением утра. Тот, кто сможет каким-либо образом снять с нее сапожки, станет повелителем этого существа.

нас, людей, а небо — нет. Светила луна и улыбалась нам всем: мне, усталому и голодному, напуганному и одинокому в своих мыслях, другим нашим и даже фрицам, которые тратят эту ночь, обстреливая наш несчастный окоп, вместо того чтобы, задрав голову, смотреть на небо. Всё же как это красиво, даже звёзд сегодня необычайно много. Они блестят и мерцают, как красивые жемчужины на мамкином ожерелье.

Мамка. Родная и теплая. Как она там? Сеструха помогает по хозяйству? Или уже убежала на фронт добровольцем? Не знаю, писем из дома давно нет, то ли не доходят, то ли не пишут. Нет, это пустые мысли. Пишут, конечно, пишут, просто, наверное, самолёт с фронтовыми письмами сбили, и всё. Живы они. И мать, и сеструха. Сейчас наверняка мать пироги печёт с толстым завернутым краешком, они у нее всегда получались похожими на большие вареники с картошкой. Картошка… Вот бы сейчас молоденькую, испечённую в углях, с обгорелой кожицей и привкусом золы.

В животе урчит и как-то неприятно сводит. Я морщусь, и с ресниц спадает тонкий слой инея, освобождая место для нового. Мамаша всегда говорила, что я в отца пошёл: такой же высокий, с длинными ресницами; говорила, что девки будут толпой виться подле меня, — а не успели, забрали на фронт. Да и до этого я думать о девушках не думал — в школу же ходил, пионером был. Старался учиться на одни пятёрки, не получалось, конечно, но я старался. Старшим помогал, в колхозе мамке.

А теперь какой от этого толк? От этих пятёрок — красных пятен в тетрадях, от ночей, проведенных над учебниками. Все умрём одинаково. И с пятёрками, и без них. Замерзнем, как гипсовые статуи, сжимая винтовку или пачку карт, — и пионеры, и ветераны Первой мировой, все, как один, останемся здесь. Зато за Родину. Зато за Сталина. Хотя бы бабушки вспомнят, которым я помогал.

С неба падает звёздочка, совсем маленькая, но яркая — такая яркая, что слепит глаза. Я улыбаюсь ей. Губы обветренные лопаются, на них выступает теплая кровь. Я слизываю её, наслаждаясь теплом. Загадываю желание. К мамке хочу, очень, помоги, звёздочка, отсюда выбраться, и я сразу к мамке пойду. Если надо — под шальную пулю ногу подставлю, но поеду домой. Жить хочу, звёздочка, очень, я же ещё молодой, мне даже девятнадцати нет.

Наверное, она мне улыбнулась или подмигнула, перед тем как исчезнуть за тонкой полоской еловых макушек. Снова все замерло — возможно, фрицы все же заметили эту красоту и решили дать нам передохнуть.

Остальные звёзды, словно заскучав о маленькой, потянулись за нею вниз, окрашивая небо белёсыми полосками от своих заострённых хвостиков. Мелькали, мелькали, застилая собой все чёрное полотно неба. Казалось, что вся темнота отступила.

От такого зрелища я задержал дыхание, смотрел на небо широко распахнутыми глазами и не мог оторваться. Думаю, все остальные тоже сейчас смотрят наверх. Интересно, успевают загадать желание? А несколько? Ну, до того как звезды скроются за горизонтом. Иначе нельзя, желание не сбудется. Я вот не загадываю — одно загадал, и хватит, на остальные звёзды пусть товарищи себе сами загадают что-нибудь. У многих невесты, у некоторых даже дети малёхие есть.

Потом свет звезд медленно угасает, и всё становится как прежде, сказка закончилась, и мы снова здесь, на войне. Повисает минута тишины. Потом ещё. И ещё. И так почти десять минут. На пятнадцатой решаем отступать в лес, там больше шансов спрятаться: можно укрыться за тяжёлыми ветвями ёлок и их вековыми стволами.

Увязаем в сугробах — не только я, рядом наш седой старшина вязнет почти по колено, но шагает, пробивая нам дорогу вперёд. Мы плетёмся,

как пугала, выпотрошенные изнутри, пустые и усталые. Никто не ноет и не хнычет, все и без того знают, как плохо и холодно прямо сейчас.

Останавливаемся на какой-то поляне в глубине леса, скрытой от других плотными зарослями. Валимся в середине, как мешки с картошкой, друг на друга, откидывая вещмешки в сторону и прячась в поднятые воротники шинелей. Снова не двигаемся, замираем, слушаем хриплое дыхание друг друга. Кто-то закуривает.

В темноте начинает мерцать красная звёздочка, постоянно дрожа и извиваясь. Интересно, те падающие с неба звёзды нас услышали? Наверное, нет, потому что снова начинают обстреливать наш окоп, правда, теперь уже пустой, с брошенными ящиками из-под патронов и зажженной керосинкой в блиндаже.

Я почти засыпаю. Хотя знаю, что вот так спать на морозе нельзя: во сне всегда тепло, можно не заметить, как замёрзнешь насмерть. Сквозь тонкую пелену дремоты я начинаю слышать голоса и тихий смех. Это звучит так несуразно, что пару минут я лежу неподвижно, принимая незнакомые голоса за часть сна. Потом понимаю, что под боком никого нет, хотя я точно помнил, что там был Лёшка Сухарев — светловолосый высоченный детина в шинели не по размеру.

Открываю глаза и моргаю пару раз, пытаясь скинуть остатки сна. Вижу только ноги ниже колен. Вот наши — в солдатских сапогах, а вот другие — тонкие, аккуратные и босые. Девичьи.

Я приподнимаю голову выше, стараясь не хрипеть от гулкой боли, которая растекается по замерзшему телу. Над босыми ногами трепещет подол белоснежного платья или рубахи, расшитой понизу красными нитками. Узоры витиеватые, сложные: вот медведь, а вот волк с распахнутой пастью бежит за зайцем.

Сажусь и рассеянно осматриваюсь, пытаясь убедить себя, что это сон — хороший, красивый сон, полный простоволосых девочек в свободных белых рубашках. Они стоят вокруг наших ребят; по одной, иногда даже по двое на одного. Первая мысль — что это деревенские девчонки. Они часто к нам прибегали, иногда даже приносили еду и теплые вещи, которые сами же и связали. Мотаю головой — нет: до ближайшей деревни почти пять километров, ещё и мороз, они бы не дошли в такой лёгкой одёжке. Да и стреляют немцы нещадно, вряд ли кто-то бы вылез из погребов — чтобы что? Чтобы поздороваться с нами? Пожелать удачи? Перекрестить? Бред…

Хотя почти в каждой деревне нас обступает толпа детей — все маленькие не по возрасту, растрёпанные, в каких-то оборванных рубашках, и все разом спрашивают одно и то же. А ты знаешь… — и имя. А ты знаешь… — и имя с фамилией.

Я всегда неловко качал головой, мол, нет — не знаю. Первое время даже эти имена запоминать пытался, записывал на обрывках газет и держал в грудном кармане, думал, если когда-нибудь встречу этого солдата — передам весточку. А потом перестал.

Слишком много детей, братьев и сестёр, слишком много имен и странных примет, настолько, что в какой-то момент я стал забывать лицо собственной матери. Тогда, помню, разозлился, отругал сам себя и перестал слушать детей. Улыбался им, качал головой, но больше не слушал.

Отрывает меня от мыслей пара белых стройных ножек. Я поднимаю глаза вверх, с ужасом понимая невозможность ситуации. На меня смотрит девчонка, хмурая и бледнющая как снег. Она протягивает мне что-то в ладонях, сложенных лодочкой. Я протянул свои руки в ответ только спустя пару секунд, показавшихся мне слишком долгими под острым взглядом серых глаз.

На ладони падает что-то мягкое, упругое и едва тёплое. Еда. Откуда? Неважно, главное, что еда.

Подношу ладони к лицу, прижимаю их к губам, но не ем — вдыхаю сладкий запах. Ягоды. Чуть приоткрываю рот, продолговатый плод падает на язык, и я тут же смыкаю губы, отодвигая ладони от лица. Раскусываю ягоду и почти всхлипываю от знакомого вкуса. Вкуса детства, лета и мамкиных поцелуев в щёки. Жимолость.

Странно — она кажется свежей — откуда взялась посреди зимы? Из погреба? Вряд ли, ягода тогда была бы замёрзшей и высохшей — а эта совсем свежая, словно только-только сорвали с куста.

Я открываю рот, всё ещё полный вкуса ягоды, и хочу что-то сказать — даже не придумал что, просто хочется, чтобы внимание от хмурой девицы никуда не испарялось, но не успеваю — она отворачивается и лёгкой поступью шагает вперёд.

Медленно поднимаюсь со снега. Хоть ещё и шатает из стороны в сторону, но почему-то уже не так холодно, словно что-то внутри греет меня. Стараюсь не сжимать слишком сильно кулак с ягодами — хочу сохранить на подольше, растянуть удовольствие; утром костер разожжём, там чай будет, и я с ним доем остаток.

Девицы заводят песню, незнакомую мне и, кажется, другим тоже; но все улыбаются — даже наш раненый Колька сидит и лыбится, как блаженный, белобрысой девчонке перед собой, а она берёт его за ладони и тянет к себе. И он встаёт. Колька, которого мы уже почти похоронили на той неделе — таким бледным он был, — встал легко и беззаботно, словно нет у него осколков в груди.

Его тянут в образовашийся хоровод, он начинает двигаться, извиваться, словно змея под солнцем. Наши чередуются с незнакомками, которые улыбаются, продолжая заполнять лес своим пением. Хочется к ним, в этот поток движения и музыки.

Мы давно её не слышали — музыку. Нет, каждый, конечно, напевал себе что-нибудь под нос — то, что обычно всплывало первое в голове. Я вот песню про козленка постоянно пою, её почему-то никто не знает. Но это не то — сердце требует музыки: чужих голосов, незнакомых песен, обозначения того, что ты ещё жив, и это всё по-настоящему.

Песня принимает какой-то особый вид, когда половина девиц начинает щёлкать языками в такт словам: клокочут и шумят, словно предупреждают всех. Только вот о чём, я так и не понял, даже спросить не успел, потому что хоровод стал распадаться. Наших начали отпускать, разжимать ладони, оставляя посреди поляны, словно потерянных детей, а девицы, как ручейная вода, ловко обходили их, протягивая руки друг к дружке.

Я невольно вдыхаю морозный воздух, обнаруживая для себя, что он не такой уж и ледяной, каким казался всего час назад, и с трудом поднимаюсь, отталкиваясь от снега ладонями. Наши словно в каком-то забытье: стоят, хлопают глазами, кто-то даже улыбается и тупо смотрит вслед уходящим.

А я не могу — сердце щемит от того, что вот ещё пару мгновений, и девицы исчезнут из вида. Поэтому я плетусь следом, увязая в глубоком снегу. Аккуратные ножки бегут по свежему насту и не проламывают его. Они настолько невесомы, что даже не оставляют следов на верхнем слое снега. А я тяжелый, вязну в глубоком нетоптаном снегу, который набивается в сапоги. Но холода не чувствую, только сладость во рту.

Почти падаю у самого края леса, вытягиваю руки и встречаю лицом холод. Отплевываюсь, смахиваю с ресниц и волос снег. Шапку где-то потерял: мотаю головой, пытаясь понять, куда делась заливистая песня, куда утянули её хозяйки. И в груди холодеет, неприятно щемит — к окопу на-

шему бегут, дуры. Перестреляют же фрицы, не пожалеют. Даже глазом не моргнут, погубят эту красоту.

Ползу пару метров так, на животе, из-под сжатых пальцев сочится сок, оставляя на белом полотне красные пятна. Может, меня по ним и найдут наши. Я цепляюсь за веточку совсем молодой ёлочки и, подтянувшись, поднимаюсь на ноги.

Жадно, до одури жадно глотаю воздух, так что даже в горле боль встает поперёк. Кричу им что-то, чтобы остановились, а они смеются и песню дальше тянут. Я вдруг улыбаюсь широко и устало, наконец понимая, что они же, как сеструха моя: никого не слушают, делают то, что надо, то, что для Родины, для людей. И их не остановить, не испугать смертью или пытками. Такие они у нас девушки — настоящие.

Окоп они перепрыгивают легко, играючи, словно это узкая речушка, и если не перепрыгнуть, то намокнут ноги, а не переломаются все кости. Окоп, между прочим, метр в ширину, это я помню отлично, пришлось вбить в голову.

Оседаю под ветками, упираясь спиной в вековой ствол, и долго-долго смотрю вперёд, провожая взглядом убегающих девушек. Да даже когда совсем из виду пропадают, — всё равно смотрю, вслушиваясь в отголоски хора голосов.

Потом приходит тишина. Обнимает за плечи и прижимает к себе, словно баюкает. Я мотаю головой. Нет. Нельзя сейчас спать, идти надо вперёд. Тут совсем недалеко. Их спасать нужно. Если придется драться, — они же ничего не смогут, а у меня хотя бы нож есть.

Поднимаю голову, сквозь сетку иголок виднеется небо, такое же безоблачное и спокойное, только звёзд меньше. Раз, два, три… Нет, не помню, сколько было, не сосчитал. Как же тихо, как спокойно, как тепло… Умираю, что ли?

Да нет, кажется — засыпаю просто, а дальше будь что будет, хоть смерть, хоть опять бомбёжки, хоть голодуха; но хотя бы вспомнил вкус лета — этого достаточно, теперь главное не забыть его, и тепло обязательно придёт, а вместе с этим уйдет снег, прорежется трава, и я сниму кирзовые сапоги, встану и пошагаю домой, перекинув через плечо вещмешок.

Тогда, зимой сорок первого, мы выжили, отстояли наш рубеж и не пустили врага дальше. Выполнили свой солдатский долг и были щедро вознаграждены. Не медалями или орденами, нет. Нас вознаградили жизнью, на удивление сносной и долгой, иногда даже сытой.

Войну я прошёл и домой вернулся, ни разу не раненный и не контуженный. Однажды прямо под ногами граната взорвалась, всех перебило — а мне хоть бы что. Говорили, мол, в рубашке родился, завидовали; а мать уверяла, что это она своими молитвами за меня отводила все фашистские пули и осколки.

Глупости, конечно, — молитвы эти и бог. Но когда над тобой гремят залпы артиллерии, а товарищей не слышно из-за свиста пуль, начинаешь невольно думать об этих бабьих глупостях и крестах из крышек от тушёнки.

У нас такие делали — вырезали ножичком. Правда, Саныч, который их мастерил, умер, и мы перестали такие делать. То ли из уважения к нему, то ли оттого, что было непривычно забирать жестянки из других рук.

Меня тогда, первой зимой войны, нашли спящим в сугробе у ели. Думали сначала, что помер, а потом ткнули, и я проснулся — даже обморожений не было. Хотя найти меня должны были посиневшего, с черными как угли пальцами. Наши, ну, те, кто мог, решили сходить до окопов фрицев: тихо чересчур было, нужно было проверить. И меня взяли за компанию.

Я пошёл охотно. Ведь, во-первых, холодно жуть как было, а когда идёшь, вроде ноги греются, кровь разгоняется по телу. А во-вторых, потому что переживал за девчонок.

Все шли молча, угрюмые и как будто одичалые, словно потеряли что-то важное внутри, как брошенные дети. Я ещё ягоды рассасывал меж зубами, они давленые были все, сок вытек почти полностью и замёрз на ладони, под ногтями, потом ещё долго не мог вычистить синеву из-под них.

У немцев тихо было не потому, что отступать им приказали, — нет: они мёртвые были, все как один.

Как сейчас помню: спрыгиваем в окоп, и под ногами сразу четверо с синими отметинами на шеях и безумными белыми глазами, как будто призрака увидели. И все как один — все тридцать с лишним фашистов — задушены или с шеей свернутой лежат. Целый взвод, который изводил нас, лежит мёртвый, а мы даже не знаем, кто это сделал.

Старшина тогда, дед уже, ветеран двух войн, покусав седой ус, наказал нам языки прикусить и никому не говорить: ни о немцах придушенных, ни о девушках, сказал, что приказ. Мы кивнули, согласились, поддакнули в ответ и начали закапывать мертвецов. Они все ещё мальчики, стриженые, белобрысые, хотя, наверное, это мне тогда они казались такими бледными, солнце светило прямо в затылок, когда мы скидывали их в ямы…

Война закончилась — и я вернулся к себе домой, в родную деревню. Стал заведовать в колхозе тракторами, всегда любил возиться с техникой. Я их налаживал, бензин-соляру доливал, чинил, если приходилось. В общем, работа была, и ей я был полностью доволен.

Матери хату обжил снова, хозяйство налаживать стал, крышу залатал, заборы поправил. Вечера разговорами с ней коротали. Сеструха всё-таки на фронт улизнула, медицинской сестрой до Берлина дошла, даже награду поимела, «За отвагу». Жила теперь где-то под Новгородом с мужем лейтенантом, которого сама же спасла. Нянчила мальчика-крепыша, а что, есть ведь в кого. Мы вон с ней какие вымахали.

Сам женился позже остальных товарищей, холостым ходил до сорок седьмого, а потом Ленушку встретил мою в клубе. Коса длинная, чёрная-чёрная, сама белая и тонюсенькая, как берёзка.

Не заметил я сразу, что похожа она на ту девчонку, которая ягоды в ладони насыпала; понял только спустя пару дней, когда провожал её до дома. Под светом луны и признал. Ленушка моя молчаливой девицей оказалась — да только мне и нравилось это: идёшь себе, говоришь, рассказываешь всё подряд, а она рядом ножками перебирает, смотрит перед собой, бровки хмурит и кивает, всё-всё запомнит, а потом на — и выдаст, коль спросишь.

Поженились спустя три месяца. Перебралась она жить ко мне и стала второй хозяйкой. Мать её, правда, невзлюбила, всё ругала за ерунду всякую да из дому прогоняла. А Ленушка не обижалась на неё никогда, губки в ниточку сожмет — и из дому. Нырк — и на крылечко или ко мне, с работы встречать.

Сколько ни бился я с матерью, всё никак она полюбить не могла её, хотя свыклись потом уже друг с другом, стали по разным углам расходиться и сидеть как мышки.

Ленушка с придурью у меня была: подавай ей только красные туфли — другие носить наотрез отказывалась и всё в своих старых и оборванных бегала: и в лес по грибы, и в кино. Потом новые ей справил: красивые, с ремешками — стала их носить, не снимая.

Всё хорошо у нас было, жили в достатке. У матери румянец появился на щеках, даже лицо помолодело. Дом крепко стоял, крыша не текла, толь-

ко вот детей у нас всё не было. Сколько бы ни пробовали, сколько бы ни старались, — ничего.

Поэтому решили в городе из детского дома ребятёнка взять — всё лучше, чем впроголодь там жить. Приехали туда, документы отдали, и повели нас в детские комнаты. Ленушка сразу на мальчонку одного глаз положила, сказала, что этого заберём домой.

Мне мальчик тоже понравился, глазищи широкие: голубые и умные, серьёзные, совсем взрослые мысли в них бегут. Оказалось, что зовут его Гоша, и ещё что у него сестрёнка есть, малёха совсем, и оставлять её негоже. Вот и приехали мы домой сразу с двумя ребятишками.

Гоша сначала от Ленушки не отходил, за юбку вцепится — и за ней хвостиком, а как Груша, сестрёнка его, захнычет, — сразу к ней, шикать и пальчиком грозить. Привыкли потом оба и к нам, и к колхозу; стали с местными детьми бегать: то на речку купаться, то куда ещё. Стало совсем не узнать их, как будто подменили.

Как будто вместе с детьми, худыми и пугливыми, подменили и мою жизнь: тревоги и страхи, душащие по ночам, крики и вопли раненых сменились на плач дочери, испугавшейся темноты или грозы. Тяжесть умирающего на руках наводчика сменилась тяжестью Ленушки, спящей на груди.

Я гладил её волосы и думал, смотрел в потолок, рассматривая в лунном свете трещины досок. Что же я тогда загадал? Тогда, когда снаряды и звёзды падали совсем рядом? Было это не так уж и давно, всего каких-то семь лет назад, а уже ничего не помню. Ещё пару лет, и лица ни одного не вспомню…

— Вернуться домой, — прошептала Ленушка и укрыла нас обоих пуховым одеялом.

Кирилл Сергеев

История через письма: трагедия Рыбницы

Основано на воспоминаниях узников гетто города Рыбницы

История никогда не уходит в небытие. Она напоминает о себе в архивных документах, фотографиях. Она прорывается к нам, в настоящее, благодаря художественным фильмам о событиях минувших лет. Она раскрывает нам свои тайны в письмах, которые бережно хранятся в музеях. У меня в руках небольшая стопка таких писем. Их авторы — узники гетто города Рыбницы, города, который стал для меня родным и с которым связаны трагические события Великой Отечественной войны.

Читаю первое письмо и словно слышу голоса из прошлого.

***

«Раньше мне доводилось слышать новости о грядущей войне за рубежом. Я со страхом наблюдал за происходящим, но до последнего не верил, что война придет на наши земли.

После ухода советских частей из Рыбницкого укрепленного района в город хлынули фашистские войска. В виде поощрения немецкие фашисты отдали наш город на растерзание румынским захватчикам, которые тут же начали грабить, насиловать, убивать. Сотнями расстреливали на берегу реки женщин, детей, стариков. Жители приднестровских сел видели, как по волнам Днестра плыли трупы мирных граждан… И убивали их только за то, что они по национальности евреи. На улицах, в переулках Рыбницы тоже валялись трупы. Запах разложения носился в воздухе.

В том, видимо, была моя вина… Я был рожден человеком, который не вписывается в расовую теорию Гитлера и должен быть уничтожен. По приказу немецкого коменданта полевой комендатуры мне пришлось покинуть свой дом и поселиться в еврейском гетто. Сегодня мой первый день, проведенный в заключении».

Страшная реальность, увиденная глазами еврея, не просто пугает. Как можно на человеке ставить клеймо «Юде»? Разве есть право у сильного лишать жизни слабого? Жуткие картины будоражат кровь, и ты понимаешь, что порой бессилен перед бесчинствами одержимых нелюдей.

Глаза бегут по строчкам нового письма. И снова потрясение. И надежда, что даже в нечеловеческих условиях можно оставаться людьми.

Кирилл Сергеев (2008) — учится в МОУ «Рыбницкая РСОШ № 10 с гимназическими классами», участник международной премии «Евразия» и XII международной независимой литературной премии «Глаголица»; победитель I международной научно-практической конференции детей и молодёжи «Мы памяти верны» и регионального этапа международного конкурса сочинений «Без срока давности». Первые места в республиканских олимпиадах по русскому языку (2024 г.) и истории (2026 г.). Живет в г. Рыбнице (Приднестровье).

***

«Гетто охраняется жандармами, которые устраивают облавы для отбора то стариков, то подростков. Расстреливают целыми семьями…

В гетто за выход в город — расстрел, за появление на рынке — расстрел. Десятки ослушавшихся уже убиты. Каждое утро полиция и жандармы выгоняют всех на работу: засыпать подвалы разрушенных оккупантами еврейских домов, на погрузку извести, на чистку туалетов. А плата одна: побои плетьми, прикладами…

Много жизни уносит тиф. Спасения от него нет — в одной комнате ютятся по две-три семьи. Большую помощь находящимся в лагере оказывают врачи Науменко и Григорян. Подвергаясь большой опасности, они доставляют лекарства, спасают больных, поддерживают павших духом».

Подвиг врачей неоспорим. Врач вообще по своему призванию — защитник.

Защитник жизни, веры, надежды. Врачи, помогавшие евреям, вызывают особое уважение, потому что на весах жизни других людей и собственной смерти для них важнее чужая жизнь.

Читаешь новое письмо и словно видишь, как по деталям складывается картина дороги на Голгофу. Старики и дети, мужчины и женщины — все идут дорогой смерти. И их терпение, граничащее с мужеством, — немой упрек каждому, кто глумился над бесправным и униженным евреем.

***

«Ежедневно через город гонят большие этапы евреев из Бессарабии, Буковины, Румынии. Для “профилактики” их загоняют во двор лесобазы по улице Вальченко. Доступ в лагерь гетто воспрещен. Люди, изнуренные длинной дорогой, голодом и жаждой, располагаются просто на земле среди отходов. Ни стоны стариков, ни мольба женщин, ни плач детей не трогают звериные сердца румынских жандармов.

Каждый из этаповцев готов отдать свою котомку за глоток воды, краюшку хлеба для своих детей.

Ежедневно со двора лесобазы выносят десятки трупов: люди умирают от голода, тифа. Оставшихся в живых гонят дальше.

Жители сел, через которые проходят этапы обреченных, бросают в колонны куски хлеба, бутылки с водой. Румыны разгоняют собравшихся у дороги ударами прикладов, а те, кому доставались брошенные передачи, нередко падают, сраженные пулей. По пути жандармы издеваются над девушками, в упор расстреливают плачущих детей, юношей. Путь этот сплошь усеян трупами безвинных людей.

Свинофермы в с. Борщи находятся за пределами села. Они и стали местом размещения многих этапов. Согнанных не пускают за пределы ферм. Попытки местных жителей передать заключенным еду, воду жестоко пресекались. Более того, жандармы забирали у этаповцев последнее содержимое их котомок.

Свинарники настолько переполнены евреями, что там тесно стоять, приходится дышать смрадным воздухом. Отхожих мест нет. Палачи отбирают одежду у мужчин, и те остаются совершенно голыми. То в одном, то в другом месте слышатся душераздирающие крики женщин и детей, частые выстрелы… Как легко румынским фашистам воевать с безоружными людьми!

Дикое надругательство, голод, насилие приводят к тому, что люди умирают десятками. Трупы сваливают в окопы, едва прикрывая землей. В то же время этапы через Рыбницу шли, кажется, бесконечно…»

Смерти, смерти, смерти! Они, словно вороны с картины Верещагина «Апофеоз войны», кружат над моим городом. И страшно осознавать, что какие-то 84 года назад мир был подобен открывшемуся аду.

***

«Зима 1943 года. Оккупационные румынские власти приказали евреям загрузить углем вагоны, идущие на Бухарест. Для этого румыны отобрали в гетто человек 100–150, в том числе женщин, стариков и даже детей. Когда я узнал, что мне придется иметь дело с вагонами, то очень встревожился, так как часто "походы" на станцию под конвоем оканчивались для несчастливцев высылкой, как говорили, насмехаясь, румынские палачи, "в этап", но мы-то все в гетто понимали: наших сестер и братьев больше не увидим, их ждет смерть.

У всех оставшихся в гетто глаза были полны слез, но что было делать? Мы, чьи фамилии были названы, построились в колонну — худые, оборванные, измождённые от голода и болезней — и, подчиняясь приказу, пошли. Командовал "парадом" палач гетто румын Бушерницану. Он никогда не расставался с нагайкой, которая, когда палач находился на территории гетто, не знала отдыха, свистела то тут, то там, оставляя кровавые полосы на лицах, руках и спинах "провинившихся", а по сути, ни в чем не повинных людей. Нас били только за то, что мы евреи и что мы, несмотря на старания палачей, еще живы. На этот раз Бушерницану шел позади колонны и подгонял своей нагайкой отстающих. На одноконной повозке ехал Титиевский, в обязанности которого входило убирать и вывозить за пределы гетто трупы умерших. На этот раз повозка была пуста. От Титиевского мы узнали, что нас ведут к сахзаводу.

Пятикилометровый путь до завода показался мне вечностью, ведь двигались мы медленно. Те, кто мог держаться на ногах, помогали совсем слабым. Наконец добрались до завода, увидели на рельсах порожняк — десять высоких вагонов грузоподъемностью 20 тонн. Встретил нас заведующий угольным складом (фамилии не помню). Он показал нам "объект работы" — уголь лежал метрах в пятидесяти от пути. Ни носилок, ни лопат у румына, "заведовавшего складом", не оказалось. В ответ на наше недоумение он с ехидцей сказал примерно следующее: "Вы, евреи, — хитрый народ, вот и схитрите, погрузите вагоны без лопат и носилок!"

После таких издевательских, унижающих человеческое достоинство слов многие в колонне заплакали от горечи, обиды и возмущения, открыто проклинали мучителей. Сапожник Иосиф Липсман попробовал воззвать к совести заведующего, убеждал, что без инструмента погрузка невозможна, на что оккупант заявил, что это его не интересует. А надсмотрщик Бушерницану пригрозил: "Если не загрузите вагоны, всех вас утопим в Днестре", — и, размахнувшись, ударил Иосифа нагайкой. Мы начали кричать и открыто наступать на палачей. Бушерницану испугался, приказал Янкелю Титиевскому ехать в еврейскую примарию за жандармами: "Скажи, что евреи восстали и не желают работать, пусть шлют подмогу…"

Успокоили нас две женщины — Пася Тарнопольская и Бетя Спивак. "Дети, братья! Мы уже в могиле. Бог нам поможет. Беритесь за работу", — сказала одна из них, а вторая поддержала. И мы начали работать. Уголь переносили в найденных кусках мешковины, в платках, подолах, а те, кто совсем ослаб, выбирали куски угля покрупнее и носили в посиневших от холода ладонях. Работали до темноты. За день нам не дали ни кусочка хлеба. Когда совсем стемнело, стали собираться "домой".

Каждый взял с собой по несколько кусков угля в надежде обогреть помещения, в которых стояла минусовая температура и замерзала вода. Но

когда мы, окруженные жандармами, вышли за пределы завода, Бушерницану, угрожая нагайкой, приказал весь взятый уголь свалить к себе в повозку. Приказание палача заставило колонну встрепенуться. Первым на румына с кулаками кинулся Мика Мурахвер, за ними остальные мужчины и женщины. Началась драка. Но мы были слишком слабы, чтобы устоять перед жандармами. Мика и многие другие участники драки, воспользовавшись темнотой, бежали.

Всю ночь жандармы искали зачинщиков и участников драки. Крепко побитый румынский палач Бушерницану стал лютовать пуще прежнего… Нам оставалось только ждать прихода Красной армии».

«И мертвые восстанут!» — так хочется сказать после прочтения этого письма. Евреи, сопротивляющиеся палачам, — урок нам, не знающим унижений. Урок силы духа и верности своим законам. Урок человечности. Урок памяти.

Шелестят страницы писем. Люди из прошлого словно материализуются, оживают в строчках пожелтевших страниц. И вот новая картинка. Не менее жуткая.

***

«Расстрелы в гетто продолжаются. Многих убили у насыпи железной дороги, там же присыпали землей. Лагерников заставляют копать себе могилы, а расстрелянных засыпают землей ждущие своей участи. Причем земля ровная — никакого следа…

Румынам невмоготу держать у себя свидетелей их преступлений. В 1943 году в один из пасмурных дней всю лагерную молодежь согнали на площади. Отобранные сто молодых людей, все с левобережья, были под сильной охраной отправлены на железнодорожный вокзал, погружены в вагоны-теплушки для скота и без воды и пищи отправлены в концлагерь».

Поражает, насколько жестокими могут быть люди, воспринимающие евреев как скот. Разве нет у румын сердца? Разве не страшно им предстать перед Божьим судом?

Кто замолит их грехи? Вопросы отсветами молний прошлого не дают нашей совести покоя.

***

«А фронт приближается. Рыбницу наводнили отступающие фашистские полчища. Днем и ночью в гетто можно услышать отчаянные крики: то в одном, то в другом доме, расстреляв мужчин, издевались над женщинами, истязали юношей. Карательный отряд расстреливает в гетто всех, кого застает в помещениях или на улице».

Палачи обезумели. С одержимостью зверя они тянут за собой в могилу новые и новые жертвы. Но существует высшая справедливость. Есть правда. Есть сила памяти. И в этой памяти евреи для нас обретают статус мучеников, а румынские фашисты — клеймо Иуды. И это им обвинение — факты о массовых расстрелах евреев в Дубоссарах, где у заранее вырытых ям было уничтожено более десяти тысяч евреев, согнанных из близлежащих сел.

***

«Сегодня, 30 марта 1944 года, Рыбница была освобождена! Многие узники фашистского лагеря гетто ушли на фронт, чтобы отомстить фашистам за насилие, убийства, издевательства».

Насилие, унижение, боль — вот что пришлось испытать евреям гетто. До освобождения дожили немногие. Но они оставили нам память о тяжелейшем времени. Сохранили для нас правду. Выплакали свою боль, выстрадали свое право на то, чтобы быть евреями. Они дали нам бесценный урок: люди, оставайтесь людьми, даже если обстоятельства против вас!

Валентин Лукьянин

Стержневой человек на изломе эпох

К 100-летию Лидии Александровны Худяковой

> Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на Земле как люди.
>
> *Бернард Шоу*

«Партчиновница» в годы «демократизации»

В последние два десятилетия своей продолжительной жизни Лидия Александровна Худякова была, как говорится, не у дел: ничем не руководила, ни на что не влияла. Но имя её в городе не забывалось, мнение её оставалось авторитетным, и круг её общения — хотя бы по телефону — оставался широким: в иные дни к ней трудно было дозвониться.

На её уход откликнулись практически все местные новостные каналы: «Сегодня, 11 ноября, на 100-м году жизни умерла основательница Литературного квартала Лидия Худякова»; «11 ноября 2025 года ушла из жизни Лидия Александровна Худякова — основательница Литературного квартала и Камерного театра Объединённого музея писателей Урала»; «Не дожив полгода до столетия, ушла из жизни Лидия Александровна Худякова — уникальный человек, легенда культурного Екатеринбурга. Ушла, оставив о себе добрую память и удивительный Литературный квартал, знакомый каждому жителю среднеуральской столицы, да и в России о нём идет слава». С непременным акцентом на театре и квартале помянули о Худяковой и другие СМИ. И участники прощальной церемонии, проходившей, конечно же, в Камерном театре Литературного квартала, связывали память о Лидии Александровне всё с теми же театром и кварталом. Редко-редко кто вспомнил разве что про Дом кино, театральный институт, мастерские для художников, в появление которых она тоже вложила энергию и душу.

Такое внимание к самым заметным её детищам трудных «перестроечных» и «лихих девяностых» лет объяснимо и оправданно: эти «объекты» не значились ни в каких планах, создавать их никто её не обязывал, они даже противоречили неким директивным установкам. Задачу их создать задала себе она сама, потому что была убеждена, что квартал и театр городу нужны.

Валентин Лукьянин (1937) — публицист, литературный критик, историк науки, автор множества книг, посвященных истории и культуре Екатеринбурга, а также статей и исследований, опубликованных в различных российских изданиях. В 1980–1999 гг. был главным редактором журнала «Урал», истории которого посвящена его книга «“Урал”: журнал и судьбы» (2018). Неоднократный лауреат премии журнала «Урал». Лауреат премии им. Бажова и ряда др. литературных премий.

Но в той экономической ситуации и в той общественно-психологической атмосфере проекты эти казались неосуществимыми, компетентные специалисты крутили пальцем у виска и называли этот замысел маниловщиной, — тем не менее квартал и театр появились. Причём практически сразу вошли в число главных городских достопримечательностей. Думаю, под свежим впечатлением от этого «чуда» — а тут ещё и 75-летний юбилей Лидии Александровны пришёлся кстати — создательнице театра и квартала присвоили (в 2001 году) звание почётного гражданина Екатеринбурга. Так и закрепилась в общественном сознании эта связка: Худякова — Литературный квартал — Камерный театр. Как говорится, всё правильно, всё справедливо.

Справедливо, да не совсем. Особый акцент на театре и квартале при попытках оценить содержание её жизни Лидию Александровну обижал, я слышал это от неё самой. По её словам, получалось, что нечто значительное, достойное людской памяти, она смогла сделать лишь на склоне лет — выйдя на пенсию, а десятилетия до того занималась пустяками. Речь не о том, что где-то в чём-то её недооценили: цену себе она, конечно, знала (хотя никогда мне не случалось видеть, чтоб она это знание демонстрировала) и честолюбивой не была. Дело в другом: в недооценке того, что делалось ею до прихода в Литературный музей, она видела оскорбительную предвзятость. «Я же, — иронизировала она, — до того, как прийти в Объединённый музей писателей Урала, тридцать лет была партчиновницей».

Для того, кто пережил «демократизацию» 1990-х, такого объяснения вполне достаточно: «провал в истории», «преступный режим», «коммуняки», «производить умели только галоши», — это оттуда. Такие представления были настолько прочно вколочены в общественное сознание, что даже вполне советские по происхождению и жизненному опыту люди верили, что так оно и было. А если кто-то из «коммуняк» не укладывался в эту матрицу, это пытались объяснить тем, что якобы в советское время он был тайным диссидентом. Однажды Лидия Александровна рассказала мне забавную и грустную историю о том, как «девочки» (она имела в виду сотрудниц литературного музея) зашли к ней, чтобы поздравить с днём рождения. Когда это было, она не уточнила, но понятно, что где-то в 1990-х. Желая, видимо, сказать ей приятное, «девочки» признались: «Мы думали, что вы — человек системы, а оказалось…» Она даже растерялась от такого комплимента: «Я же на самом деле была человеком системы и делала всё, что могла, для её укрепления».

Сегодня отношение к советской системе не такое, как тогда, когда её со свистом и улюлюканьем ломали. Социологи утверждают, что очень большая часть россиян — может, 60 процентов, а может, и 80 — ностальгируют нынче по СССР, по советскому строю, советскому образу жизни. Одумались? Но в числе ностальгирующих немалая доля людей слишком молодых, чтобы судить о качестве жизни в советской стране на собственном опыте. И это значит, что загадочное для социологов состояние умов обусловлено не воспоминаниями о «потерянном рае» (кстати, немногим хочется туда вернуться), а трезвая оценка нынешнего «благополучия». Тут есть над чем подумать, но здесь не место.

А вот воздавать должное создательнице Литературного квартала и Камерного театра, замалчивая то, что сделала она для города, когда была «партчиновницей», — это уже на грани фальсификации истории, равнозначной драпировке Мавзолея во время празднования Дней Победы. Дело даже не в искажённом представлении о замечательном человеке, чьё имя весомо и зримо вписалось в историю нашего города, а в нас самих — в нашей способности воспринимать окружающий мир не так, как «положено» или «принято», а так, как велят ум, опыт и душа. Общественное устройство России ни в какие времена не благоприятствовало развитию такой способности, и, наверно, потому в самородных лексических россыпях русского языка Пушкин не нашёл подходящего слова для её обозначения, и ему пришлось придумать

неологизм: самостоянье. «Самостоянье человека, залог величия его».

Думаю, не столько даже для более достоверного жизнеописания почётного гражданина Екатеринбурга Лидии Александровны Худяковой, сколько для нашего с вами самостоянья важно знать, что тридцать лет её работы «партчиновницей» были, по крайней мере, не менее плодотворными, нежели двадцать лет во главе Объединённого музея писателей Урала. Написать о «чудесном» рождении Литературного квартала и Камерного театра, «драпируя» тридцать лет её работы в «системе КПСС», — это примерно то же самое, что подменить серьёзный анализ истоков Великой Победы слоганом: «Мы победили, потому что мы русские». Или того «доказательней»: «Мы русские. С нами Бог».

Но у этого вопроса есть и прагматическая сторона: никакой бог не поможет объяснить «чудо» создания Худяковой квартала и театра в то время, когда по всем условиям выходило, что сделать это невозможно. И совсем другое дело — обратиться к её опыту, когда она была «партчиновницей»: в этом случае многое проясняется и о времени, и о ней самой, а «чудо» превратится в правду («удобную» или «неудобную» — это с какой стороны посмотреть) о том времени, которое стало уже историей, но по сей день дышит жаром неостывших страстей.

Откуда брались партчиновники?

Не думаю, что этот вопрос сегодня кого-то сильно волнует, тем более что особой загадки тут и нет. Конечно, избирались, кооптировались или назначались из числа членов партии: беспартийный человек занять ответственную должность в партийных структурах, как это порой случается нынче, не мог. А вот вступление в партию — это была любопытная процедура, о которой можно было бы и отдельно порассуждать. Но не будем отвлекаться на второстепенное, хочу лишь обратить ваше внимание на некоторые моменты, важные для дальнейшего повествования.

Нынче многие верят, что советские люди вступали в партию из карьерных соображений. Не исключаю, что такие случаи были. Но 19 миллионов членов партии (из почти 290 миллионов населения страны в 1990 году) — «карьеристы», и вы готовы в это поверить?! Мне-то как свидетелю той поры больше известны случаи, когда человек вступать в партию не собирался, но его к тому мягко подтолкнули. Вы спросите: а зачем подталкивали, зачем ей, партии, и без того многочисленной, нужно было расширять свои ряды? Ну, не в предвидении же электоральных баталий! Такой задачи не было: машина голосования за «правильных» кандидатов была надёжно отлажена и не давала сбоев.

Но КПСС имела, и это подчёркивалось, иную природу, нежели «парламентские» партии в условиях буржуазной демократии (и в нынешней России, разумеется). Бороться за право «порулить» ей не было нужды: на протяжении практически всей своей истории СССР фактически был государством однопартийным, а в «брежневском» варианте Конституции СССР (принят в 1977 году) роль Коммунистической партии как «руководящей и направляющей силы советского общества, ядра его политической системы» на всякий случай была закреплена и законодательно. (Правда, когда случай явился, Конституция не помогла: 6-ю статью из неё просто исключили.) Но если парламентские партии лоббируют в высшем законодательном органе страны интересы своего «электората», то КПСС, как утверждала Конституция, «существует для народа и служит народу». Пропаганда объясняла даже проще: это сам народ, выдвинув вперёд свой «авангард» — самую компетентную, дисциплинированную, «идейную» (то есть ясно понимающую исторические цели и пути к ним) свою часть — к этой цели самоходом и движется. «Правильным путём идёте, товарищи!» — подбадривали народ плакаты с ленинским профилем, занимавшие нередко торцевую стену многоэтажного дома.

Можно спорить о том, насколько реалистична была такая стратегия, но, так или иначе, партийные власти руководствовались ею, а для её реализации важна была «критическая масса» партийцев — чтобы присутствие и влияние «авангарда» ощущалось в каждой клетке социального организма. При этом организаторы то и дело сталкивались с трудноразрешимыми коллизиями: человек вроде бы «идейный», а грамотёшки маловато; работник хороший, но со «слабостями» в быту; по всем статьям подходит, а с «происхождением» подкачал. Искали компромиссы, а те порой выходили боком. Ох, сколько же занятных и поучительных историй можно было бы рассказать на эту тему!.. Но что было — то было, и без этих компромиссов нашу советскую историю не понять.

Знаменитый слоган «Кадры решают всё» не был лозунгом дня; этой знаменитой фразой Сталин акцентировал (в 1935 году) главный нерв «генеральной линии» во все довоенные десятилетия: ради наращивания кадрового потенциала советские власти ещё с 1920-х годов совершали культурную революцию, немыслимыми темпами развивали общеобразовательную и высшую школу, систему научных учреждений. Настал срок — и старые (ещё не годами!) кадры — партийные, хозяйственные, военные, — сформировавшиеся и закалённые в горниле Гражданской войны, стали правдами-неправдами вытесняться и заменяться образованными молодыми людьми. Тридцати-тридцатипятилетние специалисты, без революционного опыта, но одержимые идеей, с вузовскими дипломами, а то и с кандидатскими степенями, становились директорами крупных предприятий, наркомами, секретарями обкомов. Они направляли (и, насколько было возможно, исправляли) курс индустриализации ещё в предвоенные годы, организовывали военный тыл в годы Великой Отечественной войны; молодые генералы и маршалы, подготовленные в высших военных учебных заведениях, творили Победу 1945 года.

С подачи хитроумного, но недальновидного Хрущёва западные либералы, а вслед за ними и отечественные «образованцы», увидели в Сталине «красного монарха»; пусть так. Но это была уж точно не сословная монархия: ни в одной «образцовой демократии» социальные лифты не работали так эффективно, как в «молодой стране большевиков», и возносились на них молодые и энергичные люди на партийно-государственный олимп не в силу унаследованных привилегий, не по протекции влиятельных родственников, не подъёмной силой денежного мешка, а исключительно благодаря собственному уму, образованности, творческой смелости.

Работая над книгой «Эвакуация. 1941–1942 гг.», я обращался к биографиям десятков людей, которые выводили страну из катастрофы июня 1941 года и вели её к Победе в мае 1945-го, и очень предметно увидел, насколько ложна была в своих исходных посылках концепция «командно-административной системы», придуманная «прорабом перестройки» Г.Х. Поповым на основе весьма произвольного толкования романа А.А. Бека «Новое назначение»[1]. Между тем по сей день некоторые обществоведы ссылаются на неё, как на социально-философскую мудрость, заслуживающую доверия. Не было на самом деле никакой «командно-административной системы», а была смелая до авантюрности попытка построить невиданный по архитектуре «чертог социализма» из доступных материалов (а где взять иные?) — фигурально выражаясь, из оббитых и расколотых кирпичей снесённого здания старой постройки, из булыжников раскуроченной мостовой, из криво-косо обожжённых кирпичей ручной формовки и т.п. Что-то впечатляющее даже и получалось. Но афишировать биографии партийных (да и не только партийных) руководителей под разными предлогами и с разной степенью категоричности было не принято. Границы допустимого любопытства контролировались даже цензурой.

---

[1] См.: Лукьянин В.П. Эвакуация. 1941-1942 гг. — М.: Вече, 2025. С. 223-231.

То ли под влиянием этой традиции, то ли по каким-то личным мотивам Лидия Александровна Худякова раскрывать и обсуждать свои семейно-родственные корни и связи не любила, хотя табу на эти темы и не накладывала. Относясь с должным уважением к её позиции, я всё-таки не могу не коснуться некоторых обстоятельств её детства и юности хотя бы затем, чтоб показать: решительно никаких предпосылок для будущей партийной карьеры в них не просматривается.

Детство и юность в суровые времена

Родилась Лидия Александровна в старинном селе Казанском, которое находится на крайнем юго-востоке Тюменской области. Сейчас это районный центр, но за свою почти трёхвековую историю село административно приписывалось то к Ильинскому району, то к Ишимскому и даже передавалось (в составе района) то Омской, то Челябинской области, потом опять возвращалось Тюменской. Почему оно «Казанское» — не пытается объяснить даже всеведущий интернет, но и у Лидии Александровны какой-то версии на этот счёт не оказалось. Думаю, дело в том, что ярких воспоминаний о родном селе в её памяти сохранилось мало — недолго она там прожила: ей не исполнилось ещё и пяти лет, когда семья переехала в Ишим. С Ишимом связаны детство и юность Лидии Александровны, становление её характера, начало трудовой деятельности, так что не без оснований в некоторых источниках именно этот город называется местом рождения Худяковой.

Причиной переезда стал несчастный случай с младшим братом героини этого очерка. Вечно занятые родители недосмотрели: совсем ещё несмышлёный ползунок каким-то образом добрался до флакончика с уксусной эссенцией и успел сделать глоток. Его хватило, чтобы ребёнок оказался на краю гибели. Но родители приложили невероятные усилия, чтоб его спасти. Даже и на переезд в Ишим решились — чтобы поближе к медицине, чтоб иметь возможность раздобыть дефицитные продукты питания для укрепления здоровья малыша, что-то ещё в этом ряду, о чём мы сегодня, возможно, и не догадываемся. Так или иначе, ребёнка спасли и выходили. Евгений Александрович прожил потом нормальную жизнь, имел жену, сына, хорошую рабочую профессию и умер в 75 лет, но травма гортани, полученная в младенческом возрасте, сказывалась на его речи до конца дней. И родительская семья после этой драматической истории к прежней жизни уже не возвратилась.

Для сестры, хоть она тоже была ещё малышкой, семейная трагедия стала невидимым, но ощутимым рубежом взросления: беззаботное детство осталось позади, теперь она с пониманием разделяла и семейное горе, и ответственность за выздоровление братишки. И вполне осознанно отодвинула личные интересы на второй план перед главной семейной нуждой.

А вскоре груз ответственности возрос: девочка поступила в первый класс. Между прочим, не в восемь, как требовали тогдашние правила, а в семь. Ситуация показалась мне хорошо знакомой: я тоже начал учиться в школе на год раньше положенного: пока мама на работе, а старший брат в школе, «пасти» меня было некому. Но оказалось, что у Лиды Худяковой причина была другая: дружили с девочкой на годик постарше, той исполнилось восемь — пора в школу, а Лиде не хотелось от неё отстать — пошла вместе с ней. Но и мне, и ей установленный порядок удалось нарушить, потому что мамы были учительницами: руководство школы вошло в положение. Но в обоих случаях было одинаковое осложнение: незаметно и без усилий я в семье задолго до школы освоил то, чему первоклашек учат целый год, поэтому на уроках скучал, не очень соблюдал школьные порядки и писал коряво. Вот и Лидия Александровна признавалась: в тетрадках кляксы, почерк ужасный, на пальцах чернила — «замарашка».

Кстати, в некоторых источниках говорится, что Л.А. Худякова родилась в семье потомственных учителей. Сама Лидия Александровна это категорически отрицала. Учительницей была лишь её мать Глафира Никифоровна,

но и та — в первом поколении. Дед матери был священником, у него было четверо сыновей и одна дочь — судьбы разные, но в школе никто не работал. Мать тоже не готовилась к учительской профессии, но окончила гимназию, и этого образования хватило, чтобы, когда всё в жизни перевернулось и укладывалось совершенно по-новому, устроиться учительницей в школе. А отец Лидии Александровны, Александр Павлович, окончил реальное училище и в Ишиме работал главным механиком городской электростанции, а в школе — никогда.

И гимназия, и реальное училище давали неплохое образование, но для детей обычно важнее не род занятий, а культурный уровень родителей. У Худяковых о нём можно судить хотя бы по их домашней библиотеке. По свидетельству ишимского краеведа Е.Ф. Шефер[2], когда Худяковы переезжали из села Казанского в Ишим (для «гужтранспорта» не близко: 55 километров), для перевозки библиотеки им понадобилось пять телег. Собирал книги ещё Павел Семёнович, дед Лидии Александровны, человек зажиточный и просвещённый. Добротные издания русских и зарубежных классиков были главным наследственным богатством семьи Худяковых (как позже оказалось, даже и в материальном смысле). На этом фундаменте строилась и духовная жизнь семьи. Лидия Александровна, можно сказать, на тех книгах росла и с ностальгическим чувством вспоминала, особенно в преклонные годы, когда уже со зрением возникли проблемы, нарядные томики из домашней библиотеки времён её детства: Фенимор Купер, Дюма, Чехов.

Та же Е.Ф. Шефер сообщает, что в Ишиме Худяковы тесно общались с семьёй Чукардиных. Семья эта в небольшом сибирском городе очень известная, местные краеведы написали о ней статьи и книги. Дед хозяина дома, калмык по национальности, служил волостным писарем, отец выучился на иконописца, а сын, Евгений Михайлович окончил в Омске художественное училище, возвратился в Ишим и стал первым в городе профессиональным художником и педагогом, он более тридцати лет отдал художественному образованию земляков. Но Евгений Михайлович не только рисовал — он прекрасно пел и играл на скрипке, а жена его, Мария Александровна, играла на рояле. Они с удовольствием музицировали для себя, но и друзья — а их у Чукардиных было много — рады были их послушать. А ещё поговорить о литературе (в доме Чукардиных тоже была библиотека — огромная, как отмечают краеведы) и просто пообщаться с умными людьми. Салон не салон, клуб не клуб, но дом этот был популярен у местной интеллигенции.

А для Худяковых они были не просто интересными знакомыми, но и родственниками, хоть не очень близкими. И жили Худяковы и Чукардины в Ишиме совсем рядом — их огороды сходились и даже не были разделены забором. Так что бывали друг у друга постоянно. К тому ж у Чукардиных подрастала дочь Римма — под стать родителям художественно одарённая и общительная. Она доводилась Лиде Худяковой троюродной сестрой и была на год постарше, что не помешало им крепко подружиться, и это за ней потянулась семилетняя Лида, когда восьмилетняя Римма поступила в первый класс.

Конечно, и эта детская дружба, и музыкальные посиделки у Чукардиных, и книги из чукардинской богатой библиотеки (происхождение которой было овеяно легендами) — их Лида тоже читала запоем, — и вся атмосфера этой празднично живущей семьи заметно повлияли на мироощущение и характер героини этого очерка.

А потом грянула война. Находящийся в глубоком тылу Ишим быстро занял достойное место в обороне страны. Меня поразили цифры из интернета: в годы войны на фронтах сражалось около 26 тысяч ишимцев[3], меж-

---

[2] Шефер Е.Ф. Дочь земли ишимской // Коркина слобода, 2008, вып. 10.

[3] Ишим в годы Великой Отечественной войны (на примере фондов Ишимского историко-краеведческого музея) — / Статья в материалах «Вопросы исторической науки (II)»

ду тем как в городе тогда жило лишь немного за 30 тысяч. Понятно, что «ишимцы» — это не только из города, но ведь и во всём районе жило чуть за 40 тысяч. Ну да, не всех мобилизовали сразу, за четыре года войны много мальчишек допризывного возраста подросло, так что одноклассники Лидии Худяковой ушли на фронт уже в 1943-м, а кто-то, их моложе, и в 1945-м. Может, к ишимцам причислили ещё и эвакуированных, которых призвали уже из Ишима? Так или иначе, несообразно большое число воевавших ишимцев как-то ещё можно объяснить. Но, как сообщается в том же источнике, 5280 человек (из 26, напомню, тысяч) не вернулись с войны. Это ошеломляюще много!

К слову, сорокапятилетний Александр Павлович, отец Худяковой, был призван на военную службу в самом начале войны; медицинская комиссия не пустила его на фронт, так что служил он в резервном полку и благополучно вернулся домой в 1946-м. Семья без него жила, как весь город, мобилизованный на работу для победы, как весь советский тыл. Ишимцы приняли у себя огромное число беженцев — одних лишь блокадников из Ленинграда около девяти тысяч, но ещё тысячи из других мест. Заполнили все пригодные (и даже не очень пригодные) помещения предприятиями, эвакуированными из Ленинградской области, из Куйбышева, из Херсона, которые производили продукцию для фронта. Разместили у себя четыре эвакогоспиталя.

А ещё и такой парадоксальный случай описан в краеведческой литературе: в Ишим «эвакуировали» ТЮЗ из… Омска. Как так получилось? А очень просто: в 1941 году в Омск эвакуировали из Москвы театр имени Вахтангова, украинский театр имени Марии Заньковецкой из Львова и Сталинградскую оперетту. Как их разместить в относительно небольшом городе (в Омске тогда было около трёхсот тысяч жителей) — да чтобы работали, публику на спектаклях собирали? Судьба местного ТЮЗа частично эту загадку разрешает. Не думаю, что коллектив омского театра был рад такому решению — а что было делать? К тому ж на гастроли, в том числе по районам своей же области, ездили и раньше, просто на этот раз гастроли оказались подлиннее. А в Ишиме театру из областного центра (тогда район был приписан к Омской области) были рады, хоть, конечно, городским властям он доставлял немало лишних хлопот. И, как все художественные коллективы, эвакуированные в глубокий тыл, театр из областного центра стал катализатором культурной жизни в небольшом городе и районе, и влияние продолжительных «гастролей» сказывалось ещё долгие годы после отъезда коллектива домой. Так что «бегство от войны» и в этом случае обернулось приращением человеческого потенциала.

Тут уместно заметить, хотя бы вскользь, что советские власти не только делали всё, что могли, для победы, но и думали о жизни после победы: она не должна быть прозябанием на пепелище. Это многоплановая тема, её важнейший аспект — планирование научно-технического развития после победы. Но не менее значимо, что ради будущей по-человечески содержательной жизни во время войны не только бережно сохраняли, увозя подальше от фронта, ценности культуры, художественные коллективы, учебные заведения, но и создавали новые — с расчётом на будущее.

Особо отмечу попытку сохранить работу школ в должном объёме — чтоб цивилизация не прерывалась. Насколько это было трудно, я и сам коечто помню, но я жил на территории, по которой прошёлся враг, у нас многое было по-другому. Однако в интернете нашлась очень богатая информацией статья К.С. Иванова и С.Н. Синегубова именно об ишимских школах. Пересказывать её не буду, ибо каждый, кто интересуется, легко найдёт её в интернете[4]. А если в двух словах: не хватало всего — от помещений, учебников, тетрадок до… учеников.

---

[4] Повседневность ишимских школьников в годы Великой Отечественной войны.

Дело в том, что многие подростки пятнадцати-шестнадцати лет учёбу не продолжали — закон не настаивал, а шли работать — нужда заставляла. И рабочих рук не хватало. Для наглядности обращусь к своей памяти: в школе, где я учился в пятом классе (ну, это уже в конце 1940-х, после войны), параллельных пятых классов было два, в каждом то ли по тридцать, то ли даже по сорок человек; десятый же был один, а учеников в нём только десять (в их числе мой старший брат, потому и запомнилось). А ведь их доучивали, и доучивали очень хорошо, и пример с братом это подтверждает: девятый класс он проходил в ШРМ, совмещая учёбу с работой слесарем, а потом год только слесарил — а тут хорошие, умные учителя; учебный год он начал еле-еле, а завершил с серебряной медалью. После чего успешно окончил инженерный институт в Ленинграде.

Не знаю, сколько учеников было в классе, где в первые годы войны училась Лидия Худякова. Тяготы военного времени не обошли их стороной, внеурочное время было заполнено общественно нужными делами до отказа: делали многое из того, на что у взрослых ни времени, ни рук не хватало. Устраивали субботники, помогали в госпиталях, осваивали навыки медсестёр, ездили на уборочную в сёла, учились управлять сельскохозяйственной техникой. Лидия Александровна десятилетия спустя с гордостью рассказывала, как шестнадцатилетней школьницей работала в поле за штурвалом зерноуборочного комбайна «Коммунар». Это был первенец советского комбайностроения (с американскими, что было привычным в то время, корнями) — монструозный агрегат метра четыре в высоту, на тракторной тяге, но и с собственным мотором, приводящим в движение его механизмы. Грохот, пыль, закрытой кабины нет, только козырёк от солнца, штурвал и сидение при нём — как на капитанском мостике, к нему по лестнице нужно карабкаться. Представляете, какая романтика для школьницы, живущей в стране, где индустриализация, ОСОАВИАХИМ и папа — главный механик (хоть он и служит в армии).

Конечно, не следует искать тут причинных связей, но не видеть психологическую закономерность в том, что девочка с капитанского мостика степного дредноута, получив аттестат зрелости (обязывающе назывался документ об окончании средней школы!), отправилась в Москву поступать в самый лучший инженерный институт.

Вообще-то этот поступок сегодня кажется невероятным. Август 1943 года. Немцев надёжно отогнали от Москвы, туда уже начали возвращаться эвакуированные предприятия и учреждения, вузы и театры. Но ведь фронт ещё совсем недалеко! Мой родной Брянск освободили лишь 17 сентября, а от Москвы до Брянска — пять часов на поезде, а если на скором — можно доехать и за четыре. Но в то время даже на перрон пускали по перронным билетам, а чтобы получить билет на поезд, надо было сутками в очереди к кассе стоять. И даже с билетом сесть в поезд — целое приключение. К тому же столица жила ещё как прифронтовой город, попасть туда можно было только по пропускам. Сойдешь с поезда, а выйти из вокзала в город — опять проблема.

И теперь представьте себе: семнадцатилетняя девочка, нигде до того не бывавшая, в такой экстремальной обстановке — одна! — приезжает за две тысячи вёрст из Ишима в Москву и сразу направляется в приёмную комиссию очень знаменитого тогда МАИ — авиационного института. Почему именно в МАИ? Сама Лидия Александровна объяснила мне просто: перед войной авиация была так же популярна, как четверть века спустя космонавтика: перелёты Чкалова, Байдукова, Марины Расковой; Водопьянов, Доронин, Каманин… Нет, Худякова не собиралась летать — она хотела строить самолёты. Но документы у неё не приняли: то ли профессия авиационного инженера считалась не женской, то ли сочли слишком юной (раз в школу с семи лет пошла, то и окончила её раньше положенного срока). Так или иначе, делать было нечего — документы забрала и… понесла в другой ин-

ститут. Тоже не абы какой, лишь бы остаться в Москве, а заранее выбранный и обдуманный, — в станкостроительный. Тут логика была такая. Слышали про «завод заводов»? По тому же принципу металлорежущий станок — «машина машин». Институт и создавался как кузница кадров для машиностроения. А машиностроение — основа индустриализации, без него и самолёты не построить.

В этот институт семнадцатилетнюю Худякову приняли, и девушка из далёкой провинции с полной самоотдачей начала выстраивать фундамент своей судьбы. Дифференциалы, интегралы, начертательная геометрия, сопромат и прочие дисциплины, базовые для инженерного образования, больших трудностей для выпускницы ишимской школы, видимо, не представляли, но ей этого было мало: за институтскими стенами была Москва, и нельзя было упустить шанс — впитать в себя по максимуму огромный духовный потенциал, который накопила в себе за века древняя российская столица. Музеи, выставки, концерты; но самое притягательное для студентки из провинции — легендарные московские театры. Замуровать себя в институтских стенах, когда всё это рядом, а потом опять отдалится на тысячи километров, — это казалось немыслимым. И не одна Худякова так рассуждала — из её единомышленниц в институтском общежитии составилась целая компания. Цены театральных билетов, пусть хоть на галёрку, тогда были доступны даже студентам, но всё равно чего-то стоили. Где было взять деньги? И будущие инженеры нашли выход: выражаясь языком древних римлян, стали менять «хлеб» на «зрелища». А если без экивоков — стали продавать свои продуктовые карточки (спрос на них был большой!), а на вырученные деньги — билеты в театры. А сами как питались? О деталях Лидия Александровна не рассказывала, и я ограничусь двумя словами: очень плохо.

Плохо и окончилось: жестоко заболела и в институт больше не вернулась.

Опять в Ишиме

Благополучно сдав весеннюю сессию, студентка Худякова отправилась домой на каникулы. И опять удивительно, как она смогла совершить это путешествие на почти недоступном поезде через полстраны. Но у неё получилось.

Можно представить, с какими чувствами встретила её мама, Глафира Никифоровна: донельзя исхудавшая, страдающая от жестокого фурункулёза — в чём душа держится? Кстати, фурункулёз нынче не на слуху, хотя вроде с ним особо не боролись — как, например, с оспой или малярией. Дело, наверно, в том, что в условиях нормальной жизни с ним успешно справляется иммунная система организма. А если у неё не получается — значит, иммунитет ослаблен. И причины на виду: голодная (даже приставка «полу» не к месту) жизнь при повышенной нервной нагрузке.

Незамедлительно разобравшись в причинах и следствиях, мама тут же принялась вытаскивать дочь едва ли не с того света. Стратегия лечения была очевидна и проста: надо восстановить естественные силы организма, проще говоря — наладить усиленное питание. Усиленное питание в 1944 году?! Глафира Никифоровна решилась на крайнюю меру, которая была ей доступна: стала распродавать семейную библиотеку. Вот тут-то подтвердилось, что книги и в условиях военного времени имели не только духовную, но и материальную ценность. За лето обессиленную студентку удалось выходить, но в Москву её мама больше не отпустила. Вместо учёбы устроила на работу, которая оказалась под боком: воспитательницей в детский дом — видимо, тот самый, где сама работала завучем.

Но, поверьте, это была не синекура. В школе, тем более в небольшом городе, — общая для всех среда, понятная и обязывающая, родителей в случае чего можно вызвать, к директору отправить, в конце концов пригрозить

исключением. Я не предполагаю, а пишу о том, что постоянно наблюдал и хорошо помню. А из какой среды выпали дети, спасаемые в детдоме? Какую житейскую школу они прошли? Что для них — добро и зло, что — справедливость?

Причём воспитателю нужно было не читать-считать их научить (многие худо-бедно и умели — следы прошлой, утраченной жизни), а возвратить к людям, научить быть людьми. И такая задача была возложена на плечи девушки, которая сама почти ещё подросток, с одним курсом технического вуза за плечами, — правда, и с душой, огранённой едва ли не всем духоподъёмным репертуаром московских театров военной поры и мировой классикой из домашней и чукардинской библиотек. Острых коллизий у неё с детдомовцами было, конечно, немало, да и весь тот учебный год — последний военный — был сплошной острой коллизией. Но и для само́й юной воспитательницы он явился ни с чем не сравнимым «учебным годом» школы жизни. Думаю, уже тогда она в полной мере осознала, что человеческое сообщество — не стадо, которое подчиняется окрику пастуха и щёлканью бича; чтобы руководить людьми, нужно вникнуть, понять, сопережить, найти с ними общий язык. Такое отношение к себе с её стороны отмечают все, кто так или иначе работал с ней во все последующие десятилетия.

Окончился этот запредельно трудный учебный год и — так совпало — практически одновременно окончилась война. Жизнь возвращалась в мирные берега, но не прежние, а сильно изменённые ураганом войны. У Лидии Худяковой появилась возможность продолжить образование. На этот раз решение было принято более реалистичное: она отправилась не в Москву, а в Омск. Казалось, почему бы не в Тюмень, к которой незадолго перед тем приписали Ишимский район? К тому ж Тюмень была чуть-чуть поближе. Но в Омске вузовские (да и вообще культурные) традиции были несколько богаче, чем в «столице деревень». А может, причина и того проще: в Омске жила родная тётя, сестра мамы. Значит, там и угол найдётся, и без ужина не оставят.

Так или иначе, осенью победного 1945 года будущая героиня этого очерка начала учиться на историческом факультете Омского государственного педагогического института, который весной 1949 и окончила (в пединститутах тогда учили четыре года). После того её в общем порядке распределили в омскую глубинку — учительницей истории в средней школе села Азово — районного центра в Омской области. Там она исправно отработала один учебный год (который почему-то не упоминается почти ни в одной биографической справке о ней), после чего появилась вдруг благая возможность возвратиться в родительский дом — не дезертировать с «переднего края», а для выполнения важной общественно значимой миссии.

Дело в том, что 21 августа 1950 года где-то в верхах было принято решение о создании в городе Ишиме техникума на базе существовавшей тут раньше школы механизации сельского хозяйства — и примерно того же профиля[5]. По сравнению со «школой» (что-то вроде профтехучилища) это был более высокий уровень подготовки специалистов: техникум готовил не трактористов или комбайнеров, а руководителей среднего звена. А проявит себя такой выпускник хорошим руководителем — перед ним открывалась

---

[5] Когда я кликнул в интернете насчёт этого техникума, поисковик меня даже поправил: дескать, не механизации сельского хозяйства, а сельскохозяйственный. И на многих других сайтах, куда я обращался по поводу этого техникума, говорится только о сельскохозяйственном. А Лидия Александровна говорила только о техникуме механизации сельского хозяйства. В конце концов удалось выяснить что права всё-таки Лидия Александровна: техникум изначально был действительно механизации, а в сельскохозяйственный его переименовали только в 1956 году, когда она уже там не работала. Пустяк, конечно, но досадно, когда историю «для удобства» упрощают.

карьерная лестница и к бóльшим высотам. Поэтому среднее техническое образование предполагало более основательную, нежели в обычной средней школе, общекультурную и мировоззренческую подготовку (за счёт сокращения некоторых разделов традиционных школьных предметов).

Но где взять преподавателей нужного профиля и уровня для нового учебного заведения? Вот тут-то и узнали каким-то образом о молодой преподавательнице истории родом из Ишима, видимо, хорошо себя зарекомендовавшей в омской глубинке.

Любопытным образом этот переход отразился в трудовой книжке Лидии Александровны: в первой строчке отмечено, что 1 октября 1950 года она зачислена на должность преподавателя Ишимской школы механизации с/х. А в следующей строчке тем же почерком: «6 X 1950. Переведена в Ишимский техникум механизации с/х на должность преподавателя»[6]. Конечно, не место работы она поменяла, а завершились очередная стадия реорганизации «школы» в «техникум».

Следующая запись на той же странице документа помечена уже 3-м февраля (или марта — там римскими цифрами и не очень отчётливо написано) 1954 года: «Освобождена от работы по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами».

О трёх с половиной годах, разделяющих две эти даты, в трудовой книжке практически ничего не говорится, разве что про премию (150 рублей) к 8 марта 1951 года. Между тем это был важный период в биографии Л.А. Худяковой, о чём она сама мне рассказала. Но кое-что я готов и от себя добавить, потому что учился в машиностроительном техникуме (правда, в другом конце страны) как раз в те самые годы.

Прежде всего, ещё раз подчеркну, что техникум той поры — это не школа. Там даже и учились по-другому: не уроки с домашними заданиями, а лекции («пары», как в вузе). А по некоторым предметам ещё и практические занятия (семинары). И мотивированность к учёбе в техникуме была другая: не к «зрелости» готовились, а целеустремлённо получали специальное образование. И если не было случаев (по крайней мере, я о таких даже не слышал), чтобы кто-то, вернувшись с фронта, пошёл доучиваться в обычную (дневную) среднюю школу, то, к примеру, на курсе, где я учился, было несколько парней, отслуживших положенный срок уже в послевоенной армии и на флоте, и даже один фронтовик. А ребята помоложе равнялись на старших. (Я был самый молодой — поступил тринадцати лет, потому что и в первый класс пошёл ведь раньше положенного.)

А в техникуме, где преподавала Лидия Александровна, были и фронтовики, и молодые руководители из колхозов и совхозов, которые практически ощутили, что их знаний недостаточно для той работы, которую они выполняют. Так что учились усердно. А она как историк читала им главный мировоззренческий курс: история СССР с акцентом на ключевые эпизоды истории КПСС и с элементами обществоведения, — и вела по своему курсу семинары. К семинарам ей приходилось готовиться особенно тщательно: слушатели стремились «жизнь понять всерьёз», и упражняться в пересказывании учебника им было неинтересно. У каждого из них уже был изрядный багаж собственного житейского опыта, к тому ж готовились они не к ЕГЭ, а к жизни.

Особенно запомнился ей семинар по работе Ленина «Государство и революция».

Нынешний читатель, скорее всего, уже и не знает, что это одна из вершинных ленинских программно-публицистических работ, причём очень непростая для понимания. Ведь там утверждается, что революция требует разрушения старой государственной машины, а что взамен? Категорически

---

[6] Архив Администрации г. Екатеринбурга. Ф. 85. Оп. 10. Ед. хр. 1. Л. 4.

отрицается анархия, и как одно с другим совместить? К тому же писалась эта работа в самый канун Октябрьской революции (согласно популярной легенде, на пеньке в Разливе), и в послесловии к первому изданию (вскоре после Октября) автор признаётся, что хотел написать ещё одну, завершающую главу, да не успел: пришлось переключиться на практическую работу. Считайте, что 34-55-й тома Полного собрания сочинений В.И. Ленина — это конспект так и не написанной заключительной главы трактата «Государство и революция».

Так вот, молодая преподавательница истории, уже успевшая оценить своеобразие своего «контингента», резонно ожидала, что разговор будет острым, но не могла же она опростоволоситься! Лидия Александровна, конечно, помнила ленинскую работу с ещё недавнего институтского времени, но тут сочла необходимым перечитать её свежим глазом и с карандашом в руках (оцените: 120 страниц книжного текста — к одному занятию!). При этом заново продумала её основные положения применительно к той советской реальности, которая сложилась к началу 1950-х годов.

Очень неординарный семинар привёл к неожиданному итогу: после его окончания те самые ребята с опытом, оплошать перед которыми она опасалась (и не оплошала!), подошли к ней и спросили: «Лидия Александровна, а почему вы не член партии?» Не знаю, что она им ответила; но я бы на её тогдашнем месте пояснил, что в партию вообще-то не просятся, туда приглашают. Причём — соблюдая квоту, чтобы партия оставалась «рабочей»: на трёх «пролетариев» допускался один человек умственного труда. Знаю, что вузовских преподавателей приглашать в партию очень не торопились, а уж гуманитариям из техникума и надеяться было не на что. Во всяком случае, Худякова о том и не помышляла. Но её ученики (сами-то, оказывается, партийные!) смотрели на эти вещи иначе: они и в райкоме похлопотали, и рекомендации написали, так что ей оставалось только согласиться. Сколько-нибудь заметно вступление в партию (в 1952 году) на её работу и жизнь не повлияло: всё те же лекции, те же семинары; партсобрания раз в месяц — ну, так это ж только на пользу: на партсобраниях откровеннее и глубже обсуждаются проблемы коллектива. Наверно, добавилось и уважения коллег: раз в партию продвинули учащиеся — это, несомненно, педагогический успех. Вряд ли там раньше такое случалось.

В общем, все по работе складывалось как нельзя лучше. И вдруг — «по собственному желанию». Что случилось? В общих чертах я знал, но расспрашивать подробно не решался. А вот В.Ф. Юрин, бывший инструктор отдела культуры Свердловского горкома КПСС, тесно сотрудничавший с Лидией Александровной, когда она возглавляла отдел культуры обкома, — решился. В её ответе, мне кажется, чётко обозначились рамки, которых она придерживалась, если всё же допускала любопытствующих в свою личную жизнь: «В Ишиме я вышла замуж. С Николаем мы познакомились в компании знакомых. Поженились, родили дочь Елену и прожили 57 лет (его не стало в 2011-м)»[7].

Добавлю немногое, что узнал позже. Николай Сергеевич Путилов был одним годом её старше, свердловчанин; окончил УПИ и работал, кажется, на Уралмаше. В Ишим приехал летом 1954 года то ли к родственникам, то ли к друзьям. Однажды они с Лидией Александровной случайно встретились в какой-то дружеской компании, «поглянулись» друг другу — вот он и увёз её в Свердловск. В Свердловске и дочь у них родилась. Увы, и Елены Николаевны не стало в 2016 году: онкология…

---

[7] Юрин В.Ф. «Есть женщины в русских селеньях…» // Культура Урала. 2024, № 7(123). С. 50.

Начало партийной карьеры

Переезд в Свердловск стал для Л.А. Худяковой не просто очередной вехой, но важным поворотным пунктом в судьбе: уральская столица стала её второй родиной; кардинально переменился род её деятельности, хотя на новом этапе предшествующий опыт не был отброшен: корневая её система на протяжении последующих десятилетий работала исправно и, как велит природа, разрасталась.

Правда, начало свердловской жизни неожиданно осложнилось неразрешимой, как тогда начинало казаться, проблемой: Лидия Александровна долго не могла найти работу. Город большой — не сравнить с Ишимом и даже с Омском, а вакансий учителя истории в старших классах не оказалось. Это было вполне объяснимо: до старших классов доучились «дети войны», а их было катастрофически мало. Штатным педагогам едва натягивали учебную нагрузку, и не увольнять же кого-то из них ради приезжей из другой области. Хотя уровень её квалификации никем не ставился под сомнение.

Поиск работы затягивался, и в молодой семье (дочери ещё не было) даже обсуждался вариант: а не поступить ли Лидии Александровне в УПИ (Уральский политехнический)? На инженера она ведь с большим желанием и вполне успешно училась в Москве в разгар войны и сошла с дистанции не из-за разочарования в будущей профессии и желания «найти себя» (чем обычно оправдывают себя молодые люди, слабые душой и волей), а из-за форсмажорных обстоятельств. А теперь тех обстоятельств нет, молодость ещё не ушла, а опыт жизни возрос несравнимо. При таких предпосылках она же может стать прекрасным и очень востребованным специалистом! Логика казалась неопровержимой, но было в ней одно слабое звено: пришлось бы поступиться восемью плодотворными годами (в Омске и в Ишиме), где она чувствовала себя на своём месте. То есть «делать вторую попытку», при том что в первой добилась значительных результатов — не благодаря чьей-то поддержке, не потому что повезло, а лишь собственным упорством и трудом. Это означало бы отступить от себя самой. К тому ж ей было уже двадцать восемь, уже начиналась семейная жизнь — возвращаться к стартовой отметке казалось равносильным поражению. Но что делать?

В этот почти отчаянный момент кто-то из знакомых посоветовал: ты же, мол, член партии, так зайди в райком — авось помогут. Так случилось, что зашла в Чкаловский райком. Отсутствие вакансий в школах района там подтвердили, но обнаружилась вакансия в самом аппарате райкома, занять которую ей и предложили. После долгих поисков работы привередничать было бы неуместно, она согласилась практически сразу. Как видите, вынужденная посадка. Между тем это и оказалось поворотным пунктом в её биографии, говоря по-нынешнему — началом партийной карьеры.

«Стала инструктором по школам», — обозначает этот рубеж В.Ф. Юрин. Не знаю, почему он так решил, ибо в трудовой книжке Худяковой записано другое: 8 октября 1954 года она принята «в отдел пропаганды и агитации» Чкаловского РК КПСС. Проще говоря, пропагандистом — и причём тут школы?

Не помню, чтоб когда-то и где-то Лидия Александровна рассказывала о подробностях своей первой партийной работы. Наверно, считала, что рассказывать тут и нечего: рутинная кабинетная работа. Хотя и требующая (добавлю уже от себя) достаточно высокой квалификации, собранности и ответственности. По-моему, эта работа в какой-то мере напоминала её семинары в ишимском техникуме: надо было самой осмыслить актуальные события общественно-политической жизни в стране и в мире и подобрать соответствующий материал (из газет, журналов, каких-нибудь циркуляров из вышестоящих партийных органов) в помощь пропагандистам. Она тоже была из их числа, но, конечно, ими не руководила: кабинетом заведовал кто-то другой.

Это была спокойная работа, оставляющая время и для семейных дел (дочь Елена родилась у Лидии Александровны в конце марта 1956 года), так что следующая запись в трудовой книжке Худяковой появилась почти через шесть лет (13 августа 1960 года): назначена заведующей кабинетом политпросвещения. Хоть речь идёт о кабинете, работа её теперь уже не кабинетная: успех дела зависит от разнообразия и плодотворности связей с партийными организациями района. И тут очевидными для коллег стали её организаторские способности, её умение работать с людьми. Соответственно, участились и новые записи в трудовой книжке: 21 апреля 1961 года — заведующая отделом пропаганды и агитации; 13 февраля 1963 года утверждена секретарём райкома (третьим, по идеологии). А ещё через три года (23 марта 1966-го): «Избрана первым секретарём РК КПСС».

Последняя из процитированных мной записей обозначила новый рубеж, определивший всю её дальнейшую жизнь.

Решающий рубеж

Избрания первым секретарём райкома Лидия Александровна не ожидала, не хотела и всячески тому противилась, но отказаться не смогла. В этой драматической истории ярко проявились и её характер, и партийные порядки во времена Брежнева, и даже обстановка в стране. Поэтому стоит сказать о том несколько подробней, воспользовавшись при этом и воспоминаниями самой Лидии Александровны[8].

Чтоб понятней был этот сюжет, нужно вспомнить ещё одного замечательного человека, имя которого в середине 1960-х было в Свердловске у всех на слуху, а сейчас практически забыто: Геннадий Андреевич Студенок. Он был одного поколения с Худяковой (впрочем, на полтора года её моложе), его подростковые годы выпали на предвоенные и военные годы, работал учеником слесаря, учился в техникуме, по распределению попал в Свердловск. Работал на заводе и учился заочно в УПИ. В 1957-м, через два года после окончания института, был назначен главным инженером одного из свердловских машиностроительных заводов, которого нынче уже нет. А в апреле 1960 года был избран вторым секретарём Чкаловского райкома КПСС — где, как вы уже знаете, с 1954 года в отделе пропаганды на скромной должности работала Л.А. Худякова.

То, чем занималась тогда Лидия Александровна, не входило в круг забот второго секретаря, ибо вторые секретари, по сложившейся традиции, курировали промышленные предприятия района — почему, собственно, городское партийное руководство и «положило глаз» на молодого, но уже опытного и перспективного Студенка. Однако должность главного инженера предполагает не только знание производственных проблем, но и организаторские способности, умение работать с людьми; думаю, ещё и потому его призвали на партийную работу. И, конечно, эти особенности его натуры побудили его, оказавшись в аппарате райкома, пристально оглядеться по сторонам: с кем предстоит работать? Возможно, он первый и обратил внимание на несоответствие малозаметной должности, которую Худякова занимала уже больше пяти лет, потенциалу её личности, и уже через четыре месяца её назначили заведующей кабинетом политпросвещения, а ещё через полгода — заведующей отделом пропаганды и агитации.

---

[8] В последние годы жизни Л.А. Худяковой ей много помогали в житейском плане Е.К. и М.М. Полевички. Порой её посещали знакомые, которые нередко расспрашивали её о разных событиях прошлых лет. А знала и помнила Лидия Александровна много такого, о чём сегодня спросить уже и некого. Причём буквально до последнего дня сохраняла прекрасную память и ясное мышление. Поэтому Михаил Михайлович пользовался всяким удобным случаем, чтоб записать с помощью смартфона её непринуждённые рассказы, а сейчас он любезно предоставил их в моё распоряжение.

А в феврале 1963 года на районной партконференции Г.А. Студенка избрали первым секретарём райкома, а Л.А. Худякову — третьим, по идеологии, и это было понятно, закономерно, соответствовало её образованию, способностям и опыту партийной работы, накопленному за почти семь лет.

И вдруг в марте 1966 года Геннадия Андреевича избирают первым секретарём Свердловского горкома КПСС. Кто ж займёт его место в Чкаловском райкоме? Вообще-то особой интриги тут не было: партия тщательно готовила свой кадровый резерв, на примете всегда были опытные специалисты, имеющие талант и опыт организаторов. Наглядный пример — тот же Г.А. Студенок, успешно начинавший заводскую карьеру, однако избранный секретарём райкома, а потом ставший и первым секретарём горкома. А после завершения партийной карьеры Геннадий Андреевич возвратился на производство — был назначен директором крупного оборонного завода, и, можете не сомневаться, опыт партийной работы эффективно помогал ему руководить предприятием.

Но самый простой и надёжный способ заменить ушедшего на более высокую должность первого секретаря райкома — избрать первым второго секретаря. Кстати, не называя фамилии второго секретаря при Г.А. Студенке, Лидия Александровна отзывается о нём весьма положительно: «Очень хороший человек, грамотный инженер с двумя высшими образованиями. Его в районе знали».

Но события развернулись неожиданным образом. Вот как об этом рассказывала сама Худякова:

«И вдруг меня вызывает Константин Кузьмич Николаев, первый секретарь Свердловского обкома. Я до того и в обкоме не бывала, а тут вызывает первый секретарь. Я думала, вызывают нескольких человек по какому-то поводу, зашла в приёмную, а меня сразу направили в кабинет. Николаев совсем немного поговорил со мной и тут же перешёл к главному вопросу: есть, мол, предложение избрать вас первым секретарём райкома. Я до того растерялась, что вначале даже не знала, как ответить. Потом заговорила:

— Константин Кузьмич, это будет большая ошибка. Этого делать нельзя, потому что я не инженер, а это промышленный район, я историк, я женщина. Я думаю, что меня в районе не примут. И потом — я даже не представляю, как буду работать. Я видела работу первого секретаря, она всё время проходила у меня на глазах. Это серьёзная, ответственная работа, я к ней просто не готова.

— Что ж, пробуйте, учитесь.

— Но этому невозможно научиться, нужно иметь природные предпосылки.

Он не стал дискутировать, а сразу подвёл итог: будем вас рекомендовать.

Я даже заплакала, говорю: нет, нет, нет, ни в коем случае.

Он в ответ: ну хорошо, пойдите поплачьте в коридоре.

Я вышла, он вызвал к себе другого человека, М.П. Репенко (запомните эту фамилию. — *В.Л.*). Хожу по коридору, тут ещё несколько, как выяснилось, кандидатов в первые секретари райкомов, ожидающих приёма, — конечно, мужчин, иное было немыслимо. Что вскоре и подтвердилось. Вышел секретарь Николаева и говорит: “Кто Худяков? Зайдите к Константину Кузьмичу”. Фамилия ему была незнакома, а увидеть женщину в числе кандидатов на такую должность он никак не рассчитывал.

Продолжать обсуждение со мной моей кандидатуры Николаев был не намерен. Едва переступила порог — даже к столу не пригласил, просто сообщил, что завтра в пять часов пленум райкома. Вот и весь разговор».

Казалось бы, грубо и бесцеремонно; но за всё время доверительного общения с Лидией Александровной я не слышал от неё ни слова осуждения в адрес Николаева. Отчасти, думаю, это объясняется тем, что в прямом контакте с ним она не работала, её непосредственные кураторы находились в горкоме. Но главное, наверно, в другом: Константин Кузьмич оказался ведь

прав, настаивая на избрании её первым секретарём райкома! В книге В.М. Манюхина есть такая оценка: «Из всех секретарей Чкаловского райкома по праву особый авторитет имела Худякова Лидия Александрова. Учитель по образованию, она своим умом, тактом, особым подходом к делу всегда вносила настроение оптимизма и доброжелательности. Мужчины-руководители слушались её беспрекословно. Некоторые даже злоупотребляли этим. Не решив сам проблему, обращался в райком и меньшими усилиями достигал своего»[9].

Думаю, Виктору Митрофановичу можно доверять: он в контакте с Худяковой работал много лет. Окончив в 1958 году один из самых престижных технических вузов страны — МВТУ имени Баумана, — он был распределён на свердловский Химмаш, быстро и успешно прошёл несколько ступеней инженерной карьеры, затем был избран председателем завкома профсоюза, а в 1971-м — секретарём партийного комитета. Наверняка с Л.А. Худяковой они познакомились раньше, но, когда Манюхин стал секретарём парткома крупнейшего в районе завода, отсутствие тесного делового сотрудничества между ними даже представить невозможно. А когда Лидию Александровну перевели в обком, Виктор Митрофанович был избран (уже Ельциным — как раньше Худякова Николаевым) первым секретарём райкома, то есть на её место и наверняка с учётом её рекомендации. Поработав три года на этом месте, Манюхин был избран вторым, а потом и первым секретарём горкома, секретарём обкома. Даже исполнял обязанности (правда, недолго) первого секретаря обкома. Но тут наступила «демократия», и Виктор Митрофанович был сослан на дипломатическую службу аж в Нигерию… Неординарная судьба, но пишу сейчас не о Манюхине, так что возвращаюсь к главной героине очерка.

И тут нельзя обойти резонный вопрос: а почему К.К. Николаев так уверенно и безапелляционно продвигал Л.А. Худякову на должность, для которой она по главным традиционным признакам никак не подходила: не инженер (а район промышленный) и женщина (а работать придётся с «крутыми мужиками»)? (К слову, Лидия Александровна была единственной за всю историю Свердловской области женщиной — первым секретарём райкома ВКП(б)/КПСС.) Ведь до того короткого разговора в кабинете, который воспроизведён выше, Николаев, кажется, даже и знаком с ней не был.

Даром провидца Константин Кузьмич, конечно, не обладал, но он давно работал в органах советской и партийной власти[10] и хорошо ориентировался в людях. Несомненно, ему помогла и эффективная система работы с кадрами, сложившаяся в партии: людей авторитетных, ответственных, наделённых организаторскими способностями, примечали на ранних ступенях их карьеры, исподволь «вели по жизни», не столько даже испытывая, сколько давая им возможность самим осознать, что́ они могут. И когда появлялась вакансия, практически всегда было из кого выбрать. Кроме того, многоопытный руководитель области не мог рекомендовать человека на столь ответственную должность, не поговорив о кандидате с людьми, которые этого кандидата близко и хорошо знали, — в данном случае, с Г.А. Студенком.

В общем, пригласив Л.А. Худякову на беседу, Николаев знал о её деловых потенциях, возможно, даже больше, чем знала о них она сама, и ему надо было, во-первых, воочию убедиться, что она и на самом деле такова, какой он её представил на основании разных источников, а, во-вторых, сразу дать ей почувствовать, что сомневаться и колебаться бесполезно:

---

[9] Манюхин В.М. Прыжок назад. — Екатеринбург: ИД «ПАКРУС», 2002. С. 104.

[10] В фотоальбоме И.Н. Тюфякова «Павел Петрович Бажов», выпущенном Средне-Уральским книжным издательством в 1980 году, есть снимок, сделанный в кремлёвском зале заседаний Верховного Совета СССР: рядышком, в оживлённом разговоре, П.П. Бажов, К.К. Николаев, Г.К. Жуков. Снимок даёт, на мой взгляд, некоторое представление о масштабе фигуры Константина Кузьмича.

даже при категорическом несогласии она обязана подчиниться партийной дисциплине.

Пленум собрался в назначенное время, Г.А. Студенок — уже первый секретарь горкома — «предложил мою кандидатуру (вспоминала Лидия Александровна более полувека спустя), он что-то там говорил про меня, объяснял». Подробности она не запомнила, потому что была в очень расстроенных чувствах: «сижу, коленки стучат, думаю, как бы мне не зареветь только». Сейчас-то уже не установить, что он тогда сказал; посмотреть в архиве протокол того пленума, конечно, можно, но не сомневаюсь, что там зафиксированы только «дежурные» характеристики: идеологически подкована, трудоспособна, организаторские способности на высоте и т. п. А почему он всё-таки нарушил неписанный порядок, предложив на извечно мужскую должность женщину? Причины у него были, а вот рассказать о них на пленуме он точно не мог. Вывод о том можно сделать, приняв во внимание любопытный сюжет, поведанный Лидией Александровной в одной из бесед, записанных М.М. Полевичком.

Когда та история случилась, Лидия Александровна не сказала, но если Г.А. Студенок ещё возглавлял район, а Худякова была третьим секретарём, и уже началась косыгинская реформа — значит, речь о конце 1965 или самом начале 1966 года. Как раз по поводу этой реформы, сильно озадачившей тогда хозяйственных и партийных руководителей, Геннадий Андреевич и отправился к директору Химмашзавода.

Директором тогда был Александр Валерьянович Курамжин. Имя его нынче не на слуху, но, насколько я смог разобраться, человек он был неординарный, склонный к новациям, много в этом плане сделавший для завода, где в разных должностях, преодолевая ступеньку за ступенькой, работал с 1947 года. А вскоре после той истории, о которой идёт речь, он был переведён в Москву — сперва начальником главка, а вскоре стал заместителем министра.

Так вот, Студенок отправился к многоопытному директору Химмаша. Обычно в подобных случаях он брал с собой второго секретаря, но на этот раз тот был где-то занят, и Геннадий Андреевич пригласил с собой Лидию Александровну.

Когда они вошли в кабинет Курамжина, тот был чем-то сильно раздражён и встретил визитёров недружелюбно. Даже не поинтересовавшись, с чем они пришли, он начал их укорять — мол, работаете плохо: с жильём проблемы, с транспортом проблемы, а теперь вот и мяса в магазинах нет уже целую неделю. Как в таких условиях требовать от коллектива хорошей работы?

Конечно, упрёки его были не по адресу: когда подобные проблемы наблюдаются в стране повсеместно (а именно так тогда и было) — что может в принципе сделать руководство отдельно взятого городского района? Но у Курамжина был свой резон: это партия, монопольно руководившая советским обществом на протяжении десятилетий, довела экономику страны до такого состояния, а визитёры из райкома — полномочные её представители. Однако секретари райкома как раз затем к нему и пришли, чтобы обсудить с ним, компетентным человеком (и, между прочим, членом пленума райкома — значит, тоже ответственным за состояние дел), намеченные реформы, призванные усовершенствовать социально-экономическое устройство страны, оживить экономику, вдохнуть в неё новую энергию, а он распалился и даже выслушать их не хочет.

«Геннадий Андреевич, я вижу, сидит уже красный, — вспоминала Лидия Александровна. — А тот всё наступает. Мне обидно стало и за Геннадия Андреевича, и за райком.

— Мы, — говорю, — приехали у вас учиться. Ваш завод — главное в районе предприятие. У вас работает москвич, специально вызванный, чтобы помочь вам решать вопросы по хозяйственной реформе, у вас есть такая

возможность. Мы же многого не знаем, вот и приехали к вам поучиться. Вы могли бы по-человечески вести себя с нами.

А мясо у вас есть, мы по дороге сюда заехали в магазин и посмотрели. Поедемте — посмотрим.

Честно говоря, есть там мясо или нет, мы не знали, потому что не заезжали. Но я чувствовала: не поедет, откажется. Он и отказался, но присмирел. А я продолжила:

— Если вам у нас что-то не нравится, вы могли бы сказать нам о том, но в другой форме. Я очень сожалею, что вопрос, с которым мы приехали к вам, не обсуждён. Геннадий Андреевич, нам нужно здесь оставаться или нет? Я думаю, у Александра Валерьяновича уже испортилось настроение, разговор не получится. Может, мы отложим его на другое время? До свидания.

И мы пошли.

А Геннадий Андреевич так ничего и не сказал. Кажется, растерялся. Он был такой интеллигентный. Уже после сказал: спасибо. Вы, конечно, вели себя тоже очень жёстко, но это нужно было. После того, совершая поездки по заводам, он стал меня с собой брать, даже вроде боялся ездить без меня».

Судите сами: мог ли такие вещи первый секретарь горкома рассказывать на пленуме райкома? Вряд ли. Но он нашёл другие доводы, другие слова, и участники пленума — раз была однозначная рекомендация из обкома — дисциплинированно проголосовали за Л.А. Худякову единогласно.

Экзамен на зрелость

В 1960-е — 1980-е годы я довольно часто летал в Москву по литературным делам. Места мне бронировали в разных гостиницах, но памятней других — «Россия». Кого я только не встречал в этом «человейнике»: Чабуа Амиреджиби, Фрунзик Мктрчян, С.С. Гейченко… А однажды прилетел поздним рейсом, вселялся часа в три ночи, сосед по двухместному номеру закрылся изнутри на ключ и, вероятно, «видел третий сон». Тщетно дежурная по коридору пыталась дозвониться до него по телефону, потом мы вдвоём долго колотили в дверь — из соседних номеров стали выглядывать заспанные постояльцы. И тут, слышим, ключ в замке заскрипел, дверь открылась, и перед нами явился смутно знакомый старичок в исподнем. Сразу дружелюбно протянул руку для знакомства:

— Мунзук.

Ах, вон оно что: Дерсу Узала из фильма Акира Куросавы! Знакомство было интересным, но спать хотелось безумно, между тем Максим Монгужукович окончательно проснулся и был расположен к общению. Склонить его ко сну оказалось ещё труднее, чем разбудить. Так и пошёл я утром по делам с чугунной от бессонницы головой.

А в другой приезд моим случайным соседом по номеру оказался главный инженер какого-то ленинградского завода. Вечером к нему зашёл с бутылкой коньяка приятель — тоже главный инженер другого ленинградского завода. Я в распитии той бутылки участия не принимал — был занят срочными делами, ради которых приехал, да и зачем я им в таком душевном застолье? — но краем уха слышал, о чём они говорили между собой. А говорили они о косыгинской реформе, причём в таком примерно духе: «Тебе это надо?» — «Нет». — «И мне нет. Значит, ничего и не будет». Вот и не было. И сегодня бессмысленно рассуждать, была ли та реформа упущенной возможностью или изначально безнадёжным прожектом.

Однако Лидия Александровна в косыгинскую реформу верила: «Это была умная, серьёзная реформа — не сравнимая с другими хозяйственными инициативами, которые шли от Центрального комитета». Но шла она туго — то ли оттого, что руководителям предприятий было не очень понятно, как её проводить, то ли она была им просто «не нужна» — как тем моим соседям по гостиничному номеру.

Ещё вместе со Студенком Худякова посетила несколько предприятий района — и нигде признаков изменений в организации производства в том плане, как требовала реформа, они не заметили. Между тем положение дел и с жильём, и с транспортом, и с продуктами питания ни в районе, ни в городе, ни в стране лучше не стало. Более того, даже с хлебом, помнится, возникли проблемы — ввели талоны, опасаясь назвать их карточками: на «неправильные» мысли наводило бы.

А другой надежды, кроме как на косыгинскую реформу, не было.

Ещё Г.А. Студенок, возглавляя район, пытался разобраться, почему разумная реформа не идёт. Их с Худяковой неудачный визит к директору Химмаша был очередной попыткой что-то понять. И ещё при Студенке было намечено на одном из ближайших заседаний бюро райкома «заслушать шинный завод» о том, как они продвигают реформу.

Приступив к обязанностям первого секретаря, Лидия Александровна реалистично оценила ситуацию: шинный завод о реформах обязательно надо «заслушать», но за то короткое время, которое оставалось до запланированного заседания, можно было подготовить лишь стандартное «отчётное мероприятие», поставить галочку, не коснувшись сути дела. И она отложила этот пункт плана на более поздний срок, чтоб подготовиться серьёзно.

Прежде всего, посчитала необходимым самой разобраться в этом головоломном и для опытных хозяйственников вопросе. Начала с визита на всё тот же Химмаш: это был флагман промышленности в районе, если у них получится — за ними потянутся остальные. К тому же там уже не первый месяц работал консультант из Москвы — квалифицированный экономист, участвовавший в разработке реформы. Его пригласил ещё А.В. Курамжин, чтобы тот помог адаптировать завод к новым условиям.

Ко времени, о котором идёт речь, Курамжин, как и ожидалось, уехал в Москву, а на его место был назначен В.П. Климентьев — по оценке Л.А. Худяковой, опытный руководитель, прежде работавший заместителем председателя Свердловского совнархоза. (Более подробных сведений о нём, даже его имени-отчества, я ни в справочной литературе о городе, ни даже в интернете не нашёл.) Климентьев к её просьбе помочь отнёсся очень внимательно, времени на разговор не пожалел. Связалась она и с экономистом из Москвы (фамилия у него была Сиро́та, а как его звали — не запомнила). Москвич тоже отнёсся к ней с большим пониманием: как она сама вспоминала, в сути реформы помог разобраться хотя бы теоретически.

Для изучения ситуации на шинном заводе создали комиссию из грамотных экономистов, привлекли к работе весь аппарат райкома. Подготовили подробный аналитический материал, выработали проект постановления (с которым Худякова ещё раз сходила к московскому консультанту, и Сирота грамотно кое-что подкорректировал). Заседание сделали не просто открытым: на него Лидия Александровна пригласила директоров заводов, секретарей партийных организаций всего района. Вспоминая о том более полувека спустя, призналась: «Сама удивляюсь своей смелости». «А в чём смелость?» — спросите вы. Но это же очевидно: проводить обсуждение столь сложного вопроса перед целым залом людей, прекрасно знающих реальные проблемы экономики, хозяйственное состояние предприятий — это, можно сказать, экзамен на зрелость «направляющей и руководящей» силы района.

Обсуждение получилось предметное и конструктивное. Хоть для всех было очевидно, что на шинном заводе практически ничего в плане реформы не делается, карательные меры по отношению к руководству предприятия в итоговом постановлении не применили. Не знали же, что делать и с чего начать. Но после квалифицированного обсуждения в райкоме — «цели ясны, задачи определены», вот и начинайте с нуля. А если и дальше будете так же безучастны — и с вас, и с других спросится по полной. Тоже стиль Худяковой.

Как вспоминала потом Лидия Александровна, заседание бюро закончилось, директора вышли в коридор и не спешили расходиться: ходили по ко-

ридору, что-то обсуждали. Потом В.П. Климентьев ей сказал, что обсуждали они не хозяйственную реформу, не шинный завод, не свои какие-то проблемы; они обсуждали, что Худякова грамотно провела обсуждение. Таким образом, «экзамен» был сдан на отлично, но ведь экзамен — это только допуск к ответственной работе, а вот как пойдёт работа?..

Забастовка на РТИ

Несколько месяцев прошло после памятного заседания бюро, и на территории Чкаловского района грянули события, о которых, как вспоминала Лидия Александровна, говорили и на радио «Голос Америки», и на «Свободной Европе». (Но в советских средствах массовой информации — ни намёка. Можете удивляться, но тогда я о них даже не слышал, хотя работал на философском факультете и постоянно общался с людьми весьма осведомлёнными; власти умели подобную информацию купировать.)

На заводе РТИ (резиновых технических изделий) вспыхнула забастовка — немыслимое по тем временам в Советском Союзе событие.

С чего и как она начиналась, Лидия Александровна не рассказала: это происходило не на её глазах. Она не упоминается и на официальном сайте РТИ, где есть и информация об истории предприятия. Но всё же нашлась небольшая статья в историческом журнале[11], которую пересказывают и некоторые интернет-просветители, почему-то не называющие собственных имён. Буквально три абзаца этой статьи посвящены забастовке на заводе РТИ в апреле 1967 года. Вот что говорит историк о её причинах:

«Её вызвал комплекс причин: тяжелейшие производственные условия, новый режим работы, установленный в связи с переходом на пятидневную рабочую неделю, высокомерие и грубость в отношениях с рабочими директора завода Т. Гордеевой. На заводе улучшению условий труда внимания не уделялось. Многие трудоёмкие технологические процессы подготовки и транспортировки наполнителей готовой продукции, отделки формовых изделий механизированы не были. Доля ручного труда на заводе составляла половину всех трудовых затрат. На ряде участков была высокая степень запылённости и загазованности помещений. Вентиляция не работала, летом не был организован питьевой режим. Это обусловило высокий уровень простудных заболеваний рабочих».

Это был, так сказать, привычный фон. А непосредственным толчком, поднявшим волну протеста, стали непродуманные и беспорядочные эксперименты с организацией труда, которые нынче назвали бы «оптимизацией». Словом, довели!

И вот 22 апреля (день выбрали явно с подковыркой: день рождения В.И. Ленина), к тому ж суббота (день в то время рабочий, но укороченный: пошумели и разошлись по домам), большая группа работников завода утром вместо того, чтобы разойтись по рабочим местам, отправилась к заводоуправлению в надежде жёстко поговорить с начальством. Навстречу им из парадных дверей вышла тогдашняя директриса — некто Т. Гордеева. Откуда и как попала в руководящее кресло эта явно неумная особа, мне не удалось выяснить даже во всезнающем интернете. Но ведь была же! Вышла — и прямо от дверей крикнула в густеющую толпу: мол, расходитесь сейчас же, а то позвоню мужу, и он приведёт полк милиции, чтоб вас разогнать[12]! Плес-

---

[11] Прищепа А.И. Забастовки на Урале в 1940–1960. // Вопросы истории. 1998, №6.

[12] В кратком телефонном справочнике для служебного пользования, изданном в 1966 году, я обнаружил: «ГОРДЕЕВ Лев Николаевич. Заместитель начальника городского управления милиции». Но кем-то из прежних владельцев этой книжечки от руки внесена поправка: этот же персонаж представлен уже как начальник подписного розничного агентства «Союзпечать». Может, взбалмошная жена-директриса поспособствовала такому повороту карьеры полковника милиции?

нула, как говорится, масло в огонь. И полыхнуло: с криками «Бей проститутку!» женщины-работницы кинулись на директрису. Та оказалась юркой и успела скрыться за массивной дверью. Ломать дверь, бить стёкла и калечить начальство мирные переговорщики, враз превратившиеся в бунтовщиков, к счастью, не стали, но по рабочим местам не разошлись. Трудно сказать, во что бы это в конце концов вылилось, но подъехал Я.П. Рябов (кто-то же сообразил позвонить в обком) и погасил разгорающийся пожар.

Яков Петрович не привёл за собой полк милиции, приехал даже без личной охраны — она ему была и не положена: он был тогда второй секретарь обкома. Он просто вышел из машины и спокойно пошёл к толпе «бунтовщиков». Не знаю точно, что он им тогда говорил, но, во-первых, и тон его, и сама внешность внушали доверие: этакий богатырь, косая сажень в плечах; во-вторых, он происходил из заводской среды[13] и говорить с рабочими умел. А главное — сразу предложил им то, ради чего они и «взбунтовались»: содержательное и ответственное обсуждение их проблем, причём даже на более высоком уровне, нежели они рассчитывали.

Конечно, такое ЧП сильно возбудило и, вероятно, напугало партийное руководство страны. Как вспоминала Лидия Александровна, его собирались обсудить на Политбюро, но, подумав и взвесив, отказались от этого намерения. Их можно понять: «забастовка» отражала не локальные просчёты, а критическое положение в экономике «развитого социализма». Как можно было поправить положение? Кого-то наказать, кого-то попугать? Не предложив реального разрешения кризиса, можно было только усугубить положение. А вынести этот вопрос на заседание Политбюро, не имея в виду практического результата, значило предать огласке ЧП, которое могло и породить «опасные» разговоры, и даже послужить для кого-то примером. Нет уж, лучше пусть у себя, на бюро обкома обсудят.

Заседание бюро обкома было. «Все партийные функционеры районного масштаба, ответственные за случившееся, получили партийные взыскания», — утверждает историк А.И. Прищепа. Я не уверен, что в этой фразе отразилась реальность, а не инерция мышления: раз партия — значит, репрессивные меры. Неумную Т. Гордееву убрали точно — скоро, но не сразу. Но Лидия Александровна вспоминала иное: «Кому-то сделали какие-то замечания, и на этом тихо всё закончилось». Я больше доверяю её памяти, тем более что в бывшем партархиве смотрел личное дело Л.А. Худяковой — и нет в нём взысканий по поводу тех событий, а при репрессивном подходе её-то должны были «наказать» первой.

Думаю, сыграла роль и позиция Я.П. Рябова: курируя со стороны обкома этот вопрос, он прекрасно понимал, что репрессивными мерами такие проблемы не решить, и с самого начала задал делу другое направление.

«Яков Петрович, — вспоминала Лидия Александровна, — пригласил всех в зал, и там целый день слушали выступления работников РТИ. В основном, рабочие выступали, но инженеры тоже. Говорили правильные вещи: очень тяжёлые условия труда, невыносимые жизненные условия: бараки, перенаселённость, не хватает мест в детских садах, нет даже клуба; не соблюдаются требования закона, что при тяжёлых условиях труда работники должны получать молоко».

Не очень понятно: Рябов сразу всех пригласил, как только погасил «бунт», или немного погодя, чтоб, с одной стороны, обеспечить присутствие ответственных людей (из обкома, горкома, райкома, из советских органов), с

---

[13] Яков Петрович был начальником цеха на Турбомоторном заводе, когда я там работал (но тогда я его не знал), потом его избрали секретарём парткома (я уже учился в университете), потом — Орджоникидзевский райком, горком, обком (а ему ещё не было и сорока). Примечательно, что после завершения своей очень высокой партийной карьеры Я.П. Рябов прослужил ещё четыре года чрезвычайным и полномочным послом СССР во Франции.

другой — дать возможность остыть страстям, чтоб разговор получился спокойный и деловой. Так или иначе, на этом собрании Худякова не просто присутствовала — она, по её признанию, всё записывала. А потом, перечитывая записи, задумалась: «Как же я буду работать? Трудности, о которых на том собрании говорилось, были не только на РТИ: бараки были и на мясокомбинате, и на заводе-новостройке[14], и даже на Химмаше». Вот об этом детально поговорили на бюро райкома, выявили целую гамму ключевых вопросов, которые каждому руководителю предприятия следовало взять на особый контроль. Для себя Лидия Александровна составила конкретную программу работы на предстоящий период, в которой выделила два ключевых направления: убрать бараки и решить вопрос с транспортом. Работа по этой программе не только определяла суть партийного руководства районом, но и для неё лично означала процесс «вставания на ноги», как она выразилась, в качестве руководителя района.

Помощь «свыше»

Вопросы, поднятые во время обсуждения забастовки на РТИ, были в райкоме тщательно проанализированы и классифицированы при участии руководителей предприятий, представителей партийных и советских органов города, опытных хозяйственников. Определили максимум того, что можно и нужно сделать собственными силами и с помощью местных организаций. Скажем, наведение порядка в организации и улучшение условий труда, совершенствование технологий, механизация трудоёмких неквалифицированных операций — кто ж этим будет заниматься, если не руководство предприятий? А вот улучшить продовольственное снабжение своих работников у предприятия не получится без помощи городских органов распределения и торговли. Детские сады, школы, больницы — в этом тоже без помощи города не обойтись, хотя тут и город не всегда поможет: откуда взять такие средства? А с самыми нерешаемыми вопросами — о жилье и транспорте — хоть ко Всевышнему обращайся. Но, как говорится, до Бога высоко…

И тут Худякову осенило. Готовились очередные выборы в Верховный Совет СССР. Церемония выдвижения кандидатов в депутаты была не такой уж примитивной, как её принято трактовать сегодня, но это отдельный разговор. Я же хочу обратить внимание лишь на один специфический момент: не слишком длинный, но стабильный список персонажей, олицетворяющих партийно-государственную власть, распределялся сверху по провинциальным избирательным округам с негласным указанием организовать их выдвижение и избрание. Лидия Александровна поинтересовалась у более опытных коллег, пользуются ли они возможностями таких депутатов. Оказалось — нет, вся связь с ними сводится к тому, чтобы, если они приезжают с «отчётами» к своим избирателям, организовать им аудиторию. Лидия Александровна решила поломать эту традицию.

В депутаты от Чкаловского района баллотировался в том году Андрей Павлович Кириленко — фактически второе лицо в партии, претендовавший, по легенде, даже и на роль первого лица, когда Л.И. Брежнев (а для него, по старой дружбе, просто Лёня) собирался по состоянию здоровья уходить на покой. В одной из публикаций о Худяковой я встретил утверждение, будто бы она была доверенным лицом этого высокопоставленного кандидата, поэтому имела к нему доступ. Как-то я спросил у самой Лидии Александровны, так ли это было, и она категорически отвергла эту версию. Насколько я понял, когда Кириленко работал первым секретарём Свердловского обкома,

---

[14] Лидия Александровна имеет в виду завод керамических изделий, который начали строить ещё в 1950-х, но в 1960-е годы он продолжал активно развиваться, и уже тогда возле промышленной зоны разросся большой жилой микрорайон.

они и знакомы-то не были. Он уехал в Москву в апреле 1962-го, а она в это время заведовала отделом пропаганды и агитации райкома: дистанция огромного размера! По её словам, она даже в обкоме тогда не бывала.

А тут — хоть тоже ведь в невысоком партийном статусе — решила добиться личной встречи почти с небожителем — секретарём ЦК и членом Политбюро.

Тщательно продумав все вопросы, она отправилась в Москву и позвонила в приёмную Кириленко: дескать, я первый секретарь Чкаловского райкома партии Свердловска и хотела бы встретиться с Андреем Павловичем, кандидатом в депутаты Верховного Совета от нашего района. И представьте себе, Кириленко принял её в тот же день!

Лидия Александровна так вспоминала о том визите:

«В первый раз я поехала к Кириленко одна. Но перед тем пригласила к себе директоров от новостроя и мясокомбината, и они мне чётко описали ситуацию: сколько человек живёт в бараках, сколько нужно построить домов, чтобы переселить их обитателей в нормальные квартиры. И с этим я поехала к Кириленко. С ним было просто. Он берёт трубку, звонит соответствующему министру и говорит примерно так:

— Иван Иванович, вот тут у меня сейчас первый секретарь Чкаловского райкома из Свердловска по поводу вашего барака на таком-то заводе. Ей говорят, что эту проблему решить очень сложно. Но её надо решить. Я говорю вам об этом как депутат от этого района. Поймите, я просто обязан помочь в решении этого вопроса.

После такого разговора он называл время, когда они там примут меня, и просил доложить ему потом, как решился вопрос.

Таким же образом я сходила и в другие ведомства с другими заботами. И везде меня встречали хорошо. А когда возвратилась домой, мне рассказали, что после моего визита в министерство по поводу жилья для кирпичного завода, замминистра позвонил директору завода: это, мол, кто такая? Тот ответил, что это наш первый секретарь».

Так что первый визит Худяковой к Кириленко получился на удивление продуктивным. Андрей Павлович пообещал помочь ей в сносе бараков, в строительстве детских садов и даже в строительстве дома культуры РТИ. «Остальное, — сказал, — ваше, делайте сами».

Результат, о котором матёрые производственники даже мечтать не могли, впечатлил общественность. Если авторитет её начал утверждаться с признания директорами предприятий, что она хорошо провела расширенное бюро райкома, посвящённое шинному заводу, то теперь директора поняли, что она как руководитель может делать что-то такое, что им не под силу. И начали эксплуатировать эту её способность где-то уже и за рамками приличий. Но она не отказывалась им помочь: они ведь не для себя просили. И раз за разом ездила к Кириленко — и всегда с положительным результатом.

Однако меру она знала и помощью «небожителя» со Старой площади старалась не злоупотреблять: ему же может и наскучить. Сперва она обращалась в нужное министерство (там обычно её уже знали по прежним посещениям), и вопрос удавалось решить, не прибегая к «тяжёлой артиллерии». Но уж если не получалось…

Как-то она отправилась в Москву по делам, связанным со строительством керамического завода: там были неотложные, но нерешаемые вопросы с транспортом, кадрами и, конечно, с жильём. Её без бюрократической волокиты принял министр Иван Александрович Гришманов — очень сильный, по её словам, руководитель. Она чётко изложила ему суть дела: завод далеко за городом, транспорт практически никакой — пустили автобус, но он не может обслужить такое количество работников, нужен трамвай. И ещё: завод развивается, а работать некому: негде жить, да и людей нужных специальностей в городе нет — откуда им взяться? Необходимо открыть техническое училище.

Министр внимательно выслушал, со всеми доводами согласился, но сказал, что министерство сейчас решает очень важные государственные проблемы и у него сложное финансовое положение, так что решить вопросы свердловчан они никак не могут. Так ни с чем она и ушла.

А через два часа ей предстояло быть (заранее было договорено) у Кириленко — по какому-то другому вопросу. Обсудили тот вопрос, и Андрей Павлович по обыкновению поинтересовался, как у неё дела. Она ему рассказала про неудачный визит к Гришманову. Тут же он снял трубу: «Иван Александрович, как у тебя дела, какие проблемы решаешь?.. Вот тут у меня сейчас первый секретарь Чкаловского райкома», — и дальше, как обычно: надо помочь!

Недолго они говорили; что отвечал министр, она не слышала. А с Кириленко всё, что намечалось, было обговорено — пора уходить. До гостиницы было недалеко, самолёт — только вечером, и Лидия Александровна решила по пути зайти в магазин, сделать ещё какие-то дела. Когда наконец пришла в гостиницу, дежурная кинулась к ней: дескать, вас разыскивают по телефону, несколько раз звонили. «Кто мне может звонить?» — пожала плечами Худякова, но в этот момент телефон зазвонил снова, и опять спрашивают её. Оказывается — помощник Гришманова. Он сообщил, что они там пытаются найти решения её вопросов. «Хорошо, — обрадовалась она, — если нужно, я завтра приду». — «Не нужно завтра, — отвечает. — Часа через два сами позвоним, только никуда не уходите».

«Трамвай построили, когда я уже работала в обкоме, — вспоминала десятилетия спустя Лидия Александровна. — Но строители настояли, чтобы ленточку на церемонии открытия резала я, потому что они знали, как я занималась этим трамваем. Они позвонили мне и сказали: приезжайте сдавать трамвай. Я, конечно, с радостью поехала. Ленточку мы перерезали вместе с Савиновым, управляющим Горстроя. Увидев, что об этом событии снимается репортаж для телевидения, я подошла к телекорреспонденту и говорю: как же вы будете объяснять своему начальству, что завотделом культуры обкома разрезала ленточку? Но он знал своё дело, и сюжет получился корректный.

А вот как решился вопрос с техническим училищем — не знаю, к тому времени я уже из райкома ушла».

Подобным образом Л.А. Худякова решала вопросы и с прокладкой троллейбусной линии по Самолётной, в сторону шинного завода (но там были ещё табачная фабрика, завод металлоконструкций и другие предприятия), и с расселением бараков, которые строились ненадолго, чтоб приютить беженцев во время Великой Отечественной войны, но эксплуатировались уже третий десяток лет, и, казалось, сносить их никто не собирается.

Кстати, жилья в то время строилось много, но очереди на его получение росли ещё быстрее. Расширялись предприятия, подрастала молодёжь — новых работников требовалось «укоренять», а то уедут куда-нибудь на севера. Ну, а барачные жильцы столько терпели — и ещё немножко потерпят. Странное было время: вроде страна бурно развивалась, но зародилось и нарастало ощущение застоя. Лидия Александровна как раз против этого застоя боролась всеми доступными ей (а другим и недоступными) средствами. Статус первого секретаря райкома, при всей его значительности, заняться изменением ситуации в стране не позволял, но в том, что «после 1967 г. “справедливые возмущения рабочих”, связанные с отказом от работы, в материалах Свердловского обкома и горкома КПСС больше не фиксировались» (как утверждается в статье А.И. Прищепы о забастовке на РТИ), заслуга Худяковой очевидна. Суть её партийной работы заключалась в том, чтобы создать человеческие условия для жизни человека. Тогда он и работать будет по-человечески, и разговаривать с ним можно будет по-человечески.

Такова была её жизненная позиция. Соответствовала ли эта позиция политике партии? Какие могут быть сомнения, если даже виднейший партчиновник Кириленко ей активно помогал. Но потому ли он ей помогал, что видел в ней активного борца за дело партии? Ни в одном сюжете её воспоминаний этот мотив не просматривается. Напротив, очевидно, что мотивы у него сугубо личные, которые сам он не объяснял, а предположить можно разное. Например, порадел землячке. Ну, так у Андрея Павловича таких землячек и земляков было пол-России: родился в Воронежской губернии, работал на Донбассе, учился в Ярославле… Свердловск в его биографии был важным, а всё-таки эпизодом.

Нынешним нравам была бы созвучна версия о том, что властный старик поддался её женскому обаянию; Лидия Александровна об этой версии знала, но отмахивалась как от заведомой глупости. Она предполагала другое: с этими добрыми делами он хорошо выглядел на фоне Политбюро. Они ведь все там были депутатами Верховного Совета, и выбирали каждого из них по такой же схеме. Но отчитаться о своих депутатских делах им было нечем, а у него — целый список.

Думаю, это была правда. Но — не вся: обаяние тоже не надо сбрасывать со счетов, только у неё оно было другого рода: живой, искренний, умный, доброжелательный человек, чья жизнь наполнена смыслом; убеждённый, что большая цель объединяет людей; не склонный командовать, даже если статус позволяет, но настроенный на сотрудничество, — такой она была со времён ишимского техникума. Так о ней отзываются все, кто общался с ней и по партийной, и по культурной линии, да и просто по-человечески, на протяжении десятилетий; такой и я её знал более полувека. Думаю, что и А.П. Кириленко этот характер почувствовал в ней уже при первом разговоре — а таких людей за долгие годы своей партийной карьеры доводилось ему, думаю, встречать не много…

Другой вопрос — как легко он решал её проблемы, этакий Гарун-аль-Рашид со Старой площади. Но и тут, мне кажется, особой загадки нет. Всё дело в тогдашнем устройстве нашей экономики. «Плановая система» была, выражаясь осторожно, не очень плановой. Цели ставились, предпринимались энергичные усилия, чтоб их достигнуть, но механизмы, призванные обеспечить движение в нужном направлении, были не проработаны и не сбалансированы (кстати, с самого начала, с первой пятилетки). Помню невероятный, с точки зрения здравого смысла, пропагандистский слоган, который когда-то (кажется, как раз в те времена, когда во главе нашей области стоял А.П. Кириленко) долго красовался на газоне вдоль трамвайной линии при повороте из города на ВИЗ: «План — это закон, выполнение — долг, перевыполнение — честь». Звучит красиво, но ведь перевыполнение (равно как и невыполнение) — нарушение плана! За это наказывать надо. А у нас, видите ли, — «честь». Но дело в том, что наш бездонный, как Маракотова бездна, дефицит легко поглощал практически всё, что производилось и сверх плана (что было не нужно, приобреталось про запас в рассуждении, что завтра это непременно станет дефицитом). А если чего не хватало для выполнения плана, в дело вступали «толкачи» (которых, вероятно, было не меньше, чем сегодня самокатчиков, привозящих пиццу «от 15 минут»). Они «окучивали» распорядителей «фондов», а для последних дефицит («хотя бы маааленький дифисит» у персонажа Аркадия Райкина) был инструментом манипуляции людьми, средством обретения личного достатка и самоутверждения.

Большой партийный начальник, конечно, не лишён был тщеславия, и я представляю, какое удовольствие он испытывал, наблюдая, как у посетительницы с далёкого, но памятного ему Урала, то есть как бы из его прошлого, загораются глаза, когда он походя решает по телефону неразрешимые для неё проблемы: вот каких вершин могущества он достиг! Такое внимание ему льстило, и он действительно рад был ещё и ещё раз повторить для неё свои волшебные представления.

А Лидия Александровна в суть этих «чудес» не вникала — и правильно делала: неосторожным любопытством легко было отпугнуть «иллюзиониста» и навсегда потерять возможность решать нерешаемые проблемы.

У руководителей предприятий мотивы были ещё прагматичней и понятней: им нужно было, чтоб работа шла, план выполнялся, и работники были довольны. Само собой это не могло образоваться, приходилось решать много порою трудно решаемых проблем. Вот тут им охотно помогала Л.А. Худякова — пусть и с помощью Кириленко, так сами бы они к Кириленко не пробились, а пробились бы — вовсе не факт, что он стал бы для них, как для неё, звонить министрам и решать их дела. Так что этот способ помощи вовсе не принижал, а, напротив, повышал её авторитет в их глазах. И уже не только директора предприятий Чкаловского района приходили к ней за поддержкой — порой и руководители ведомств другого плана и уровня прибегали к её помощи.

Любопытный мемуар на эту тему написал для книги, посвящённой 30-летию Института экономики УрО РАН, ветеран института И.С. Иоффе[15]. Он вспомнил о том, как летом 1971 года вместе с двумя коллегами и председателем Свердловского Горплана маялся в Москве, обивая пороги разных (в основном высоких) инстанций, чтобы учесть в очередном пятилетнем плане страны комплексный план развития Свердловска — результат усердной работы молодого, но амбициозного коллектива: «Два тома таблиц, обобщённый доклад, краткая справка. Красный переплёт, тиснение». Притязания их понятны: господдержка, гарантированное финансирование, фонды. Но для государства — лишние расходы и немалый груз ответственности; зачем Совету Министров лишняя головная боль? Во всех инстанциях труд института хвалили, а в пятилетний план включать отказывались: дескать, возникнет опасный прецедент, всем захочется. К ним приехал на подмогу зам. председателя горисполкома, но и от него пользы не было.

И вот однажды утром они шли, удручённые неудачами, по бесконечному коридору гостиницы «Россия», обсуждая, что бы ещё предпринять, и вдруг навстречу им Лидия Александровна Худякова — бодрая, загорелая, жизнерадостная: возвращается из отпуска, который провела на юге. Поздоровались, остановились; слово за слово — они ей рассказали о своих мытарствах, и она им походя решила (опять-таки через Кириленко!) все вопросы, ради которых они тут маялись неделями. Поддержала репутацию молодого института и помогла городу. Прямо то ли святочная история, то ли сказка из «Тысячи и одной ночи», но такой случай действительно был. Разве что в одном погрешил Илья Соломонович: это он назвал Худякову доверенным лицом депутата Кириленко, даже в заголовке своего мемуара это отразил. Между тем, как читатель знает, Лидия Александровна таковым никогда не была.

А год спустя после описанного ветераном-экономистом случая произошла подобная же история, даже на том же самом месте, но с важными нюансами. Группа директоров обратилась к Лидии Александровне с традиционной уже просьбой порешать с Кириленко очередные их проблемы. Но на этот раз она их разочаровала: дескать, всё, решён вопрос о моём переводе в аппарат обкома, и в каком же качестве я теперь буду обращаться к Андрею Павловичу? Они стали её уговаривать: мол, попробуйте последний разок. «Но я ухожу в отпуск и завтра улетаю в Кисловодск, — объясняла она. — Уже билет в кармане». Они нашли компромисс: мол, возвращаться всё равно будете через Москву, а мы вас там встретим. И опять всё получилось (хоть и не без некоторых осложнений). Причем Андрей Павлович не только не поинтересовался, кого она теперь представляет, но даже поблагодарил за то, что она нашла возможность его навестить. А между делом решил вопросы, которые без его помощи свердловские директора не могли решить.

---

[15] Иоффе И.С. О пользе доверенных лиц. / История Института экономики Уральского отделения Российской Академии наук. — Екатеринбург, 2002. С. 311-313.

Заведовать культурой — это как?

Только что рассказанные истории заставляют предположить, что была какая-то странность с переводом Л.А. Худяковой из райкома в обком. Начнём с того, что примерно пятилетнее пребывание Лидии Александровны на посту первого секретаря Чкаловского РК КПСС было, бесспорно, успешным. Следы её работы тех лет видны до сих пор (хотя мало кто помнит, что это её следы). Трамвайная и троллейбусная линии на Керамику. Современные благоустроенные дома на месте бараков. (Кстати, именно Худякова начала планомерную работу по расселению бараков — до того, как громкую кампанию по сносу бараков и ветхого жилья объявил Б.Н. Ельцин, когда его избрали первым секретарём обкома. Может, её пример его и вдохновил?). А ещё по её инициативе построен Дворец культуры РТИ, хотя строился он уже после её ухода в обком. Очень популярный был культурный очаг в отдалённом от центра районе. Здание стоит и сейчас, но, к сожалению, с приходом «демократии» дворец свои просветительские функции утратил, а название его, известное во всём городе, присвоило очередное «ООО», промышляющее сдачей в аренду торговых площадей.) Ну, и добавьте ко всему беспримерный авторитет Худяковой у «крутых мужиков» — директорского корпуса большого промышленного района.

Срок пребывания на посту первого секретаря райкома, насколько я помню, уставом КПСС не был ограничен, и некоторые партдеятели, явившие способность к такой службе, занимали этот пост и три, и пять сроков. Я обращал ваше внимание на фамилию М.П. Репенко, который был следующим за ней в очереди на приём к К.К. Николаеву, когда тот вызывал её «на смотрины» перед избранием первым секретарём райкома. Так вот, Михаила Петровича избрали первым секретарём Октябрьского райкома в тот же день, что и её — Чкаловского, и проработал он на этом посту почти четверть века! Не сомневаюсь, что Худякова вполне могла проработать первым секретарём райкома не меньший срок.

Однако успешных первых секретарей не только долго не сменяли — некоторых из них, напротив, сменяли очень скоро: продвигали на более высокий пост — в секретари горкома, потом обкома, а иных и в Москву забирали. Так было и с предшественником её в Чкаловском райкоме Г.А. Студенком, и с её преемником В.М. Манюхиным.

Так почему же её секретарскую карьеру прервали так скоро?

Не ищите подвоха: найти на её место в райкоме толкового парторганизатора среди, например, заводских парторгов было не так уж сложно, технология была отработана, кандидатов хватало. А вот найти грамотного, понимающего и ответственного руководителя на должность заведующей отделом культуры обкома, которую ей предложили, было почти нереально. Едва ли на то сгодились бы Студенок или Манюхин, да хоть бы и сам Рябов.

Отдел культуры не был традиционным подразделением аппарата обкома, его в Свердловске образовали только в 1969 году (в других обкомах и того позже), а раньше соответствующие функции выполнял отдел пропаганды и агитации — и нетрудно себе представить, что получается, если театр, музыка, живопись проходят по ведомству пропаганды. Лидия Александровна не первой заведовала новым отделом, я был знаком и с её предшественником, и с преемницей, но кто их сейчас помнит? По-человечески вполне нормальные люди, но своего следа не оставили: уровень оказался совершенно не тот.

Почему создали этот отдел и почему так сложно было найти человека, который мог бы его возглавить? Не погружаясь в дебри социальных теорий, объясню «на пальцах». Советское государство с первых лет существования, конечно, наломало много дров в области культуры, а всё-таки базовые тенденции (развитие образования, науки, искусств) при этом сохранялись, и общество на протяжении советских десятилетий, несмотря на немалые издержки, заметно, скажем так, умнело. А умным обществом руководить

лозунгами, окриками и кнутом не получится. Импульсивный Н.С. Хрущёв своими примитивными, да ещё и в грубой, хамской форме, поучениями на знаменитых встречах с художественной интеллигенцией если и не впервые спровоцировал, то усугубил раскол между художниками и партией, который так и не был преодолён до конца советской эпохи. Отчасти и поэтому художники помогли потом дискредитировать идею социализма — хотя эта идея родственна самой природе художественного мышления.

Так что в 1970-х заняться вплотную сферой культуры, потеснив даже «базисные» приоритеты, партию заставила необходимость упрочить свои позиции в обществе, ибо мировоззренческий фундамент, на котором изначально стояла советская власть, был сложен из непрочных материалов и, как некачественный бетон, начал размываться, выветриваться, рассыпаться.

Нужда-то была очевидной, но где найти компетентные кадры? Прагматичных распорядителей («менеджеров», говоря по-нынешнему) для этой сферы и в советские времена, и сейчас — хоть отбавляй, но человека заинтересованного, со вкусом, умеющего слушать и понимать, предрасположенного не командовать, а помогать, в том числе помогать художнику понять самого себя, — такого человека во все времена найти непросто.

Не знаю, как Я.П. Рябов вышел на Л.А. Худякову: может, кто-то из окружающих обратил его внимание, но скорее, сам рассмотрел, когда разбирался с забастовкой на заводе РТИ, а она в том участвовала. Так или иначе, когда он осмотрелся в должности первого секретаря обкома, то решил не откладывая, не ожидая очередной отчётно-перевыборной кампании в районах, прямо в разгар летнего отпускного сезона, предложить Лидии Александровне возглавить отдел культуры обкома. Вряд ли в партийной табели о рангах это выглядело повышением — её будто перевели с магистральной трассы на боковую дорожку, — но она понимала, что это нужно для дела, к тому ж в её вкусе: сложно, интересно. Да и партийная дисциплина не оставляла места для колебаний. И она согласилась.

Поле деятельности ей было отведено не только обширное и с крайне сложным «рельефом», но и с размытыми границами. Скажем, литература — она ж всегда была основой художественного сознания. И понятно, что Союз писателей оказался в зоне её ответственности. Лидия Александровна познакомилась с писательским непростым «контингентом», вошла в курс дел областной писательской организации, непременно присутствовала на отчётно-выборных писательских собраниях, и руководители организации проторили дорожку в её кабинет — похлопотать о какой-то помощи, а то и просто напомнить о себе, подарить ей свою новую книгу, пообщаться.

Между тем журнал «Урал», более, чем писательские посиделки, влиявший на живой литературный процесс, был не в её «епархии»: им с момента учреждения и до упразднения обкома занимался отдел пропаганды. Моё назначение главным редактором «Урала» с Худяковой не согласовывалось, меня ей даже не представили, и она в наши проблемы не вмешивалась, потому что это было бы расценено коллегами из отдела пропаганды как покушение на их прерогативы.

Кажется, лишь однажды Лидия Александровна позвонила мне в редакцию — когда возник у нас спор с кураторами из обкома о названии идущей в очередном номере повести Александра Филипповича. Повесть называлась «Хохол и Ласточкин», и кому-то в отделе пропаганды пришло в голову, что «хохол» в заголовке — это «неполиткорректно» (что тут скажешь: на десятилетия вперёд ребята смотрели!). Измените, говорят, название — уберите «хохла». А в то время Саша Филиппович лежал в больнице с онкологией в последней стадии. Он и всегда-то бурно возражал против любой правки, а тут название выношенное, звонкое. И что же — переименовывать повесть без ведома автора или надсажать душу человека, который вот-вот переступит грань, конъюнктурными заботами? Я не соглашался, а они упорствова-

ли, причём не правда, но грубая сила была на их стороне: дали знак цензуре, а без её штампа типография не печатает номер. Процесс остановился.

В этой патовой ситуации и позвонила мне Лидия Александровна — явно по просьбе коллег из отдела пропаганды. «А как зовут, — спрашивает, — “хохла” из этой повести?» — «Петро Корнеевич», — отвечаю. «Так и назовите “Петро Корнеевич и Ласточкин”, а больше ничего менять и не надо, — советует она. — Смысл тот же, и звучит не хуже. Подумайте».

И надо же так случиться, что как раз во время этого разговора в мой кабинет вошёл М.П. Шевченко — секретарь Союза писателей РСФСР, только что приехавший из Москвы специально на писательское собрание, намеченное на тот же день, ближе к вечеру. Поспрашивав меня о разговоре, который он частично слышал, Михаил Петрович раздумчиво заметил: «Не надо тратиться на такие конфликты — души не хватит. Она ведь хороший вариант предложила».

Часом или двумя позже состоялось то самое собрание. Гость из Москвы, конечно, на нём выступил и не преминул поозорничать. Не помню, в каком контексте, но, глядя прямо в глаза Лидии Александровны, сидевшей в первом ряду, он ввернул: «Но я хохол, я хитрый!»

Тем не менее я сдался, повесть назвали «Петро Корнеевич и Ласточкин», цензура заветный штампик поставила, «процесс пошёл». Свежий номер кто-то из друзей Филипповича отвез в больницу Саше, при этом рассказал о страстях вокруг заглавия. (Скорее всего, это был В.Ф. Турунтаев — с кем бы ещё я откровенничал о цензуре?) Филипповича такая поправка, к счастью, не расстроила, а тому, что он успел подержать в руках номер со своей задушевной публикацией, он был очень рад.

Однако больших хлопот писательская организация отделу культуры, я думаю, не доставляла. Уже лет тридцать подряд к тому времени ею руководил Лев Леонидович Сорокин — человек доброжелательный и неконфликтный, талантливый поэт, отодвинувший собственные творческие амбиции на второй план ради наведения порядка в писательском доме. Слово «порядок» кого-то насторожит, но я вкладываю в него простой житейский смысл: чтоб никто из членов организации не был обижен и обойдён в делах творческих и бытовых, чтоб неизбежные стычки характеров и самолюбий не разрастались в конфликты, чтоб книги членов Союза выходили исправно и общественность о том узнавала. Позиции соцреализма тут были незыблемы, как Уральские горы, на «устои» никто не покушался, а если отступления от канонов и случались — так разве что на страницах «Урала», а это уже зона ответственности товарища Хлопьева А.Т., заведующего отделом пропаганды.

Другое дело — живопись, музыка, но особенно театр. Если писатель Н.Г. Никонов, местночтимый классик, устроил свой рабочий кабинет в коридоре своей квартиры, а нехитрый загородный домик построил собственными руками, то живописцам, графикам, скульпторам для работы необходимы ведь мастерские, оснащённые в некоторых случаях специальным оборудованием, музыкантам — залы и инструменты. А театры, киностудия — это же целые предприятия с бюджетом, планами, производственными цехами, обслуживающим персоналом, с творческими коллективами, состоящими из людей, никак не менее амбициозных, нежели писатели. Причём два, три, да пусть и десять писателей, если у них отношения друг с другом не заладились, могут спокойно разойтись по домам и в полном одиночестве, забыв о самом существовании несимпатичных им коллег, творить свою «нетленку», а в Союз приходить лишь за «пайком» (бывало и такое), поиграть в шахматы, ну, и на собрания, конечно. Но театр может успешно работать лишь как цельный организм, любой разлад здесь — вроде гибельной болезни. А ещё у театров — гастроли: свои — в столицы и разные уголки большой страны, а оттуда к нам — самые именитые и для взыскательной уральской публики желанные коллективы.

Читатель скажет: а зачем тут какой-то куратор? У каждого театра есть свои худруки и администраторы, они знают, как поддерживать «погоду в

доме», как и с кем договариваться, чтоб показать своё искусство в Москве, Тюмени, а то и вовсе в заграницах. Ну, как сегодня. Но как раз это «сегодня» меня и отвращает: слишком много меркантильности, рекламы, низменных страстей, дурного вкуса, негатива. Воля ваша, но я на эти сюжеты отвлекаться не хочу — тем более, что тема очерка к тому и не обязывает.

Лидия Александровна в должности заведующей отделом культуры была не надзирателем и не менеджером, — а кем? В.Ф. Юрин в цитированных выше воспоминаниях называет её «лидером и подлинным энтузиастом, "мотором" сферы культуры и искусства области». Вроде и верно, но от мотора исходит движение, а она считала, что всё в сфере художественного творчества должно расти от собственных корней и двигаться в силу внутренней потребности. В этом плане она больше походила на садовника, который знает, что и как у него растёт: тут почву подрыхлит, удобрения подсыплет, там подпорку поставит, сухую ветку срежет, сорняк выполет. Но опять неладно: и сентиментально (а она, по-моему, сантиментов не любила), и как-то авторитарно: всё на свой вкус. Вкус Лидия Александровна имела вполне зрелый, никогда не «корректировала» его в угоду «авторитетному» мнению, но никому и не навязывала: художник должен опираться на собственное разумение, но и за свои провалы не вправе винить кого-то другого.

В общем, не «мотор» и не «садовник», но человек на своём месте, и неважно, как это место называется, а важно, что его наличие в общественном пространстве помогает, скажем так, художественной сфере успешно развиваться и благотворно влиять на здоровье социума.

Чтоб всё это «работало», Лидии Александровне необходимо было добиться такого же статуса и авторитета в среде, в которую теперь была погружена, как раньше — среди директоров предприятий Чкаловского района. Причём не названием должности (назначить на должность можно и никчёмного человека), а компетентностью и эффективностью в практических делах — опять-таки, как на прежней работе.

Базу для того она имела надёжную: напомню её театральные злоключения в Москве военных лет, обернувшиеся большими проблемами для здоровья. На её позицию повлияла и читанная-перечитанная в своё время дедова библиотека. Работая уже в райкоме, она довольно часто бывала по делам в Москве, при этом не упускала возможности побывать в театрах, концертных залах, музеях, на выставках — не по обязанности, а по душевной склонности. Не многие москвичи знали художественную жизнь столицы в такой же мере, как она, бывающая здесь лишь наездами.

Но всё-таки это был взгляд извне, а как рождались эти шедевры? Какие человеческие коллизии, организационные усилия, какая вообще работа предшествовала их появлению? От чего зависят успехи, провалы, да и просто повседневная работа, продуктивная или не очень, в этих сферах человеческой деятельности?

И вот любопытный факт из жизни Л.А. Худяковой. 8 августа 1972 года она назначена заведующей отделом культуры, а уже в ноябре того же года участвует (на правах гостя, конечно) в работе третьего съезда Союза художников РСФСР. Съезд проходил в БКД (Большом Кремлёвском дворце), в зале заседаний Верховного Совета. Это было знаковое место: с середины 1930-х годов здесь совершались самые важные государственные акции. Оказавшись в этом зале, Лидия Александровна, наверно, впервые на эмоциональном уровне ощутила, что новая её должность имеет, пожалуй, большее государственное значение, нежели прежняя работа в райкоме партии.

(К слову, в этом зале я бывал не раз, потому что здесь проходили и съезды Союзов писателей — «большого» и российского. И восьмой съезд СП РСФСР в декабре 1990 года — как оказалось, последний — должен был пройти здесь, уже и все документы для делегатов и гостей были распечатаны с указанием этого адреса. Но, приехав в Москву, мы узнали, что в кремлёвский зал нас не пускают: переадресовали в Театр Советской армии. И это

тоже был сигнал: мол, реформируемая Россия в Союзе писателей больше не нуждается. Так распорядились власти уже во время «перестройки», с тем согласились и в «новой» России. А зал тот позже вообще сломали — тоже знаковый акт! — и он остался лишь на исторических фотографиях и в кинохронике.)

Сохранился блокнот, в котором Худякова делала заметки во время этого съезда[16]. Подробностей она не записывала — отмечала лишь некоторые примечательные детали: 747 делегатов, из них 45 процентов — члены КПСС. Переписала список делегатов от Свердловской организации — и в тот же разворот вложила отдельный листок со списком делегатов на следующий, 4-й съезд. Конечно, уже позже — работала, значит, с заметками, сделанными во время съезда, и по возвращении домой. Любопытно сравнить: там и там — по 12 человек, некоторые повторяются (Д.М. Ионин, П.С. Бортнов, С.С. Киприн, Г.С. Мосин, Б.В. Павловский, И.И. Симонов), а кого-то из делегатов 3-его съезда в списке избранных на 4-й нет. Нет А.Ф. Бурака, Н.Г. Чеснокова, М.Ш. Брусиловского, Г.П. Гаева, зато появились А.Г. Антонов, В.М. Волович, Е.И. Гудин. Какие-то явные причины за этими переменами не просматриваются, но нюансы позволяют конкретнее почувствовать ситуацию в организации, для Лидии Александровны это важно.

Ещё в блокноте зафиксировано, что с приветствием от Союза писателей РСФСР к съезду обратился Ю.В. Бондарев — почему не председатель (тогда — С.В. Михалков), а зам?

Делегатам и гостям съезда предлагалось посмотреть несколько художественных выставок (возможно, к съезду и приуроченных). Лидию Александровну особенно впечатлил Ренато Гуттузо, в то время очень популярный в нашей стране итальянский художник, даже имеющий статус иностранного члена Академии художеств СССР, — но у нас его больше знали по репродукциям, а тут подлинники. «Чувство цвета, ярко, контрастно, но не назойливо», — записывает себе на память Худякова и вслед за тем называет несколько картин из экспозиции, особенно её впечатливших, подчёркивая при этом неординарные творческие находки художника.

За всеми заметками со съезда чувствуется стремление не столько «партчиновницы», сколько взыскательной зрительницы понять, увидеть, разобраться, чем живёт современное изобразительное искусство. Выстраивать из коротких пометок себе на память какую-то цепочку размышлений, концепцию было бы некорректно; одно лишь можно утверждать без риска ошибиться: из Москвы Лидия Александровна привезла не инструкции, не примеры для подражания, а более глубокое ощущение жизни в этой сфере искусств. И, вникая уже на правах посвящённой в дела Союза, она сосредоточила усилия не на том, чтоб обострить противостояние творческих манер и амбиций (съезд давал для того предостаточно поводов, кто-то из художников с готовностью её и поддержал бы), а чтоб дать возможность талантливым мастерам реализовать свои потенции по максимуму.

И если не прямым, не главным, то всё же несомненным следствием той командировки на съезд стало её настойчивое продвижение проектов в помощь художникам. Во многом благодаря её усилиям ряд членов Союза — тогда ещё не всеми признаваемых — получили мастерские (В.М. Волович, М.Ш. Брусиловский, совсем ещё молодой скульптор А.Г. Антонов и др.), а организация в целом — импозантный художественный салон (по проекту архитектора В.В. Пермякова): тут и перманентная выставка новых работ, и коммерческое подспорье… Увы, для «демократической» России такое заведение оказалось роскошью «не по чину»: приватизаторы приспособили его для получения прибыли более практичным способом.

---

[16] Архив Администрации г. Екатеринбурга. Ф. 85. Оп. 10. Ед. хр. 33.

Дом кино

Поскольку речь зашла о художественном салоне, которым городская культурная среда обогатилась благодаря усилиям «партчиновницы» Л.А. Худяковой (а нынешняя «демократия» безответственно и бездумно уступила его дельцам), то к месту будет напомнить и о другом культурном объекте, в появлении которого Лидия Александровна тоже сыграла ключевую роль. Он находится почти рядом с утраченным для культуры художественным салоном — нужно лишь по диагонали перейти перекрёсток улиц Луначарского-Малышева. Речь о Доме кино, который в рыночных перипетиях, к счастью, выстоял и, будем надеяться, хотя бы в ближайшие годы устоит.

Предыстория его начиналась с постановления Совета Министров РСФСР «О мерах по дальнейшему развитию производства художественных фильмов на Свердловской киностудии», подписанного 20 января 1975 года.

Вообще-то студия в то время была на подъёме: снятые здесь фильмы «Самый медленный поезд», «Сильные духом», «Трембита», «Угрюм-река», «Приваловские миллионы» смотрела вся страна. Свердловчане могли бы снимать больше и тематически разнообразнее (профессиональные кадры подрастали!), но дело тормозилось слабой и технически устаревшей производственной базой. Студию ведь создавали в 1943 году, в самый разгар войны, приспособив для неё конструктивистское здание («дом-трактор») клуба строителей, и можно себе представить, что с ней сталось тридцать лет спустя: те же тесные клетушки для производственных подразделений, то же «с бору по сосенке» оборудование. А бытовые условия для персонала — почти такие же, что были в столице военного тыла в военные годы. Упомянутое постановление предполагало радикальную модернизацию студии. Оно предусматривало реконструкцию практически всех производственных цехов, строительство цеха обработки цветной киноплёнки, укомплектование коллектива творческими и инженерно-техническими кадрами, прошедшими современную подготовку, обеспечение работников студии жильём.

Подобные постановления никогда не появлялись спонтанно, их «пробивали» (порой годами) именно те организации, которым предписывалось их выполнять, потому что таким образом можно было решить иначе не решаемые проблемы: тут и финансирование, тут и фонды, тут и помощь вышестоящих организаций, без которой — никак.

Кто же обивал пороги московских кабинетов, чтоб это постановление появилось? Уместно было бы предположить, что Ю.А. Асловский — многолетний директор студии; он и на самом деле в той реконструкции оставил заметный след. Но в 1975 году Юрий Александрович только что вступил в должность (а до того был заместителем начальника областного управления культуры); может, для того его директором и назначили, чтоб предстоящие преобразования проводились под руководством деятельного и ответственного человека, хорошо ориентирующегося в лабиринтах местной власти. Но добивался принятия того постановления, конечно, не Асловский, а Я.Л. Лапшин — ветеран студии практически с момента её создания, режиссер-постановщик «Угрюм-реки» и «Приваловских миллионов», в течение почти тридцати лет — председатель Свердловского отделения Союза кинематографистов. На исходе советского периода самый, пожалуй, знаменитый за пределами столиц российский кинематографист.

Но как бы ни было разумно и желанно правительственное постановление, само собой оно не реализуется: ему, как говорят, нужно «приделать ноги», а это, пожалуй, даже трудней, нежели добиться принятия постановления. Долгий и чрезвычайно трудоёмкий процесс модернизации студии Ярополк Леонидович начал с визита к «ответственной за культуру» в области Л.А. Худяковой. Лидия Александровна не только поняла и оценила его замысел, но стала его единомышленницей и сподвижницей, она помогла при-

дать его идеям более конкретные и совершенные формы, поспособствовала их осуществлению.

Плодотворное творческое сотрудничество двух энтузиастов продолжалось лет восемь, а сложившиеся на этой основе дружеские отношения остались на всю жизнь. В архиве Худяковой сохранилось несколько писем Лапшина из Москвы. Так сложилось, что Ярополк Леонидович с женой, Ларисой Николаевной Козловой, тоже ветераном Свердловской студии, доживали свой долгий век в московском Доме ветеранов кино. Оттуда Лапшин и писал. Лидия Александровна к тому времени тоже отошла от дел — сдала преемнику руководство литературным музеем, а потом и любимым детищем своим — Камерным театром. Ярополк Леонидович (отвечая, видимо, на её вопросы) писал о всяческой прозе повседневной жизни, но когда дело касалось общественных проблем, не потухшие угли его памяти вспыхивали ярким пламенем:

«Глубокоуважаемая и незабвенная Лидия Александровна! Огромное спасибо Вам за письмо, и, как всегда, [примите мои] извинения за задержку с ответом. Письму я был рад и столь же огорчён. Рад тому, что не забываете и написали хорошие слова, а огорчён постоянным мыслям, как могло случиться, что во главе студии был поставлен невежественный и наглый современный проходимец, чьё место на нарах, а не в кресле директора киностудии»[17].

Разорение Свердловской киностудии в 1990-х — общая их беда[18], потому что в обновление этого кинопредприятия Лидия Александровна — как в любое дело, к которому была причастна, — тоже вложила немало энергии и души. Полагаю (ибо эту историю сам не изучал), что не обошлось без её помощи при проектировании и строительстве нового производственного и административного корпуса, но в создании Дома кино она точно сыграла ключевую роль.

Идея-то родилась в голове Лапшина: такая крупная кинофабрика — и без своего профессионального клуба? При том что клуб при киностудии — это ведь не столько место проведения досуга своих работников, сколько механизм прямой и обратной связи со зрителями: премьерные показы своих новых работ, демонстрации новинок других студий, а также зарубежных фильмов, о которых много пишут и говорят, а у нас их в прокате не было и, вероятно, не будет. Творческие встречи, обсуждения, конференции… Словом, тоже производственный цех, который в определённом смысле можно даже уподобить цеху обработки плёнки: там проявляются запечатлённые на плёнке образы — тут заключённая в образах энергия социального действия.

Прекрасная идея, но правительственным постановлением клубное здание не предусматривалось, а расходов требовало немалых. Было препятствие и посерьёзнее: в те годы действовал правительственный запрет на строительство новых зданий для учреждений культуры. Запрет казался таким же нелепым, как слоган «экономика должна быть экономной», но определённый резон в нём был: если, мол, не разбрасываться, а сосредоточить ресурсы в одном направлении, то можно одним мощным рывком решить-таки самую застарелую и больную проблему: обеспечить всех нуждающихся жильём. От того обещанный Хрущёвым коммунизм в 1980 году, конечно, не наступит, но как изменится общественная атмосфера! Ради такой благой, но наивной цели в Свердловске были заморожены весьма значимые стройки: цирка, ДК Уралмаша; даже и здание драмтеатра на Октябрьской площади строили как-то вяло. А тут — клуб кинематографистов…

Но как упустить момент? Великую модернизацию студии благословило правительство, оно обязало Госплан найти для того средства — другого бла-

---

[17] Архив Администрации г. Екатеринбурга. Ф. 85. Оп. 10. Ед. хр. 33.

[18] Судьба Свердловской киностудии — яркая иллюстрация к истории «святых 1990-х». Это не моя тема, так что читателя, которому она интересна, адресую к публикации в интернете: Выбраться из долгов и снова снимать фильмы. История самого тяжелого периода жизни Свердловской киностудии | 66.RU | Дзен.

гоприятного случая наверняка придётся ждать десятилетия. И Я.Л. Лапшин пытается внедрить идею клуба в сознание руководства Союза кинематографистов.

Начал он, по-видимому, с визита к С.А. Герасимову: влиятельнейшая и по статусу, и по творческому авторитету фигура, к тому ж земляк (в детстве и юности он с родителями лет десять прожил в Екатеринбурге). Но трезвомыслящий земляк поначалу от идеи Лапшина отмахнулся: и не мечтайте!

Однако примерно в то же время Ярополк Леонидович с планами по студии сходил и в обком, то есть к Л.А. Худяковой, и Лидия Александровна его идеей не только загорелась, но и предложила для её реализации ключ, недавно успешно сработавший: ведь художественный салон удалось провести по документам как вставку в жилой дом. А строительство жилого дома предусмотрено и правительственным постановлением по киностудии. Так что в разговоре с Лапшиным родилась формулировка: «общежитие гостиничного типа с блоком обслуживания». Не знаю, вдвоём ли они, Лапшин и Худякова, посетили потом С.А. Герасимова, или на мэтра-земляка Лидия Александровна вышла сама — так или иначе, Сергей Аполлинариевич от идеи пришёл в восторг и сделал всё, что от него зависело, для её реализации. Возможно, с обсуждения этой деловой комбинации и начались дружеские отношения Лидии Александровны с самой известной советской кинематографической четой: писем Л.А. Худяковой от С.А. Герасимова и Т.Ф. Макаровой сохранилась в архиве целая папка[19]. Среди них и простые поздравления с Новым годом и традиционными советскими праздниками, и глубоко прочувствованные размышления выдающихся советских кинодеятелей о меняющемся (увы, не к лучшему) мире. Особенно раздумчивы и горестны письма Тамары Фёдоровны после ухода Сергея Аполлинариевича.

Проектировать «блок обслуживания» был приглашён архитектор «Свердловгражданпроекта» Владимир Васильевич Пермяков — большой специалист по комплексному многоэтажному строительству (микрорайоны Парковый, ВИЗ-правобережный, Привокзальный и много чего ещё в том же духе). Но Лидия Александровна оценила его выдающуюся способность решать архитектурные головоломки по художественному салону, ловко встроенному в квартал жилых многоэтажек. Задуманный кинематографистами при её участии «блок» был гораздо более сложной головоломкой: территория — «пятачок», зажатый между домами на перекрёстке двух магистральных улиц, а здание (нет, только невысокий пристрой к многоэтажному жилому дому) должно выглядеть солидно, представительно и выполнять целую гамму функций.

Архитектор не обманул ожиданий: получился действительно Дом кино, где в малом объёме на трёх уровнях разместились просторные (по крайней мере, такими они воспринимаются) помещения разного назначения, образующие неразрывно цельный мир: два зрительных зала («большой» и «малый»), оборудованные современной техникой для кинопросмотров, два фойе (в нижнем — звёзды, посвящённые самым «звёздным» кинодеятелям Урала, в верхнем — пространство для выставок и приёмов с музыкой, телевидением, речами); в цокольном этаже — бар, где выгорожены места и для приватных бесед. Три уровня соединяются широкой лестницей, которая вполне годится и для роли парадной. А чуть в стороне от неё — вход в деловую часть, где размещаются и руководство отделения СК, и администрация Дома, и комнаты для совещаний… В общем, максимум функциональности при том органичном «единстве в разнообразии», которое во все времена считалось главным признаком красоты.

«Профессиональный клуб», хоть для его строительства пришлось прибегать к «очень творческому» переосмыслению плана реконструкции Сверд-

[19] Архив Администрации г. Екатеринбурга. Ф. 85. Оп. 10. Ед. хр. 29.

ловской киностудии, принятого правительством, на деле оказался самым прочным звеном той реконструкции. Он не только сам выжил, но помог выжить Свердловскому отделению Союза кинематографистов и даже заметно обогатить кинематографическую жизнь на Урале. На его базе продолжает существовать самый авторитетный в России фестиваль документального кино, основанный ещё в советское время, к нему за прошедшие десятилетия добавилось ещё несколько фестивалей разного профиля; тут показывают экранные новинки российского и мирового кино — залы Дома кино никогда не пустуют.

Вот только сохранить прежнюю кинофабрику с помощью Дома кино не удалось. Не так давно в интернете промелькнули слухи, будто бы на уровне руководства области обсуждается вопрос о возрождении Свердловской киностудии. Я позвонил одному из кинематографистов, чьи имена увековечены звёздами в нижнем фойе Дома кино: верить ли слухом? Он ответил, что верить хотелось бы, но, к сожалению, Лидии Александровны Худяковой больше нет…

В обкоме рядом с Ельциным

А что может руководство области, если конкретные направления работы не курируют такие люди, какой была Л.А. Худякова? Неординарным руководителем был Я.П. Рябов, но что он лично сделал для развития культуры области? Ответ простой: нашёл для отдела культуры Худякову, а больше ничего делать ему было и не нужно. Он и не делал.

Я.П. Рябов руководил областью недолго: осенью 1976 года его перевели в Москву.

Его место в Свердловске (тогда ещё в «сером доме» на площади Труда) занял Б.Н. Ельцин — неожиданная для многих фигура. Но Л.А. Худякова знала его и ценила его деловые качества давно — с тех пор, как он стал руководителем треста «Южгорстрой», строившего производственные объекты, в основном, на предприятиях Чкаловского района — на Химмаше, РТИ, керамическом заводе: собранный, инициативный, требовательный, невероятно работоспособный.

Избранный первым секретарём обкома, Борис Николаевич (по выражению Я.П. Рябова) тут же начал ломать аппарат обкома под себя. Но Худякову не тронул. Почему? Возможны разные объяснения.

Потому что помнил о её высоком авторитете у директоров Чкаловского района, к числу которых сам принадлежал? По-моему, самая неправдоподобная версия: это могло даже и повредить, сильные сподвижники ему были не нужны.

Более вероятно, что вопросы культуры его поначалу мало волновали. Став руководителем области, он делал упор на проблемы, которые самым заметным образом влияли на восприятие эффективности власти: жильё, продовольствие, магазинные полки. Что касается культуры — «тылы» обеспечены надёжным человеком, возглавляющим отдел; можно и не вникать. Про надёжность Л.А. Худяковой он знал не по информации из вторых рук, а по давнему личному знакомству. Эта версия подтверждается, по-моему, и тем, что, где было можно во время их одновременной работы в обкоме, их функции вершились как бы параллельно: она не ходила к нему за поддержкой, а он, обращаясь-таки порой по необходимости к сфере культуры, явно избегал её помощи.

В какой-то мере эту ситуацию я наблюдал лично. Я уже упоминал, что моё назначение главным редактором журнала «Урал» с ней не согласовывалось. Когда меня утверждали в этой должности на бюро обкома, Лидия Александровна то ли не присутствовала вовсе, то ли никак себя не проявила, отчего её участие и не запомнилось. Но это была очень короткая и формальная процедура: представили, проголосовали — и мой вопрос закончен.

Минут за пять. А три года спустя на том же бюро меня «воспитывали» по поводу «идеологических ошибок» журнала «Урал»[20]. Председательствовал сам Б.Н. Ельцин (помню даже его характерные интонации с сильным нажимом, когда он клеймил меня за «идеологический вред» и за «нож в спину партии»). Л.А. Худякова на том заседании присутствовала и даже выступала, но её выступление было коротким и «дежурным», ибо это была не её «зона ответственности», не её тема. Помню и ещё один случай: Борис Николаевич устроил встречу с писателями уже в новом обкомовском доме, в комнате заседаний бюро, на 15 этаже. Вот там Лидии Александровны точно не было.

Тогда я не видел проблемы в таком «либо-либо», но сейчас, почти полвека спустя, готов допустить, что два партчиновника то ли сознательно, то ли интуитивно избегали прямого сотрудничества в конкретных делах, ибо могло «заискрить». Дело в том, что они уже тогда (а может, и раньше — ещё в Чкаловском районе), номинально работая на «общее благо», фактически двигались к разным целям. Худякова выполняла свой партийный долг (который для неё, как читатель мог убедиться, был неотделим от пользы для народа), а Ельцин делал карьеру (не мысля её в ту пору вне партийной карьеры). В каких-то делах одно другому не мешало, но иногда…

Лучше рассуждений — наглядный пример. Заметный эпизод в деятельности Ельцина в области партийного руководителя Свердловской области — радикальная реконструкция Оперного театра в 1981–1982 годах. Не знаю, откуда последовал первый сигнал; скорее всего, первого секретаря посетила представительная делегация театральных деятелей и убедила его, что грядёт 70-летний юбилей театра, и стыдно области отмечать его в таком тесном и изношенном здании. Борис Николаевич не просто вник, но понял, что это дело престижное и решил сам возглавить процесс реконструкции.

Это был грандиозный проект, и осуществлялся он по-ельцински. Ельцин призвал к участию в нем крупнейшие предприятия города: «Надо!». И директора (патриоты города!) искренне поддержали: «Надо!». Был намечен график работ, и каждый вторник в восемь часов вечера проходили оперативки строителей, которые Ельцин проводил лично. При этом он требовал, чтобы и предприятия, выполнявшие заказы для этой строительно-реставрационной операции, на оперативках представляли первые лица. Тем обеспечивались сроки и качество выполнения работ. (В хрониках этого события имя Л.А. Худяковой не мелькает — видимо, Борис Николаевич решил, что её участие излишне.)

Ключевой вопрос престижа заключался в том, чтобы не просто обновить здание и всё его оборудование (от сценической машинерии до кресел в зрительном зале), но и сделать всё даже лучше, чем было изначально. В частности, первостроителям здания не хватило средств на предусмотренную в проекте позолоту гипсовой лепнины в интерьере зала — покрасили бронзовой краской, которая со временем потускнела, потемнела, облупилась. Но для Ельцина такой компромисс был непригоден: только золото! Однако золото у государства на особом учёте, его просто так не получить — нужно «выбивать». И всесильный Ельцин, который обязался обеспечить реставрацию театра фондируемыми материалами, заполучить 4,5 килограмма сусального золота не смог! Демонстрация всесильности проваливалась. А сроки между

---

[20] История нашумевшая, о ней писали не только российские, но и зарубежные журналисты (Павел Гутионтов, Пилар Бонет, Леон Арон) Думаю, пересказывать всё это здесь неуместно, сошлюсь лишь на один архивный документ, беспристрастно воссоздающий фабулу события: О работе редакции по повышению идейно-художественного уровня журнала «Урал» в свете требований XXVI съезда партии и постановления ЦК КПСС «О творческих связях литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства». (ЦДООСО. Ф.4. Оп.106. Д.35. Л.6–10) / Общество и власть. Российская провинция. 1917–1985. Документы и материалы. Т.2. — Екатеринбург, 2006. С. 656-664.

тем поджимали: мастеров-позолотчиков (исключительно редкая профессия!) уже ждут в других городах, и не обеспеченная материалами операция может сильно отодвинуть сроки завершения реставрации. И Борис Николаевич нашёл «выход из положения»: командировал председателя горисполкома П.М. Шаманова в Москву: «Без золота не возвращайся!» Возможностей у Шаманова, конечно, было гораздо меньше, чем у него, но если он не сумеет — будет на кого списать провал.

Но Павел Михайлович с миссией справился! Не потому, что обладал выдающимися пробивными способностями, а потому что слышал раньше о неординарных возможностях Худяковой. А поскольку речь шла о театре, Лидия Александровна согласилась попытаться ему помочь. Опять обратилась к Кириленко, уже никого, кроме лично себя, официально не представляя. И Андрей Павлович нашёл ей это золото! По-видимому, это была последняя его помощь ей: уже осенью того года, после смерти Брежнева, Кириленко был отправлен на пенсию. Конечно, Шаманов, человек очень порядочный, не скрывал, что достать золото ему помогла Худякова. Но оцените эту ситуацию с позиции безмерно честолюбивого Ельцина: он не смог, а она смогла! И как он будет теперь держать её в своей команде?!

Уже ближе к концу пребывания Ельцина в Свердловске случилась и ещё одна явно неприятная для него ситуация, когда он не смог, а Лидия Александровна смогла. Речь идёт о создании в Свердловске театрального института.

Проблема эта имеет довольно продолжительную историю. Театральный институт в городе однажды уже создавали: его открыли в военном 1944 году. Но просуществовал он недолго: уже в 1950 его ликвидировали. Десять лет спустя открыли театральное училище: очень достойный преподавательский состав, и выпускники были востребованы. Но, боже мой, в каких немыслимых условиях это заведение ютилось!.. Так что в 1983 году и его ликвидировали, но пытались создать на его основе театральный факультет в консерватории.

Однако тогда же появилась альтернативная идея: городу и Уралу нужен не факультет, а полноценный театральный вуз. Этой идеей прониклась Л.А. Худякова, которая не просто с юных лет любила театр, но, работая в обкоме, очень глубоко вникала в жизнь театральных коллективов, помогала им всем, что было в её силах, и стоит почитать письма ей от руководителей свердловских театров из дальних гастрольных поездок[21], чтобы почувствовать, насколько доверительные и теплые отношения сложились между ею и ими.

И Лидия Александровна написала проект «записки» из Свердловского обкома в ЦК КПСС[22] — обоснование необходимости открытия в городе Свердловске театрального института: «Дефицит специалистов (актёров, режиссёров, художников, административных работников) с высшим образованием составляет более 80 процентов. Только 16 процентов актёров драматических театров и тюзов имеют специальное высшее образование <…> Всё это в значительной мере отрицательно сказывается на художественном уровне театрального искусства, организации театрального дела в целом. <…> В регионе Поволжья, Урала, Западной Сибири нет ни одного театрального института <…> За последние пять лет из вузов страны в театры области было направлено всего 17 человек». И завершается письмо очень предметной информацией (с перечислением фамилий) о том, что в городе достаточно высококвалифицированных специалистов, чтобы обеспечить высокий уровень преподавания в новом институте, а облисполком «при положительном решении вопроса» выделит для института достаточно просторное помещение в центре города.

---

[21] Десятки их хранятся в архиве Администрации Екатеринбурга.

[22] Я нашёл его в «Деле Л.А. Худяковой» в том же архиве.

Подписывать такое письмо ей самой было «не по чину», так что в конце текста значится: «Секретарь обкома КПСС», а кто именно — не сказано. Можно предположить, что подписал Б.Н. Ельцин, ибо в Википедии он называется «одним из инициаторов» создания Свердловского театрального института. В действительности дело обстояло несколько иначе. Вот как об этом рассказывала Лидия Александровна:

«Ельцин меня пригласил и говорит:

— Лидия Александровна, мне сказали, что вы хотите открыть театральный институт. Даже не думайте, он не будет открыт. Свердловск не тот город. Такие институты в столицах открываются, в республиках.

— А позвольте мне всё-таки работать над этим.

— Ну, работайте. Но ничего из этого всё равно не получится».

В тот же день её пригласил Л.Н. Пономарёв, третий секретарь — который по идеологии. Видимо Ельцин дал ему поручение. Леонид Николаевич повторил основные доводы против идеи театрального института, но «обнадёжил»: дескать, «там» не будут возражать против института культуры. Но тут решительно возразила Худякова: во-первых, институт культуры уже есть в Челябинске, на регион его хватает; во-вторых, это совсем не то, что нам нужно. И занялась «пробиванием» института сама. Всесильного покровителя, каким раньше был для неё Кириленко, теперь у Лидии Александровны не было, но были опыт, репутация, уверенность, что раз надо — у неё получится. И получилось.

Конечно, ни о каком соперничестве тут речи быть не могло, но невольно опять получился удар по самолюбию Ельцина: он не смог, а она смогла. Не сомневаюсь, что это была очередная капля в отнюдь не бездонную чашу терпения будущего первого президента России, и в трудовой книжке Л.А. Худяковой 13 февраля 1984 года появилась запись: «Освобождена от обязанностей заведующей отделом культуры в связи с уходом на пенсию». Всё чинно и благородно: Лидии Александровне без малого 58 лет (а пенсионный возраст для женщин тогда был 55 лет), давно пора на «заслуженный отдых». К тому же в то время (позже его назовут застойным), когда экономика буксовала, косыгинская реформа «ушла в песок», а свежих идей не появлялось, набирало силу мнение, что причина застоя в возрасте руководителей. Поэтому кадры нужно омолаживать. Вот Борис Николаевич и омолодил, создав поучительный прецедент на все времена…

Однако квалификация, опыт, энергия начинающей пенсионерки не пропали втуне: новое место работы, где понадобились её компетенция, её опыт, её связи, её убеждения, — будто сама судьба ей приготовила.

Квартал становится Литературным

Случилось так, что буквально за месяц до ухода Л.А. Худяковой на пенсию, 14 января 1984 года, умерла И.И. Куликова, директор Объединённого музея писателей Урала. При таких печальных обстоятельствах появилась вакансия, которую с 1 марта 1984 года Лидия Александровна и заняла.

Но что собою представлял тогда этот музей?

Статус «объединённого» он получил по решению областного управления культуры от 1 апреля 1980 года, хотя в тот момент объединять, по сути, было и нечего. В областном центре тогда было два действующих литературных музея: Д.Н. Мамина-Сибиряка (работающий с 1946 года) и дом-музей П.П. Бажова (открытый в 1969 году), — причём бажовский музей с самого начала существовал в статусе филиала маминского. Так что новый статус был на вырост, на не далёкую, но, надо признать, не очень ясную перспективу. Хотя перспектива была всё же вполне реальная: уже в 1982 году усилиями свердловской музейной команды был создан третий участник объединения — небольшой мемориально-этнографический (как я его определил бы) музей на родине П.П. Бажова — в Сысерти (а это, между

прочим, около сорока километров от областного центра). И ещё при И.И. Куликовой было принято решение горисполкома о передаче Объединённому музею дома М.Я. Алексеевой, где Мамин-Сибиряк жил и работал, написал «Приваловские миллионы», а также дома, где предположительно родился Ф.М. Решетников (много позже выяснилось, что родился он всё-таки в другом месте). Но то было только решение! А его ведь ещё надо реализовать. И.И. Куликова не успела.

Прорабатывались ещё варианты включения в музейную систему музея-квартиры А.П. Бондина в Нижнем Тагиле и музея Мамина-Сибиряка в Висиме, но оба варианта сочли нецелесообразными. Обсуждались и ещё какие-то прожекты, которые так и остались не реализованными.

Как видите, целостности территории музейное объединение не предполагало, поэтому ни о каком «литературном» квартале и речи быть не могло.

Квартал же, который сегодня называют Литературным, существовал. Мало того, именно на его территории находились упомянутые «дом М.Я. Алексеевой» и «дом Ф.М. Решетникова» — правда, в сотнях метров друг от друга, в разных его концах. Квартал был частично обитаем: южную границу его территории замыкал крепкий восьмиквартирный жилой дом, построенный где-то в 1950-х и к литературе, естественно, отношения не имеющий. А на противоположном, северном его конце громоздились руины кирпичной надворной постройки при усадьбе М.Я. Алексеевой. Неподалёку от неё стояло ещё заброшенное деревянное здание, по какой-то случайности не снесённое. Никаких литературных ассоциаций оно у специалистов не вызвало.

А вся остальная территория квартала представляла собой одичавший пустырь на месте снесённых полудеревенских усадеб, из каких состоял почти весь деревянный Екатеринбург XIX — начала XX века: не убранные фундаменты — сгнившие деревянные и рассыпающиеся каменные; сломанные деревья, разросшиеся садовые кустарники, сорняки по пояс и горы мусора. Снести-то эти усадьбы снесли — они уже не вписывались в пейзаж центра почти столичного города, а что построить на их месте — не решили. Во всяком случае, ОМПУ на этот пустырь не претендовал, и, естественно, передавать его музею городские власти не собирались.

Какой облик приобрёл бы Объединённый музей и как преобразился бы этот квартал (в зависимости или независимо от появления в нём двух новых подразделений музея), если бы судьба отпустила И.И. Куликовой ещё пятьдесят лет для реализации её замысла, гадать трудно, да и бессмысленно. Инна Ивановна была человеком высокопрофессиональным, творческим, энергичным, но её замысел заключался не в том, чтобы воздвигнуть некое строение, некий «пантеон» на века, увенчать его куполом или шпилем и водрузить флаг: принимайте готовую работу. Она думала о другом: сосредоточение музейных потребностей и возможностей в одном кулаке позволит сделать гораздо более эффективной работу всех подразделений, вошедших в объединение. ОМПУ только вставал на ноги — а вот же сделали такой интересный музей Бажова в Сысерти. Значит, идея сработала. Что будет дальше — жизнь покажет, ибо литература — дело живое.

Л.А. Худякова, вступив в должность директора ОМПУ, думаю, придерживалась примерно таких же взглядов и ничего в наследии, доставшемся от предшественницы, ломать не стала. У неё не было музейного опыта, но была команда, сложившаяся за почти четверть века директорства И.И. Куликовой, и музей, возглавлявшийся такими специалистами и энтузиастами своей профессии, как И.И. Степанова, А.И. Рязанова, Л.А. Чеснова, Н.П. Крякунова, мог продолжать работать вполне успешно даже и без главного руководителя; так хорошо сыгравшийся оркестр может показать высокий класс и без дирижёра. Так что за «штатную» работу музея и даже за создание экспозиций в домах Алексеевой и Решетникова Лидия Александровна могла быть спокойной. Правда, до создания экспозиций в этих домах было ещё очень

далеко: недавно расселённые коммуналки нуждались в радикальной реставрации, а эта работа требует другого опыта, нежели у ветеранов музейной работы. Но такого опыта Л.А. Худякова за годы работы в Чкаловском райкоме и в обкоме накопила, бесспорно, больше, чем его было у Куликовой.

И ещё один нюанс: горисполком передал музею для расширения его экспозиционного пространства два дома, а кто тогда возглавлял городскую власть? Павел Михайлович Шаманов — тот самый, который по требованию Ельцина, однако с помощью Худяковой получил сусальное золото для обновляемого оперного театра. Это не значит, что он был «должником» у Лидии Александровны; это значит, что они одинаково были людьми долга и в том — единомышленниками. И она уже как директор ОМПУ могла рассчитывать на дружескую помощь советского градоначальника в большей степени, чем И.И. Куликова. И уже с первых шагов в должности директора литературного музея эта помощь ей, конечно, понадобилась. В сотрудничестве с ним родилась и дозрела идея Литературного квартала.

Как вспоминала Лидия Александровна, поначалу их интересы совпали в том, что пустырный и захламлённый квартал заметно портил городскую среду на очень важном для имиджа города направлении — от железнодорожного вокзала до центра. Тут и без того были неприятные зрелища: развалины Ипатьевского дома, запущенный Харитоновский дворец, неухоженный сад при нём. И в этом ряду — одичавший квартал. Конечно, для Шаманова это была непроходящая головная боль. А Худякова боялась, как бы тут не воткнули какого-нибудь архитектурного монстра, который просто задавит скромные домики XIX века, которые передаются литературному музею для расширения экспозиции. И однажды она у него спросила: «Что у вас там будет?» Павел Михайлович частно ответил, что конкретного плана у них, властей города, пока что нет. «Я предложила ему парк, и он согласился».

Но это была просто зелёная зона между редкими здесь домами — приятная глазу пауза, не наполненная конкретным смыслом. Недолгое время спустя родилась идея связать этот небольшой парк с культурными традициями города, создать органичную среду для музейных зданий. Вот тут П.М. Шаманов сделал очень важный шаг для превращения квартала в литературный: инициировал решение горисполкома о расселении и сносе того восьмиквартирного жилого дома, который замыкал территорию квартала с южной стороны. На фоне жилищного дефицита того времени это был очень смелый шаг, но расселение каждого барака (а их количество в городе измерялось тысячами[23]) было в разы затратнее. Вслед за этим решением вся территория квартала, включая руины на его северном конце постепенно передавалась в распоряжение ОМПУ. Работы на этой территории было непочатый край, средств для их оплаты практически никаких, зато делайте, что хотите. Точнее — что сочтёте необходимым для становления музейного объединения.

Думаю, никто бы создателей Литературного квартала не осудил, если б они, убрав хлам и руины, сделали просто ухоженный сквер: деревья, кусты, аллеи, скамейки. Но довольно скоро родилась идея воплотить в этом небольшом парке образ традиционного парка в уральском городе XIX века и, таким образом, сделать его органичным фоном всех музейных экспозиций. Соответственно подбирались и породы деревьев и кустов, продумывалась планировка, проектировались ограда и скамейки. Даже затеяли беседку и музыкальную веранду. Но кто всё это будет делать и за какие деньги?

О том, как создавался парк Литературного квартала, можно было бы написать целую повесть, даже остросюжетную. Оцените хотя бы ситуацию: надо убирать весь тот хлам, который остался на месте снесённых деревянных особнячков, стоявших тут раньше. Это же очень трудоёмкая работа, но не требующая какой-никакой квалификации: бери ломик, кайло или лопату

[23] См. в интернете: Бараки — печальный символ советской власти.

и долби. Заработать таким образом можно жалкие гроши, так что подрядчиков на неё найти было невозможно. Но Лидия Александровна нашла выход: договорилась с тем заведением, которое в народе называют КПЗ. И вот представьте себе картинку: поутру из ворот этого заведения выходит небольшая колонна экзотических персонажей (примерно как в фильме «Операция Ы»), их ведёт на уборку территории, которой предстоит стать Литературным кварталом, молодая, красивая, интеллигентная женщина — Л.А. Чеснова (потом она много лет будет заведовать музеем «Литературная жизнь XIX века»). Принцип кнута («Надо, Федя, надо») здесь заменён даже не принципом пряника (у музея не было денег на пряники!), а, скажем так, принципом морковки перед носом ослика, который тащит гружёную тележку. Говоря без экивоков, пасынкам фортуны исподволь подбросили легенду, будто некоторые екатеринбургские обыватели, когда пришла революция, спасали неправедно нажитое, замуровывая ценные клады в фундаменты домов. И надо было видеть, какие снопы искр сыпались из-под ломов и лопат кладоискателей, когда они приступили к работе.

Никаких сокровищ они, конечно, не нашли, но, благодаря их небескорыстным усилиям, одичавший слой упразднённой цивилизации переместился с территории будущего Литературного квартала на проезжую часть улицы Пролетарской. И тут проблемы с законом возникли уже у Худяковой: вывела из сети дорожного движения целую улицу в центре города! Конфликт удалось погасить П.М. Шаманову, который помог Лидии Александровне наладить связь с молодым тогда Метрострое: их самосвалы и вывезли хлам с улицы Пролетарской на загородную свалку.

В эпопее создания парка Литературного квартала было ещё немало нетривиальных сюжетов[24]; ограничусь итоговой датой: работа над созданием парка была завершена в 1990 году. К сожалению, П.М. Шаманова уже не было в живых.

Музей прорастает в Литературном квартале

Первыми подразделениями ОМПУ на территории Литературного квартала стали те самые два дома — Алексеевой и Решетникова, — которые горисполком передал музею ещё до прихода Л.А. Худяковой. Но превращение бывших коммуналок в музеи заняло много лет. Во-первых, эти здания сами по себе нуждались в капитальном ремонте; во-вторых, изначально было неясно, как их «музеефицировать», то есть какую именно историко-литературную информацию и каким образом в них представить.

Сложность-то в чём? Возьмите, к примеру, дом Алексеевой. Он представлен в справочно-статистической книге И.И. Симанова «Город Екатеринбург», создававшейся просвещённым градоначальником в тот год, когда Д.Н. Мамин-Сибиряк там ещё жил (Мамин и большой очерк, которым открывается этот фолиант, написал). В этой книге хозяйкой усадьбы номер 41 по улице Колобовской (нынче она Толмачёва, а конец её и вовсе конъюнктурно переименован в Царскую) значится Алексеева Мария Якимовна, а усадьба описывается так: «деревянный одно-этажный домъ, службы и баня»[25]. Баня была бы интересным экспонатом: в ней парился Мамин-Сибиряк! Но за прошедшие с тех пор девяносто лет она утрачена безвозвратно, и тут уж ничего не поделаешь. Службы? Наверно, от них осталась кирпичная руина позади дома, использование её в музейных целях казалось проблематичным. Но самое интересное: дом-то дошёл до нас двухэтажным! Оказывается, он,

---

[24] Особо заинтересованного читателя отсылаю к книге: Лукьянин В.П., Никулина М.П. Литературный квартал. — Екатеринбург: ИД «Сократ», 2008. С. 156-152.

[25] Симанов И.И. Город Екатеринбург. — Екатеринбург, 1998 (Репринтное переиздание книги 1889 года). С. 373.

перейдя в собственность другого хозяина, радикально перестраивался ещё до революции, а когда при советской власти был превращён в коммунальное жильё — его внутри разгородили на маленькие клетушки, понастроили для обогрева и приготовления пищи разные печки и печурки, а где-то в середине, насквозь через два этажа, — монструозная кирпичная печь, уж не на ней ли держались межэтажные перекрытия? Так что́ восстанавливать? Это была проблема уже не историко-литературная, а, скорее, социально-историческая и культурологическая. И понадобилось сложить литературную эрудицию и музейный опыт И.И. Степановой и Л.А. Чесновой с социально-психологическим кругозором и опытом Л.А. Худяковой, с её способностью додумывать любую житейскую ситуацию до конца, — чтобы появился уютный двухэтажный особняк, в котором возродился дух многогранной культурной жизни Екатеринбурга второй половины XIX века; где собирались друзья дома — цвет екатеринбургской интеллигенции, «маминский кружок», чтоб пообщаться, поговорить о литературе, театре и музыке, помузицировать. И всё тут подлинно: мебель, вещи, картины, фотографии, — но не «мемориально»: точно (и даже приблизительно) так в этом доме никогда не было, но именно в общении с этими людьми, этими реалиями, этим временем созревал талант автора «Приваловских миллионов» и многих других произведений, получивших всероссийское признание.

А с музеем Решетникова были другие проблемы. Во-первых, состояние дома было даже плачевнее, нежели дома Алексеевой: уже после отселения коммунальных жильцов дом горел — крыша провалена, перекрытия рухнули. Во-вторых, от короткой и неустроенной жизни писателя не только на Урале, но в Петербурге не осталось никаких материальных следов, одна лишь подлинная фотография. В-третьих, (ну, это выяснилось несколько позже), Фёдор Михайлович в этом доме не родился, дом вообще не имеет к нему отношения! И.И. Степанова и И.Ю. Кирносова (назначенная заведующей будущего музея) создали если и не революционную, то, во всяком случае, весьма остроумную концепцию этого музея, основанную на том факте, что отец писателя был почтальоном. В соответствии с ней дом и воссоздавался — как «почтовое подворье». Тут нашлось место и для литературной экспозиции, посвящённой жизненному и творческому пути Ф.М. Решетникова, и для разделов о почтовой службе в России XIX века, включая и «ямщицкую» в цокольном этаже. А в просторном дворе, умощённом гранитными плитами, — конюшня, каретник, кузница, колодец… В сущности, это даже не музей, а музейный комплекс.

Долгие годы эти два музея шли от передачи домов ОМПУ до создания экспозиции и открытия для посетителей, но, не ожидая, когда эти проекты завершатся, Лидия Александровна и «её девочки» — опытнейшие и преданные делу сотрудницы, работавшие ещё при И.И. Куликовой, — думали о следующих шагах развития объединения. Было очевидно, что ограничиваться XIX — началом XX века, замыкать историю литературной жизни на Урале Маминым-Сибиряком и Бажовым нельзя: подходящий к завершению XX век тоже отразился в литературе ярко и разнообразно. Нужен музей литературы XX века!

Раз нужен — значит будет! И работа по его созданию началась. Научным сотрудникам музея было поручено собирать материалы для музея литературы XX века, даже «библиотечный день» для того им выделили. Начался и поиск подходящего помещения. Лидия Александровна вспоминала, что ей очень приглянулся двухэтажный дом дореволюционной постройки на соседней улице — с красивым крылечком и окнами, выходящими на пруд. Но этот вариант сорвался: «Когда я этот дом обошла и изучила, выяснилось, что там размещаются то ли пять, то ли даже восемь законных арендаторов, а ещё десятки (!) незаконных — в комнатах, во дворе, в каждом закутке. Я поняла, что с этим муравейником нам не справиться, такого отселения город не выдержит».

Рассматривались другие варианты — и все не подходили.

И тут вдруг кто-то ей напомнил, что ещё не так давно на улице Толмачёва стоял импозантный деревянный особняк в стиле модерн, построенный в начале XX века, но он сгорел дотла. Однако, сообщил ей этот кто-то, хоть дом и сгорел, на него есть полная документация, сделанная студентами архитектурного института во время практических занятий. Всё измерили, всё расчертили — готовый проект.

И Лидия Александровна загорелась идеей: а может, воссоздать тот дом-памятник в Литературном квартале? С этой идеей пошла к Г.И. Белянкину — тогдашнему главному архитектору города. Геннадий Иванович отказал категорически: «Вам этот памятник не восстановить. Никогда. Это должны сделать профессионалы высокого класса, настоящие строители. А у вас их нет и не будет, потому что их нет сегодня в городе».

Не знаю, почему он так её запугивал: чертежи есть, квалифицированных плотников можно найти. Какие ещё там скрыты тайны? Непрост был Геннадий Иванович. Но и Лидия Александровна была непроста. Белянкина она таки уломала, с помощью сочувствующих ей ещё с партийных времён руководителей нашла и высококачественные строительные материалы, и хороших мастеров, а для профессионального контроля за ходом и качеством работ пригласила знающего архитектора — и… «В течение двух лет дом был построен. Может, не совсем точно, но добротно», — вспоминает она. Добротно — бесспорно; Не совсем точно — а может, это и к лучшему? Я помню прообраз того дома, который сейчас украшает Литературный квартал: мимо него каждый день ездил на трамвае с Эльмаша в университет, когда был студентом. Потемневшее и потрескавшееся от непогоды деревянное строение с окнами причудливой формы и на низком фундаменте. И где-то у входа мемориальная доска — не мраморная, а деревянный щит: мол, памятник, охраняется государством. И кто-то пониже масляной краской приписал — поёрничал: «…пока сам не сгниёт и не развалится». Не развалился, а сгорел. И о нём бы точно забыли, если бы не воссоздали его копию в Литературном квартале — из звонких смоляных брусьев, на высоком фундаменте, с лестницей от входа, с узорчатыми чугунными перилами, косо спускающейся на тротуар. Не было такой в оригинале!

И способ приобщения публики к реалиям и страстям литературной жизни XX века придумали не очень музейный: меняющиеся выставки, вечера памяти, презентации, встречи. Живой литературный процесс капля за каплей вливался в музейное пространство. А.И. Рязанова, один из самых опытных ветеранов музейного объединения, «колдовала» над ретортами времени. Лидия Александровна часто при этом присутствовала, сидя где-то в задних рядах небольшого актового зала, но слово брала редко. Работала её идея!

А попутно, пока обустраивались эти музеи, отреставрировали заброшенный деревянный дом в северном конце квартала. Сначала предполагали использовать его как подсобное помещение — что-то там мастерить или просто хранить. Но подняли архивные документы — и открылась его литературная история. Оказывается, его построил родной дед Мамина-Сибиряка, и сам писатель, не подозревая о том, какое-то время там квартировал. Но какую-то ещё маминскую экспозицию в нём устраивать не стали — нашли другое, неожиданное и достойное применение: музей детской книги, музей кукол.

А самую интересную судьбу уже даже не команда во главе с Худяковой, а сама Лидия Александровна — со своими миропониманием, позицией, опытом, энергией, но даже расширив круг единомышленников и сподвижников — уготовила не очень понятному руинированному строению на территории бывшей усадьбы М.Я. Андреевой: к этой руине изначально была привязана её авторская идея (и, думаю, сокровенная мечта) — создание Камерного театра.

И, хоть изначально не планировали, к 200-летию Пушкина у южного торца квартала встал очень душевный, запоминающийся памятник поэту работы скульптора Г.А. Геворкяна, на эмоциональном уровне включивший литературную историю Урала в общероссийский контекст.

Камерный театр

Я уже говорил, что театр Лидия Александровна любила с ранних лет, была увлечённой театралкой и тогда, когда работала в Чкаловском райкоме, хотя по работе связей с театральным миром у неё тогда не было. Зато, возглавив отдел культуры обкома, она в работу театров вникла не только по долгу службы, но и душой. И не только местные театры, но и те, что приезжали в Свердловск на гастроли, всегда чувствовали её тёплое внимание и поддержку. В архиве Худяковой есть фотографии её, например, с Ульяновым и Смоктуновским, письма от М.А. Ульянова, книга, подаренная ей артистами Большого театра — десятки подписей. Есть обширная переписка с руководителями местных театров, уехавших на гастроли…

Так что вполне объяснимо её намерение создать театр в структуре ОМПУ. Это именно её идея, до неё такую мысль не высказывала ни И.И. Куликова, ни кто-либо ещё из коллектива или руководства города и области. Да и сама Лидия Александровна утверждала, что не знает подобных симбиозов за границей, а в России, сколько ей известно, существуют лишь театры при Эрмитаже и в усадьбе Архангельское, но и они — лишь площадки для выступления коллективов, приглашённых по какому-то случаю со стороны, а ей мечталось создать при ОМПУ репертуарный и постоянно работающий театр. Но с самого начала вставали вопросы: зачем он музею; в каком помещении этот театр будет работать; что собою организационно (и персонально) будет представлять коллектив этого театра?

Добавлю к тому: эти вопросы пришлось решать в 1990-е годы, когда рухнули и прежние социально-политические устои общества, и экономическая система, и культурные традиции, и ценностные ориентиры, да и, опускаясь на бытовой уровень, большинству «освобождённых от тоталитаризма» граждан просто не на что было жить. Я уже говорил, что благоразумные люди, узнав о её замысле, крутили пальцем у виска. Всё вокруг рушилось, а она затеяла строить.

Но ведь построила! 1 декабря 1998 года на сцене нового театра был представлен для публики первый спектакль — «Каменный цветок», по сказам П.П. Бажова; открылся первый сезон, а сейчас какой — двадцать восьмой, кажется?

Создание Камерного театра ОМПУ — остросюжетная и поучительная, богатая социальным смыслом история, для которой не просторен и формат книги. И такая книга, насколько я знаю, сейчас пишется; с интересом жду её появления. А я здесь ограничусь лишь одним мотивом: этот невероятный в тех условиях проект Лидии Александровне удалось реализовать лишь потому, что она так долго и успешно работала секретарём райкома партии и заведующей отделом культуры обкома!

Эта истина становится совершенно очевидной, когда вчитываешься в тексты бесед Лидии Александровны, записанные М.М. Полевичком, — в той части, где они касаются строительства Камерного театра. Например, она вспоминает, как искала исполнителей разных работ. Приходит к руководителю крупной строительной организации: «Он работал у меня везде раньше, он очень много строил. Ещё когда в Чкаловском районе работала, и когда в отделе культуры работала. Дом кино он тоже строил». Ещё один фрагмент: «Когда я работала в Чкаловском районе, у меня сложились очень хорошие отношения с директорами заводов. И я решила обратиться к ним. А я уже не работала там больше десяти лет, там уже руководители сменились. Но те молодые ребята, которые пришли при мне, запомнили, что я к ним хорошо относилась, выдвигала их».

Подобных сюжетов в её воспоминаниях много.

Все, к кому она обращалась, хорошо к ней относились, но не всегда готовы были помочь. Возможен был такой, например, разговор. «Он у меня спросил: вот это у вас есть? Нет. У вас утверждено там где-то? Нет. У вас это

вот есть? Нет. А у вас, извините, деньги есть? И денег нет. Но мы же хотим». И он выносит вердикт: “Я уважаю вас, мне интересно с вами работать, но это я делать не возьмусь”. Тем всё с ним и закончилось».

Понимая ситуацию, Лидия Александровна не обижалась и не опускала руки, искала новые ходы. И вот что бросается в глаза: ни в одном случае, о котором она вспоминает, нет официальщины, казёнщины — всё как-то по-человечески, при полном взаимопонимании, на фоне добрых отношений. Сама она этого не подчёркивает, ибо для неё это органично, а посмотреть со стороны — очень заметно.

Вот характерный эпизод из воспоминаний. Лежит она в больнице, к ней пришла зам по архитектуре (была в развивающемся ОМПУ такая должность), нашли тихий уголок с большим столом, разложили чертёж будущего театра. В это время мимо проходит человек, знакомый ещё по Чкаловскому району. Увидел её, подошел: «Лидия Александровна, что это вы тут делаете?» Она пояснила и поинтересовалась, в свою очередь: «А вы где сейчас работаете?» Оказалось, в холдинге «Уралмаш». Она ему: «Дорогой мой, может, вы нам сделаете этот объект?» Он в ответ: «Что вы, что вы, у меня плановые дела». Она ему: «Это же для вас такая мелочь. Вы строите такие гиганты, а тут — как пристрой к какому-нибудь цеху». Но он твердит всё то же: «Нет, не могу». «Я потом через некоторое время снова его уговаривала, — вспоминает Лидия Александровна, — и опять безрезультатно. А через какое-то время он сам пришёл и сказал: а хорошо, давайте».

Очень много для Камерного театра, как она не раз повторяла, сделал А.М. Чернецкий — тоже ведь в прошлом директор Химмаша (правда, он занял эту должность после того, как Лидия Александровна ушла из Чкаловского райкома, но память на заводе, видимо, осталась): он и подрядчиков помогал находить, и контролировал ход работ на этом трудно продвигающемся объекте, нанося туда не объявленные заранее и даже с ней не согласованные визиты во время своих поездок по городу. Стало легендой, как он урезонивал прораба, когда тот задумал заменить дорогостоящий и дефицитный импортный материал чем-то попроще: «Но мы что строим? Театр или сарай?»

А еще бросается в глаза: всё в этом, откровенно говоря, авантюрном проекте строилось на доверительных отношениях, на человеческом понимании, на общем интересе. Между прочим, проект ведь создавали ещё в советское время, и открыто заявить о намерении строить театр при музее — значило завалить замысел в зародыше. И театр, как когда-то художественный салон и Дом кино, проектировали и строили под «псевдонимом»: «Литературно-концертный зал» — пристрой к той кирпичной надворной постройке (!) в усадьбе Алексеевой, которая будто бы реставрировалась для нужд музея. И об этой «маленькой хитрости» все, от кого что-то зависело, знали — и Шаманов, и Чернецкий, и все подрядчики. Все всё знали и строили не «зал», а именно театр. Всякие перипетии были в этом долгом и трудном процессе, но кажется, не было ни одного случая, чтобы кто-то причастный к нему искал личную выгоду, чтоб у кого-то был повод заявить (как это стало нормой сейчас): «Чистый бизнес, ничего личного». Напротив, всё было очень личное — и никакого бизнеса!

Был, к примеру, случай, когда автор запатентованного способа улучшения акустики зала пытался предъявить претензии архитектору, который этим способом воспользовался, не имея от того корысти. Выяснив отношения, они примирились за бутылкой шампанского.

А может, и такой случай — в тему. Здание театра строилось долго, годами выглядело заброшенным. И его освоили бомжи — тоже примета 1990-х. Ладно бы просто переночевали и на выход, так они там оставляли обильные отходы своей нечистоплотной жизнедеятельности. И никакой управы на них не было. Сторожа бы поставить, но у театра не было денег на сторожа, да ничего бы он с ними поделать и не смог. И вот как вышла из положения Лидия Александровна: «Был среди них и совершенно удивительный бомж:

в белой рубашке при галстуке, всегда почему-то с портфелем. И он там ночевал тоже! Я его встретила и говорю: вы тоже там ночуете, да? Я не буду возражать, ночуйте. Но давайте я вас назначу ответственным за порядок. И он порядок там более или менее навёл».

Человеческий аспект при создании Камерного театра — это и выстраивание отношений с первым главным режиссёром В.И. Анисимовым: это был талантливый человек, ученик Товстоногова, сыгравший ключевую роль и при проектировании театра, и при определении его профиля, но совершенно неуживчивый, непредсказуемый. Его вытесняли отовсюду, где он начинал работать, а Лидия Александровна терпела все его выходки ради пользы дела.

Человеческий аспект — это ещё и чувство причастности у всего персонала рождающегося театра, включая билетёрш и работников сцены, к общему делу, общему любимому детищу. И, к примеру, когда понадобилось пополнить скудные запасы реквизита, многие из собственного дома потащили предметы обихода, даже, были случаи, диваны и ковры.

А когда Камерный театр отмечал свой первый юбилей (10 лет со дня открытия первого сезона), Лидия Александровна написала благодарственные письма всем ключевым участникам его создания. Это не формальные приветствия «под копирку», а яркие вспышки памяти, высвечивающие совершенно индивидуальные поступки. А.М. Чернецкому: «Вы пришли к руководству городом, когда театр строился уже 8 лет, стояла только коробка здания, а я металась в поисках средств для дальнейших работ.» И далее о том, что функции заказчика были переданы от музея УКСу Горисполкома, а подрядчиком назначен Атомстройкомплекс, только что обратившийся к гражданскому строительству. Е.В. Заграничному, главному инженеру проекта Камерного театра: «Вы, именно Вы вняли моим мольбам и не побоялись взяться за строительство этого не подкреплённого финансированием проекта <…> Трудно сказать, как бы сложилась судьба этого проекта без Вашего первого шага». Архитектору А.А. Пташнику: «До Вашего предложения было два архитектурных проекта <…> Они не могли нас устроить. Вы предложили свою идею, которая была сразу принята. Она позволила грамотно совместить современные архитектурные решения с аурой восстановленного квартала старого Екатеринбурга». Дизайнеру В.М. Брусницыну: «Мне кажется, проект наших замечательных люстр родился на взлёте Вашей творческой мысли. А как Вы вспоминаете нашу авантюру заказать эти роскошные хрустальные люстры на кирпичном заводе? <…> А как мы лежали в цехе на полу, на картонках, чтобы оценить, как эти люстры будут смотреться снизу! А как мы в жару пили холодное молоко в гостях у Вашей мамы! Мне сейчас стыдно, что я практически ничего не платила за Вашу удивительную работу. Но я счастлива, что встретила таких замечательных людей…»[26].

Между прочим, когда отмечался этот юбилей, Лидия Александровна уже не была ни директором ОМПУ, ни директором Камерного театра. Да и часть её адресатов была уже не у дел. Но всех их связывали не официальные, а человеческие отношения. На таких отношениях и делаются «чудеса», которые просто невозможны (ибо «экономически абсурдны») в обществе победившего монетаризма.

Трудно, но нужно быть человеком

И причём здесь «стержневые люди»?

Что исторический путь — не тротуар Невского проспекта, заметил ещё Чернышевский. Крутые зигзаги на этом пути воспринимаются, как тяжёлые, будто у статуи Командора, шаги истории. «Бабахнула шестидюймовка Авророва» (как потом выяснилось, холостым зарядом) — и утром следующего

[26] Таких писем десять или одиннадцать (Архив Администрации г. Екатеринбурга. Ф. 85. Оп. 10. Ед. хр. 7).

дня «гонку свою продолжили трамы, уже — при социализме». При этом те, кто был никем, стали «всем», а те, кто «всем» были раньше, превратились в «бывших», «лишенцев» и прочих «буржуев недорезанных». Три четверти века спустя тот самый Б.Н. Ельцин, который клеймил меня за «идеологический вред» и «нож в спину партии», поднялся у «Белого дома» на танк (уже не броневичок: новые времена — другой масштаб) и круто повернул штурвал истории. Теперь уже «бывшими» объявлены «коммуняки», а те, кому «коммуняки» прежде мешали «ни в чём себе не отказывать», объявили себя элитой. Такие «американские горки» истории эмоционально взбадривают, но довольно быстро обнаруживается, что это не аттракцион, а смертельно опасные ухабы. Катастрофа Гражданской войны и тотальная деградация страны в 1990-х убеждают в том лучше рассудочных аргументов. И вот тут возникает нужда в людях из «прошлого», которые живут не по лозунгам, а умеют делать дело и потому в «настоящем» без них не обойтись.

Герой самой советской пьесы Николая Погодина «Кремлёвские куранты» инженер Забелин, не принявший новой власти, торгует спичками на барахолке у Иверских ворот. К нему домой приходят чекисты и увозят его… Нет, не в застенки ЧК, а в кремлёвский кабинет Ленина. А Ленин предлагает ему работать в комиссии, готовящей план ГОЭЛРО.

А в конце 1990-х, когда начитавшиеся гарвардских учебников, но не знающие глубинных законов российской жизни, «мэнээсы» и прочие «киндерсюрпризы» ввергают и без того разорённую «шоковыми» экспериментами страну в дефолт, Ельцин призывает на помощь «коммуняку» Примакова, и тот отодвигает страну от пропасти.

И «сгенерированный» естественным интеллектом драматурга Забелин, и реальный Евгений Максимович Примаков — примеры людей, которых я и называю стержневыми: они сращивают разломы, скрепляют «распавшиеся связи времён». Таких людей немало — именно благодаря им мир не разваливается при каждой очередной встряске, и после всех революций, войн и реформ мы живём (увы, не благоденствуем) не в «другой стране», а всё в той же России — святой и грешной, смиренной и бунтующей, богатой и нищей.

Лидия Александровна — из числа таких людей. Я рассказываю о ней не затем, чтобы читатель вдохновлялся её примером; не надо жить по примерам — у каждого свой путь, своя судьба. Да и не применить вам к себе опыт её почти столетней жизни: в ней было много такого, чего у нас с вами, к счастью (а может, и к несчастью) не будет никогда. Но в протяжённой истории её жизни очень наглядно, по-моему, проявляется закон, с которым необходимо считаться каждому, как с законом всемирного тяготения: хочешь подняться — приложи усилия, оступишься — упадёшь. На поверхностный взгляд, этот закон прост: ты человек — и живи по-человечески. Но как трудно быть человеком.

ПЕРЕКЛИЧКИ

Павел Глушаков
Ad discendum, non ad docendum

Латинское выражение, вынесенное в заглавие этих заметок и выписок, означает: «Для изучения, а не для поучения». Иными словами, неожиданный и спорный контекст, который возникает при монтажном соединении разных текстов, не претендует на статус окончательности и истины в последней инстанции, а лишь стимулирует размышление, рождаемое чувством удивления или даже протеста.

*

Два странных видения: Шекспир («Гамлет») — Блок («Двенадцать»).

Горацио.
Две ночи кряду этим господам,
Бернардо и Марцеллу, на дежурстве
Средь мертвой беспредельности ночной
Такое выпадало.
Кто-то, зримый,
В вооруженье с ног до головы,
И сущий ваш отец, проходит мимо
Державным шагом. <…>

Гамлет.
Который час?

Горацио.
Без малого двенадцать. <…>

Гамлет.
<…>
Ты движешься, обезобразив ночь,
В лучах луны <…>

Марцелл.
Смотрите… Он вас зовет подальше в глубину. <…>

Гамлет.
Иду!

Павел Глушаков (1976) — родился в Риге. Выпускник Латвийского университета, доктор филологических наук. Автор книг по истории русской литературы: «Шукшин и другие», «Мотив — структура — сюжет». Постоянный автор «Нового мира», «Нового литературного обозрения», «Знамени».

…Так идут державным шагом,
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой, невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.

Правда, эти схождения, кажется, больше говорят о Пастернаке, чем о Шекспире.

*

В лермонтовском стихотворении «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), кажется, еще не был отмечен пушкинский семантический пласт — из «Пророка».

Здесь и место действия — пустыня («песок долины» у Лермонтова), и образ трупа («Как труп в пустыне я лежал» и «С свинцом в груди лежал недвижим я» и «Знакомый труп лежал в долине той»), и мотив сна («Перстами легкими как сон…» и «И снился мне…»). Только нет в стихотворении Лермонтова одного и главного — духовного преображения, воскресения. «Сон» останавливается там, где у Пушкина продолжение:

Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Лермонтовский же герой не дождался такой метаморфозы («И он мне грудь рассек мечом, / И сердце трепетное вынул, / И угль, пылающий огнем, / Во грудь отверстую водвинул»), оставшись на полпути к ней:

В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.

*

В 1840 году в стихотворении «Мудрецу» Евгений Боратынский провозглашал:

Жизнь для волненья дана: жизнь и волненье одно.

Не запоздалый ли это «ответ» на давнюю формулу Жуковского (1824):

Я музу юную, бывало,
Встречал в подлунной стороне,
И Вдохновение летало
С небес, незваное, ко мне;
На все земное наводило
Животворящий луч оно –
И для меня в то время было
Жизнь и Поэзия одно.

*

Пушкинское стихотворение «Я помню чудное мгновенье...», по мнению Л. И. Тимофеева , некоторым образом отразилось в стихотворении А. А. Блока «О доблестях, о подвигах, о славе…».

Но, думается, в гораздо большей степени текст Пушкина мерцает при обращении к другому блоковскому стихотворению того же 1908 года — «Россия» («Опять, как в годы золотые…»). Именно здесь есть прямая параллель к тексту стихотворения «Я помню чудное мгновенье...».

Ср.:
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.
Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

У Блока:
Пускай заманит и обманет, —
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты…

«Мимолетное виденье» пушкинского стихотворения превратилось в «Мгновенный взор из-под платка», а «гений чистой красоты» в «разбойную красу». И в целом — вся интенция блоковского текста, проникнутая пафосом чуда («невозможное возможно»), является, в некоторой степени, вариантом чудного мгновенья.

*

В 1834 Гоголь пишет «Записки сумасшедшего». Годом ранее закончен «Вий», в котором Хома сталкивается не только с ведьмовской сущностью женщины, но и гибнет от явившегося ему инфернального «начальника гномов».

«Записки сумасшедшего»: «О, это коварное существо — женщина! Я теперь только постигнул, что такое женщина. До сих пор никто еще не узнал, в кого она влюблена: я первый открыл это. Женщина влюблена в черта. Да, не шутя. Физики пишут глупости, что она то и то, — она любит только одного черта. Вон видите, из ложи первого яруса она наводит лорнет. Вы думаете, что она глядит на этого толстяка со звездою? Совсем нет, она глядит на черта, что у него стоит за спиною. Вон он спрятался к нему во фрак. Вон он кивает оттуда к ней пальцем!»

«Вий»: «Казалось, никогда еще черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте. Она лежала как живая. Чело, прекрасное, нежное, как снег, как серебро, казалось, мыслило; брови — ночь среди солнечного дня, тонкие, ровные, горделиво приподнялись над закрытыми глазами, а ресницы, упавшие стрелами на щеки, пылавшие жаром тайных желаний; уста — рубины, готовые усмехнуться... Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе. Рубины уст ее, казалось, прикипали кровию к самому сердцу. Вдруг что-то страшно знакомое показалось в лице ее.

— Ведьма! — вскрикнул он не своим голосом, отвел глаза в сторону, побледнел весь и стал читать свои молитвы».

«Записки сумасшедшего»: «Сегодня великий инквизитор пришел в мою комнату, но я, услышавши еще издали шаги его, спрятался под стул. Он, увидевши, что нет меня, начал звать. Сначала закричал: “Поприщин!” — я ни слова. Потом: “Аксентий Иванов! титулярный советник! дворянин!” Я все молчу. “Фердинанд VIII, король испанский!” Я хотел было высунуть голову, но после подумал: “Нет, брат, не надуешь! знаем мы тебя: опять будешь лить холодную воду мне на голову”. Однако же он увидел меня…»

«Вий»: «И вдруг настала тишина в церкви; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви <…> Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хома.

— Подымите мне веки: не вижу! — сказал подземным голосом Вий — и все сонмище кинулось подымать ему веки.

“Не гляди!” — шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул.

— Вот он! — закричал Вий и уставил на него железный палец».

*

Два странных видения: «Старосветские помещики» и «Вишневый сад».

«В один день Афанасий Иванович решился немного пройтись по саду. Когда он медленно шел по дорожке с обыкновенною своею беспечностию, вовсе не имея никакой мысли, с ним случилось странное происшествие. Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом: “Афанасий Иванович!” Он оборотился, но никого совершенно не было, посмотрел во все стороны, заглянул в кусты — нигде никого. День был тих, и солнце сияло».

«Любовь Андреевна. Посмотрите, покойная мама идет по саду... в белом платье! (*Смеется от радости.*) Это она.

Гаев. Где?

Варя. Господь с вами, мамочка.

Любовь Андреевна. Никого нет, мне показалось. Направо, на повороте к беседке, белое деревцо склонилось, похоже на женщину...»

*

Из «диалогов». Пушкин «Дорожные жалобы»:

Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?
Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих могил,
На большой мне, знать, дороге
Умереть господь судил,
На каменьях под копытом,
На горе под колесом,
Иль во рву, водой размытом,
Под разобранным мостом.

Блок «На железной дороге»:

Под насыпью, во рву некошенном,
Лежит и смотрит, как живая…

*

Из диалога: Мандельштам и Пушкин.

Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной...

Что в имени тебе моём?
Оно умрёт, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом.

*

В. Лебедев-Кумач:

Молодым — везде у нас дорога,
Старикам — везде у нас почет.

Пушкин «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»:

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.

*

Народная мудрость, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок имеет все же свой определенный источник: примерно так выразился известный знаток животных и один из основоположников их цирковой дрессуры Карл Гагенбек. Правда, точные его слова звучат так: «Путь к сердцу животного лежит через его желудок».

*

Из неожиданных контекстов. Иосиф Бродский «Ни страны, ни погоста» (1989) и Николай Рубцов «Тихая моя родина» (1963):

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий
я впотьмах не найду.

...словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи…
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.
— Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу.

Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать —
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Константин Комаров

Связанные одной целью

К 40-летию Свердловского рок-клуба

Легендарному Свердловскому рок-клубу, которому случилось появиться на свет 15 марта 1986 года (ровно за два года до рождения вашего покорного слуги, кстати говоря), — исполняется 40 лет. Именно в этот день состоялось первое собрание клуба: «В ДК Свердлова на улице Володарского рокерам выделили комнату, президентом стал Николай Грахов, а шефство над ними взял комсомол. Свердловский рок-клуб просуществовал до 1991 года, и эти пять лет дали Свердловску–Екатеринбургу мощный творческий и социальный импульс»[1].

Самый юный участник рок-клуба Макс Ильин отмечает особенности контекста времени: «В СССР первой половины 1980-х рок-среда была закрытым пространством, попасть туда мог далеко не каждый. Да и не каждый хотел»[2]. Цели вступления были очевидны и прозрачны: в первую очередь получить официальную «литовку» (одобрение и утверждение) текстов песен, значительно упрощающую их выход к слушателю, — то есть легитимизоваться в музыкальной культуре. Проходил этот процесс не без курьёзов. Так, однажды группе «Метро» отказались залитовать песни на стихи бельгийского коммунистического поэта Мориса Карема, официально изданные в Советском Союзе.

Уже 20–22 июня 1986 года состоялся первый фестиваль Свердловского рок-клуба, на котором, по воспоминаниям Макса Ильина, «не было ни одного случайного горожанина, в зале находились только музыканты, члены рок-клуба». Разумеется, появлению рок-клуба обрадовались далеко не все, практически сразу начались нападки и гонения, разговоры о «вредности» рок-музыки для морального облика советской молодёжи и т.п. Преодолевались трудности и препятствия духом весёлого демиургизма, лёгкости и радости творческого жеста, дружбы и взаимовыручки: «Музыканты общались

Константин Комаров — поэт, литературный критик, литературовед. Выпускник филологического факультета Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина. Автор литературно-критических статей в журналах «Новый мир», «Урал», «Вопросы литературы», «Знамя», «Октябрь» и др. Лауреат премии журнала «Урал» за литературную критику (2010). Стихи публиковались в журналах «Звезда», «Урал», «Гвидеон», «Нева», «Новая Юность», «Волга», «Бельские просторы», «День и ночь» и др. изданиях. Автор нескольких книг стихов. Участник и лауреат нескольких поэтических фестивалей. Живёт и работает в Липецке.

[1] Свердловский Рок-клуб — История солидарности — https://xn--80ahlaacrtdbfqgfdien0v.xn--p1ai/tpost/uh8z6273a1-sverdlovskii-rok-klub.

[2] https://snob.ru/music/niu-veiv-po-uralski-gitary-iz-stenok-fortepiano-portastudiia-na-dengi-vyruchennye-za-obruchalnoe-koltso-kak-zhil-znamenityi-sverdlovskii-rok-klub/.

в основном друг с другом, собирались, обсуждали музыкальные новинки зарубежных коллег, вели жаркие диспуты о чистоте жанра. Выпивали, конечно» (Макс Ильин). Инструменты в СССР были труднодоступны, поэтому выходили из положения, как могли: «гитары выпиливали из стенок фортепиано, фурнитуру точили на оборонных заводах, там же собирали усилители» (Макс Ильин). Но молодой задор успешно пробивал бюрократические преграды: так, именно рок-клуб выпустил первую в СССР посвящённую музыке печатную газету «Перекати-поле» и вообще старался методически и системно продвигать рок-посыл в сознание масс.

Песни, созданные в рок-клубе молодыми музыкантами, ныне давно пребывающими в статусе монстров и зубров отечественной рок-сцены, — это песни свободы и протеста. Но протест этот часто заявляется в игровой форме, без «звериной серьёзности». Поэты рок-клуба в целом двигались по неомодернистским рельсам, подхватив и по-своему продолжив традиции Серебряного века русской поэзии, что было вполне в русле общей принципиальной установки русского рока на значимость поэтической, а не музыкальной составляющей и способствовало появлению самого феномена «рок-поэзии». Ключевой и системообразующей фигурой здесь является, конечно же, Илья Кормильцев (1959–2007).

Трудно не согласиться с Максом Ильиным в том, что «наличие в рядах советских рокеров поэтов-переводчиков Михаила Науменко, того же Ильи Кормильцева тогда определило судьбу рок-музыки в нашей стране, вывело её на по-настоящему высокий уровень». Ильин конкретизирует: «Музыканты были везде, а вот мастера слова смогли реализоваться только в Ленинграде и Свердловске. Считаю, именно Илья во многом задал тон и культурный код свердловскому року, и с тех пор, как он потерял интерес к рок-музыке, она слишком явственно стала просить замены батареек».

Однако при всей важности поэзии значимости качественного звука Кормильцев тоже не умалял. Так, по воспоминаниям Ильина, «году в 1984 Илья Кормильцев продал всё, что было возможно, включая обручальное кольцо, и купил японскую четырёхканальную кассетную портастудию. На неё записан альбом «Наутилуса» — «Невидимки», «Около радио» Егора Белкина и наш «Рок опоздавших»». При этом Кормильцев внешне на рок-музыканта никак не походил, однако «от него исходила энергия», он был «яркий, эрудированный, своеобразный и эмоциональный человек, меломан, полиглот», главной чертой которого являлась внутренняя независимость: «Не думаю, что его беспокоило чьё-то мнение. В рок-клубе все знали, что это его тексты. На премьеру «Разлуки» в октябре 1986 он вообще пришёл в костюме: чувствовалось, что для него это творческая победа и праздник» (Макс Ильин).

***

Именно альбом «Разлука» (удостоенный, кстати, премии Ленинского комсомола, от которой Кормильцев отказался) стал, пожалуй, главным свершением «Наутилуса» периода рок-клуба. Присмотримся внимательно к поэтической составляющей этого мгновенно ставшего культовым альбома и попробуем проследить за движением его лирического сюжета, акцентировав опорные точки такового.

Сквозную лирическую интонацию альбому задаёт фольклорный «Эпиграф» («Разлука ты, разлука, / Чужая сторона…»), распевность которого тут же обрывается песней «Эта музыка будет вечной», соединяющей в себе неоакмеистическую вещность и предметность («радиола стоит на столе») с символистской таинственной неуловимостью смысла и образа, понимаемого как «окно в бесконечность» (Ф. Сологуб). Так, загадочная «тень на стене», которая «повернулась спиной» и «уже не танцует» с лирическим героем, не может не вызвать ассоциаций с манифестальным брюсовским «Творчеством»: в частности, с «фиолетовыми руками на эмалевой стене», что «полу-

сонно чертят звуки в звонко-звучной тишине». Освещаемое символистским светом «луны у причала» лирическое пространство этого текста — пространство неопределённости: «какие-то скрипки где-то / Впились в чьи-то узкие плечи». Соединение темы музыки с темой физической муки сразу же приводит на ум «Смычок и струны» «прародителя» символизма Иннокентия Анненского: «И скрипка отвечала да, / Но сердцу скрипки было больно». Заглавный же мотив «вечной музыки» — вообще один из краеугольных камней философии и эстетики русского символизма. А в образе «податливого гипса простыни, сохранившего твою форму тепла» наиболее наглядно обогащают друг друга акмеистская вещность в её телесной ощутимости (здесь вспоминается уже А. Кушнер с его «И если спишь на чистой простыне…») и неуловимость блоковско-соловьёвской «Вечной женственности» — бестелесной, познаваемой только интуитивно «формы тепла». С Блоком аукается и строка «Как прекрасно, что ты ушла!» (См.: «Ты в синий плащ печально завернулась, / В сырую ночь ты из дому ушла».)

Здесь появляется и сквозной лирический герой альбома — неоромантический бунтарь-одиночка, который «испытывал время собой» и теперь «должен начать всё сначала», «заменить батарейки» (что можно, по-символистски, истолковать как приведение себя в состояние «сверхчувственности», в коем только, по Мережковскому, поэт и способен улавливать послания иных сфер). Герой реализуется в стремлении к воплощённой в «вечной музыке» (её «представительницей» является луна — тоже «окно в бесконечность», — в неостановимом круговороте «теряющая свой серп» и «возмещающая ущерб») свободе, которая выше и важнее преходящей любви земной, ибо являет собой возможность открытия «мира горнего» в «мире дольнем». Таким образом, уже первая песня альбома даёт понять, насколько важен для Кормильцева импульс Серебряного века в целом и символизма в частности. Дальнейшее разворачивание сюжета «Разлуки» это наблюдение только подтверждает.

В «Казанове» искомая свобода обретается как раз через любовь и присущую этому чувству энергийность, ментальную энергоёмкость. Любовь — само вещество жизни, и её ток задаётся — от обратного — уже с первой строки: «Если нет любви в твоих проводах, / Если холоден голос в твоём телефоне». Восприятие лирического героя вновь устремлено в некое странное инобытие, где размываются границы времени и пространства («Я звоню в никуда, я забыл даже номер»), а абстрактные категории обретают плоть и кровь в соседстве с физической предметностью («На мягких подушках не въедешь в вечность»). Развивается и лейтмотивная «теневая» образность («Ты повесишь на стул позабытую тень / Моих присутствий и влажных приветствий»). Рефренный призыв («Казанова, Казанова — зови меня так! / Мне нравится слово») подключает важную тему метапоэтической рефлексии над самим процессом именования как осуществления личности. Любовь происходит через энергию слова, а слово — через энергию любви — в слепящей обнажённости «светящегося бронзой раздетого лета» (здесь мерцает отсылка к античному культу гармонической телесности, ярким представителем которого был, например, Платон), в «неслыханной простоте» (Пастернак), являющейся причиной всему, то есть основой миробытия («То что проще простого, / Ты моя женщина, / Я твой мужчина»). Так, собственно, и со-творяется человеческая личность, исполненная крови, жалости (то есть пушкинского милосердия) и провиденциальной проницательности («можешь заметить даже чёрное в белом»). Любовь телесная, конечно, скована «свинцовыми оковами» бёдер (образ в духе «антиобывательской» телесности ранней лирики Маяковского), но любовь сверхтелесная (опять же по Блоку), путь к которой, судя по всему, искал и исторический Казанова, — свободна абсолютно и становится спасительным «плотом» для всех «дрейфующих на льдине» неумолимого времени, губительного для внешней, скоромимоходящей красоты: «Каждый день даст тебе десять новых забот, / И каждая ночь принесёт по морщине».

Во «Взгляде с экрана» рефлексия над словом и творчеством нарастает, появляется постмодернистская метафора «мир как текст» («Она читала мир, как роман, / А он оказался повестью»). Отчётливо звучат и мотивы отчуждённости, имитационности любовного переживания («Любовь — это только лицо на стене, / Любовь — это взгляд с экрана»), априорного коммуникативного разлома, чеховского непонимания, подчёркнутого рефренным «Ален Делон говорит по-французски». Вновь сходятся в едином цельнооформленном образе духовное и телесное («парни с прыщавой совестью»). Более изощрённой становится рифмовка («дога-дорого»). В качестве лирической героини опять возникает неназванная «она» («когда её нет дома слишком долго») — отстранённая и таинственная — то ли «Вечная женственность», то ли Незнакомка, а скорее всего — их симбиоз. Общее настроение этой песни — подспудная напряжённая, пульсирующая тревога, вязкое, сновидческое движение на ощупь. Тем не менее заканчивает Кормильцев, пародируя высокопарность низкопробной беллетристики, но всерьёз утверждая приоритет познавательного, когнитивного потенциала свободного демиургического воображения над эмпирической действительностью. Свобода во «Взгляде с экрана» — это прежде всего свобода творческой фантазии.

«Наша семья» тоже пронизана ощущением тревожной неопределённости и коммуникативного разлома, непонимания, дискретности, отсутствия цельности, угрожающего энтропией абсурда творимого вслепую самими людьми «странного нечто, которое вечно стоит за спиною»[3]:

В нашей семье каждый делает что-то,
Но никто не знает, что же делают рядом,
Такое ощущение, словно мы собираем
Машину, которая всех нас раздавит.

Свобода здесь впрямую декларируется как личностное самоосуществление, обретение человеческого и творческого самостоянья, подлинное отождествление и совпадение с собой, для которого нужно стряхнуть с себя морок энтропийной инерции: «Я просто хочу быть свободным, и точка! / Но это означает расстаться с семьёю». Неоромантический бунт «белой галки среди серых ворон» (она «не лучше других», но прозорливей, ибо «даёт представление о том, что нас ждёт за углом») манифестируется с иронией, но в основе своей вполне серьёзен: «Смотрите на меня — я иду поджигать / В пижаме и с нелепым огнём». Лирический герой даже напрямую сравнивает себя с Геростратом, являющимся в безусловно знакомой Кормильцеву философии экзистенциализма (у Сартра есть даже новелла «Герострат») образцом бунтарского, освобождающе-разрушительного жеста: «Смотрите на меня, я почти Герострат / Со свечкой и босиком».

Бунтарские настроения концентрируются и усиливаются от песни к песне. «Рвать ткань» содержит энергичный призыв уже в самом названии (правда, без восклицательного знака, что придаёт императиву оттенок уверенной констатации). Наличествующее миробытие сразу определяется в координатах маргинальности, специфически русской слепой агрессии («Мне страшней Рамбо из Тамбова, чем Рамбо из Айовы»), закрытости, лжи и неизменной смутной, расплывчатой и от этого особенно острой тревоги:

На городской помойке воют собаки,
Это мир, в котором ни секунды без драки,
Бог сделал непрозрачной здесь каждую дверь,
Чтобы никто не видел, чем питается зверь.

---

[3] Обратим внимание на изящную в своей незаметности внутреннюю рифму «нечто-вечно», со словом Кормильцев всегда работает по-модернистски тонко.

Продолжает разворачиваться и обрастать новыми оттенками образ распадающейся на глазах, безлюбовной, духовно выхолощенной («сметана на бананах, молоко на губах, / Мы любим кого-то, но нас любит страх!») «семьи», своеобразная «мысль антисемейная»: «Папа щиплет матрасы, мама точит балясы / Под дикий рёв мотоциклов детей». Время и пространство здесь сливаются в объединяющей их «тюремности» обывательских будней (здесь вновь чувствуется антимещанский пафос Маяковского, страдавшего от пребывания на «земле обезлюбленной»): «В одну тюрьму из другой тюрьмы / Нас разбудили в такую кромешную рань». «Ткань» этого унылого существования уже истончилась до состояния ветоши, поэтому остаётся только её «рвать», ибо этот процесс проясняет путь, выводит из инерционного усталого движения на ощупь: «Какая тоска — не знать куда пойти, / Мы пойдём туда, где разрывается ткань».

Следующая песня «Всего лишь быть» своим лиризмом смягчает и гармонизирует бескомпромиссную остроту предыдущей. Мягкость её посыла и образной фактуры поддерживается звуковой плавностью внутренних рифм («Твой мускус, мой мускул, / Это так просто — до утра вместе», «Маски, позы, два листа прозы»), к финалу, правда, распахивающуюся в резкую глагольную дробь, передающую дисгармоничный раздрай псевдожизни, пустой беготни в колесе сансары («Когда надо пить, / Слыть, бить, выть, / Петь, брать, драть, / Жрать, петь, взять»). Если ранее речь шла о трудном движении к самоотождествлению, то здесь выясняется, что важной вехой на пути к нему является «растождествление», отказ от себя в слиянии с любимым во имя нового самообретения на ином уровне свободы. Так пролагается путь к чистому, «отфильтрованному» от гендерных, социальных и прочих ярлыков-масок «мужчины», «поэта» etc. творческому бытию; к скромной, но подлинной и полной, подразумевающей «разлуку» с собой прежним, самореализации («Это так просто, / Сочинять песни / Всего лишь»):

Но я уже не хочу быть мужчиной,
Но я уже не хочу.
Это так просто —
Я хочу быть всего лишь.

Завершается альбом хитом на все времена, мгновенно ставшим неофициальным гимном не только свердловского, но и всего русского рока. «Скованные одной цепью» — апофеоз «Разлуки» и её ударная точка, точнее, восклицательный знак. Приметы искажённого, прогнившего, чреватого катастрофой бытия здесь сконцентрированы максимально. В мотиве деформации человеческой телесности и духовности динамически суммируются живопись Босха, философия Ницше, экспрессионизм Леонида Андреева и антиутопизм Замятина и Оруэлла:

Круговая порука мажет, как копоть,
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть,
Я ищу глаза, а чувствую взгляд[4],
Там, где выше голов находится зад,
За красным восходом — розовый закат[5].

Масштабы этих чудовищных искажений, уничтожающих «лица необщее выражение» человека и ведущих к обезличивающей безликости толпы (у ко-

[4] Вновь ключевой для альбома мотив всеобщей ослеплённости и невозможности подлинного зрительного контакта.

[5] Первоначально закат был коричневым, но по понятным причинам был заменён на «розовый», получилось даже сюрреалистичней, сродни «розовому коню», на котором «весенней гулкой ранью» проскакал лирический герой Сергея Есенина.

торой, по Мандельштаму, «есть только затылки»), тотальны: «Здесь суставы вялы, а пространства огромны, / Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны». На трубе в этих «изнаночных» координатах можно сыграть только «отбой», бал правит косность, полное отсутствие желания что-либо менять, оттолкнуться от дна: «Нищие молятся, молятся на / То, что их нищета гарантирована». В этом мире честность невозможна в принципе, а необходимость постоянно врать, чтобы выжить, — абсолютна, царит лицемерие, подпитываемое страхом и не порождающее ничего, кроме пугающей стерильности чувств и мыслей: «Одни слова для кухонь, другие для улиц, / Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц, // И я держу равнение, даже целуясь». «Скованные одной цепью» — мощная и грозная ироническая эпитафия любви, выродившейся в царство «бройлерных куриц» (опять Маяковский: «любовь цыплячья, любвишка наседок»). Но и этот мрачный абсурд с его мучительно вывернутой из суставов логикой даёт возможность свободы, «лазейку» в неё: «Можно верить и в отсутствие веры, / Можно делать и отсутствие дела». Кормильцевские парадоксы выливаются в отточенные силлогизмы («И если есть те, кто приходит к тебе, / Найдутся и те, кто придёт за тобой»), сама «прекрасная ясность» которых противостоит жутковатой илистой, размазанной атмосфере распылённого в воздухе времени страха и в конце концов этот страх преодолевает. А постмодернистская «деконструкция» навязших в зубах лозунгов (вроде «и последний станет первым») осуществляется не с безжалостным сарказмом, но с наследующей романтизму трансцендентальной горечью: «Здесь первые на последних похожи / И не меньше последних устали, быть может, / Быть скованными одной цепью». Многоточие после слова «скованные» в рефрене обрывает лирический монолог, равно свидетельствуя как о безысходной замкнутости этого круга, так и о возможности разомкнуть его резким и дерзким жестом свободного со-творения.

Включённые в альбом динамичные «боевики» на стихи Вячеслава Бутусова («Праздник общей беды», «Хлоп-хлоп») поэтически менее убедительны, хотя отличаются интересными грамматическими решениями («пьянствовать праздник общей беды», «лейкоциты искромётных кровей»), громокипящей риторической экспрессией («Таким ударным инструментом / Мы пробьём все стены в мире!»), стремительностью образных метаморфоз («Обращайтесь, гири, в камни, / Камни, обращайтесь в стены»), авангардистским эпатажем («выносите свои крепкие, худые зады»), изысканной барочностью («кавалеры белых звёзд»), афористичными максимами («общая беда — это жуткое пойло»), оригинальными эпитетами («некрасивые жаркие глаза», «тупые белые звёзды») и метафорами («мы — гороховые зёрна»), метафизически нагруженной цветописью («станет голубым, как лунный свет на траве»; «был прозрачным, стал абсолютно белым»), интересными инверсиями («это первая степень свободы пока») и неологизмами («дённо»). Присутствуют обэриутские, хармсовско-олейниковские элементы («Из нас выращивают смену, / Для того чтоб бить об стену, // Вас отваривали в супе, / Съели вас — теперь вы трупы») и прямые отсылки к «Левому маршу» Маяковского («Марш, марш, левой»). И всё же это именно тексты песен в их устремлённости к поэзии, но не самодостаточная и убедительная без музыкальной «подпорки» лирика. Очень хорошие тексты очень хороших песен. Бутусов подчёркнуто социален, и его тексты порой напоминают любопытным образом иронически переосмысленную советскую агитпоэзию. Кормильцев же всё время устремлён куда-то за слова, в область невыразимого, в сферу поиска и нащупывания самого вещества поэзии. Продуманность композиции «Разлуки» видится как раз в том, что кормильцевское тревожное, насыщенное смыслами «сгущение» чередуется с бутусовской гулкой «разрядкой», обеспечивая слушателю истинный катарсис.

Конечно, харизма и исполнительское мастерство Бутусова придают текстам Кормильцева особое обаяние и притягательность, потому и фанатов «Нау» миллионы, а поклонников поэтического творчества Кормильцева —

хорошо, если тысячи. Однако при чтении «с листа» мы слышим в этих текстах голос Кормильцева — именно тот голос («Если голос твой слышен, ещё ты не спишь», — утверждает поэт в «Казанове»), с которого, и только с которого, по Мандельштаму, можно понять, «что там царапалось, боролось». Он и делает эти тексты фактами поэзии, а не только рок-культуры.

Кажется, в цельнооформленной, внутренне собранной, как готовый к прыжку зверь (вспомним тут бутусовского «Зверя»), по-блоковски «растянутой на остриях» нескольких ключевых и концептуальных мыслеобразов (бунт, протест, инерция, свобода, разрыв, тень и т.д.) «Разлуке» Кормильцеву удалось прицельно попасть в нерв конца восьмидесятых, когда ощущение неустойчивости, шаткости, истончённости миропорядка, эсхатологические интуиции грядущего его крушения буквально витали в воздухе. Альбом виртуозно и наглядно воплотил эти интенции в слове и звуке, художественно сформулировав месседж, оказавшийся созвучным миллионам молодых, рвущихся в жизнь и жаждущих обновления людей: в мир без любви нужно принести любовь и в этом творческом акте обрести настоящую свободу. В поэтическом же «разрезе» «Разлуку» можно рассматривать как ту самую каплю воды (весьма большую и мощную каплю), в которой отразились словесные эксперименты и энергия поиска «с беспечального детства» новых «сочетаний слов» (В. Брюсов), на которой жил и работал Свердловский рок-клуб.

***

Но альбом «Разлука», как и весь «Наутилус», возник не на пустом месте. Важнейшее место среди его предшественников и «прародителей» рок-клуба принадлежит группе «Трек», неизменным автором текстов для которой являлся свердловский поэт Аркадий Застырец (1959–2019). Застырец оказал значительное и, кажется, до сей поры не вполне оценённое по достоинству влияние на формирование эстетики уральской рок-поэзии. Конечно, тексты для «Трека» проще его «чистого» поэтического творчества, где магия преображения действительности дана, как она есть, — без риторических приёмов. Однако критики за морализаторство и дидактизм (которой они подвергались на первых порах) «трековские» стихи никак не заслуживают, ибо своеобразная «дидактика» здесь растворена в акцентированно ро́ковой экспрессии, подчинена ей, движима ей и ей же оправдана, ибо бунт невозможен без призывов, а призыв — жанр ораторского искусства.

Наглядный пример — песня «Честный парень», заглавный герой которой, подобно кормильцевской «серой вороне среди белых ворон», находит в себе смелость «с такой прямотою прекрасной» (нет ли здесь тонкой аллюзии на мандельштамовскую «последнюю прямоту»?) назвать вора вором, дурака дураком, а ложь — ложью, несмотря на то что «жизнь к таким словам не готова» и «выход один — компромисс» (привет Довлатову). Нехитрый на первый взгляд текст этой песни при внимательном прочтении вскрывает сложную философскую проблематику, нелинейную, встряхивающую и ошарашивающую к финалу диалектику соотношения слова и действия: «Никто тебя не заставляет / Использовать слово “убить”». Такая подспудная философия, незримо, но ощутимо наращивающая смысловой объём текста, вообще характерна для манеры Застырца: на поверхности — чёткий и ясный посыл, между строк — удивительный ассоциативный «сад расходящихся тропок». И в целом эта открытая Застырцем возможность соединения лирического и риторико-публицистического, призывного в общем движении песенного стиха ощутимо обогатила уральскую рок-культуру, становясь зачастую одним из системообразующих параметров рок-текстов самых разных коллективов, когда ироническое начало заземляет ораторский пафос, а начало лирическое этот пафос гармонизирует и художественно оцельняет.

В тексте зафиналивающей первый номерной альбом «Трека» песни «Рок-н-ролл» Застырец через неподражаемый, одновременно хрупкий и ударный

вокал Насти Полевой проговаривает ту же тему обновляющего, освежающего («словно с сердца сняли камень»), облегчающего («чувство вины тает», «быстро исчезает сомнения тень»), бескомпромиссного («новый пришёл день») освобождения, стряхивания с себя хлама омертвевших догм, правил и указаний, заменяющихся принципами честности, открытости, смелости («Смело теперь можно / В глаза глядеть всем»):

Острый сигнал подан,
Можно включить свет.
Нету назад хода,
И ничего нет.

Катализатором такого освобождения, «обнуления» до «заводских настроек» и мыслился музыкантами и поэтами рок-н-ролл («Это не мы с вами, / всё натворил он»), потому что в роке концентрируется творческая демиургия как таковая. Рок позволяет «разбить привычный мир». Своеобразной «песнью любви» к своему ремеслу и являются все альбомы «Трека». «Песнь любви» (кстати, единственный текст, написанный не Застырцем, но А. Балашовым) — это признание в любви к своему делу как опаляющей страсти, дарующей бессмертие («Время прикончить легче вдвоём, / «Милые дети, играйте с огнём») или, по крайней мере, позволяющей «вырвать у жизни блаженства часок».

Творчество «Трека» довольно показательно демонстрирует генезис грядущего «Нау»[6] — и музыкальный, и особенно поэтический. Вполне в духе «романтического двоемирия» в текстах Застырца яростно («игра идёт всерьёз») сталкиваются мир подчинённых инерционному существованию по принципу «как бы чего не вышло» («Решился бы прямо сказать, / Но как бы не вышло дороже») обывателей-конформистов, всегда готовых к опустошающему компромиссу, и мир молодых и дерзких рок-бунтарей. Мир цветаевских «читателей газет» при этом подвергается полнометражному осмеянию в диапазоне от лёгкой иронии до жёсткого сарказма и прямых инвектив. Типологические параметры противоборствующих миров прописаны чётко и внятно, часто через прямое обращение на «ты» или «ролевую лирику». При этом на все попытки пробудить косного обывателя от вечного сна наяву тот неизменно возмущённо отвечает: «Что я могу?»

«Этот путь проверен, выверен и верен», — утверждается в «Биографии», в духе «Нравственной оды» Николая Некрасова описывающей типичный, лишённый высоких горизонтов жизненный путь духовно мёртвых индивидов. Этих блеклых персонажей отличают «хамелеонистость» во всех проявлениях («часто меняешь окраску»), намертво прилипшая к лицу маска, которую сорвать можно «только с мясом и кожей», потому что все «привыкли скрывать» настолько, что «то, что скрывали, забыли». Антигерой «Трека» — такой коллективный грибоедовский Молчалин («Сначала учился молчать, / Потом — говорить по расчёту», «иногда твоё молчанье хуже речи подлеца», «все кричали — я молчал», «не смотрел, когда просили», «никогда себя не мыслил без желанья получать») пополам с айтматовским «манкуртом» с «отрезанной памятью».

«Сканируя» социум первой половины восьмидесятых, «Трек» демонстрирует, что «фамусовское общество» никуда не делось и вербовка в него новых кадров или перевербовка не до конца утративших юношеский идеализм «чацких» в «молчалиных» идёт непрерывно. Внешнее у «молчалиных» при этом катастрофически разделено с внутренним («Оболочка хороша, / Но, что внутри, / Не знал почти никто»), но они всегда способны подобрать

---

[6] Вплоть до буквальных совпадений: «Не надо тратить силы, / Пора нам-ранам-ранам-ранам рвать» у «Трека» и «Рвать ткань» у «Нау».

себе «десятки оправданий», чтобы, «заложив уши ватой», «не ложиться поперёк». Потому и цельность этого раздробленного ложью, безволием и трусостью индивидуума — показная, обёрточная: «Ты отличная реклама / Самому себе».

В окружающей протагониста-бунтаря («если прав, то надо драться») узнаваемой и «смертельно надоевшей» блеклой действительности царит «миллион очередей», везде «нужен блат». А противник его тщеславен, видит сны о «памятнике себе»[7] («Безобидный сон»), «выключил свет и доволен окружающей средой». Слова в этом пространстве омертвели, превратились в пустышки, перестали выполнять свою функцию. Художественно препарируемый Застырцем распад личности оказывается неразрывно связан с распадом языка и с распадом материи как таковой, как происходит в посвящённом экологической проблематике тексте «Рациональное удовольствие»: «развороченные горы, красно-желтые сугробы», «вымирающие звери, разрушенья в атмосфере», «море всяческой заразы», «опустевшие курорты, все условия комфорта» — вот неутешительные результаты природной катастрофы, инициированной разложением языковым и духовным.

Ещё одна черта этого пропитанного агрессией мира — его милитаризованность: «как волчья стая налетел отряд, зубов железных ряд» «они несли с собой огонь и смерть» и т.д. В «Солдатиках» обычная мальчишеская игра предстаёт отнюдь не безобидной (особенно учитывая, что в разгаре афганская война), неизбежно оживает, провоцируя будущее опьянение уничтожением и разрушением («Безумно счастлив мальчик в маленькой войне»). Развитие сюжета предсказуемо: «конец игре, под пули мальчика ведут», «ударят взрывы без пощады по земле», «залив глаза, в мундиры брызнет кровь и грязь».

Вообще воспроизведённый после в «Разлуке» тягучий, болотный, неотвратимо засасывающий в себя сонный морок слепой инерции («бедный слепой, несёт его волна») явлен во многих песнях «Трека». Например, «В кинематографе» (привет мандельштамовскому «Кинематографу»), где «полон экран теней» и сама жизнь уподобляется фильму («ты не актёр, но я смотрю кино»). Неизменна в этом пространстве тревога, угроза, опасность («Камни летят, растёт в глазах стена, / Сзади грозит удар», «утро темно и тревожно», «разбито окно, что-то со светом случилось», «ветер взрывает холодную гарь», «Слышен треск разрыва, / Надорван трос давно»). Постоянны эсхатологические и антиутопические мотивы («Наша планета — пустой полигон», «Думаешь, лица руками закрыв, мы остановим ядерный взрыв») и, разумеется, мотив тяжёлого сна-морока, перетекающего в реальность («Хочешь проснуться? А если не сон?»), частотен образ тени, («Спрятали солнце громады теней: / Тени деревьев и тени людей»). Каждый шаг героя в подобных обстоятельствах по-пушкински «гибелью грозит»: «падает вниз очередной герой».

Таково поле битвы «страха и надежды», в которой, вопреки всему, «надежда должна победить», ибо «неистребимо желание жить». Но для победы необходима воля, нужно перестать «охранять спокойствие своё». О рискованности выбранного пути говорить излишне: чтобы прорвать «заколдованный круг», перестать позволять играть и манипулировать собой, приходится «идти под опасным углом», как канатоходец у Высоцкого, когда любая остановка равна падению и выбыванию из «гонки жизни». Так происходит с героем «Эпитафии», который «хотел пройти своей дорогой, чтобы свет зажечь

---

[7] Вспомним стихотворение другого героя восьмидесятых, подолгу живавшего в Свердловске и тесно общавшегося с местными поэтами, — Александра Ерёменко (у которого, кстати, есть «Стихи о «сухом законе», посвящённые Свердловскому рок-клубу»): «Я добрый, красивый, хороший…» с виртуозно иронически переосмысленным пушкинским эпиграфом «Я памятник себе…».

в окне», «выбрал жизнь под рёв гитар», «не скатился в колею» и, когда «свет погас в его окне», оказался достоин «дроби барабанной».

Простые порой до элементарности на первый взгляд и слух песни «Трека» на деле пропитаны экзистенциальным мироощущением. Практически в каждой речь идёт о экзистенциальном выборе («каждый должен выбирать»), осуществляемом находящимся в «пограничной» ситуации отчаянного одиночества молодым человеком для реализации своего жизненного «проекта», при этом проблематизируется сама возможность выбора: «выбирай свою свободу, если только выбор есть», «выбор есть, но это право выбираешь не всегда». Социальное неблагополучие в текстах Застырца становится частным случаем неблагополучия метафизического, грозным неуютом пронизана даже категория времени как таковая: «Время минуты ведёт на парад», «их убивают одну за другой». Человек же оказывается от времени катастрофически оторван: «Наши минуты не знают о нас», «Наши минуты, как вечный прибой».

В целом эсхатологические мотивы у Застырца постоянны. Так, в «Космогонии» звучит тема космической обречённости: «и не вздрогнет никто, и ничто не спасёт». А в «Рациональном удовольствии» описан пугающе стерильный, технозированный мир, похожий на описанный с гениальным предвидением в пьесе Маяковского «Клоп» советский мир как раз конца семидесятых — начала восьмидесятых. Здесь царствует мёртвый «покой и уют в квартире и в мире», «по трубе пересылают завтрак и ужин», «блеск и порядок наводят стальные машины». Единственное спасение от этой энтропии — вернуть свою утраченную самость, пушкинское «самостоянье человека — залог величия его»[8], совпасть с собой, «вернуться к себе». Таким образом, тексты Застырца синтезируют в живом полифоническом единстве социальные, космические, философские, метафизические проекции внутреннего мира, сознания и мышления современника и ровесника поэта.

При всей своей «прекрасной ясности» сделаны тексты «Трека» довольно изощрённо, за ними всегда виден поэт Застырец: обнаруживаются в них и философская насыщенность (например, лирическое осмысление сна как смерти мира в «Космогонии»), и эффект переворачивающего смысл «эха» («не больно, больно, больно…», «не трудно-трудно-трудно скрыть», «бездушным-душным-душным-душным стать»), и отточенные лирические афоризмы («кто не терял — не может представить потери»), и развёрнутые метафоры («висеть безвольно у часов на острие»), и тонкая нюансировка акцентов (так, в песне «Клей» поэт переносит акцент с банального образа маски на социально-нравственный состав «клея» лжи, которым эта маска присоединена к лицу), и изящное обыгрывание идиом («Победителя не судят те, кто побеждён), и риторическая экспрессия («Кто ты есть?», «Может быть, хватит?»), и виртуозное совмещение лирического и ораторского инструментария (подчёркнутое одновременно проницающим до души, проникающим под кожу и мягко обволакивающим вокалом Насти Полевой), и оксюмороны («рациональное удовольствие»), и, наконец, концептуальный парадокс самого сквозного посыла «Трека»: подчёркнуто прямое, массово адресованное высказывание об удушающей невозможности прямого высказывания, о комплексе социопсихологических причин, мешающих ему состояться. Очевидно, что, «клин клином вышибая», Застырец сознательно «упрощает» свою поэзию с целью наглядности и внятности, но «упрощает» её на путях «цветущей сложности», расправляясь с топорной дидактикой официоза иронической имитацией этой дидактики в концептуалистском, в чём-то приговском, духе. Кормильцев позже облечёт этот протест в шифон изощрённой модернистской образности, но острота при этом не просто не утратится, а только усилится. Простота текстов Застырца — это бодрящая и

[8] Одна из книг Застырца, между прочим, именуется «Я тоже Пушкин».

отрезвляюще-обжигающая ледяная вода горной речи, это говорение на частотах чистоты «Василия Тёркина», когда «вот стихи, а всё понятно, всё на русском языке».

***

Активно работал Свердловский рок-клуб не очень долго, но пошуметь успел весомо. В 1991 году его история закончилась, и стартовала история российского рока. Некоторые попытки реанимировать рок-клуб, чтобы делиться опытом с молодыми командами, поддерживать начинающих, предпринимались в девяностые, но серьёзного развития не получили.

«Коммерциализация процессов разрушила рок-клубовское движение по всей стране, естественно, при полном непротивлении участников», — с печалью констатирует Макс Ильин. Раскручивалась попса (которую Егор Летов, помнится, громогласно призывал «вырубить» совсем), а «система магнитофонного рока сходила на нет». Перед музыкантами встала проблема «элементарного выживания». Так, с приходом априорно чуждого и даже противопоказанного свободному творческому высказыванию «хищнического шоу-бизнеса» (Кормильцев) в начале девяностых Свердловский рок-клуб прекратил своё существование, которое по временной кратковременности и при этом насыщенности, плотности и энергийности культурного (и социокультурного!) импульса, по дерзости, эпатажности и свежести поэтически-музыкального жеста можно сравнить с русским футуризмом, промелькнувшим на небосклоне Серебряного века «беззаконной кометой», но осветившим дорогу, по сути, всему авангарду XX века. Вот и участники рок-клуба — в широком диапазоне от «Агаты Кристи» до «Чайфа», от «Урфина Джюса» до «Апрельского марша», от «Каталога» до «Смысловых галлюцинаций» — пошли своей дорогой, достигнув той жизнетворческой цели, которой все они были связаны. Благодаря этому ро́ковое звучание «свердловской» ноты в отечественном роке не спутаешь ни с ленинградской, ни с московской, ни с сибирской, ни с какой другой.

Потому и гордимся.

Татьяна Арсенова

Как Борис Рыжий скелет в Кытлыме нашел

О стихотворении «Север» и вокруг него

Среди стихотворений Бориса Рыжего не так много произведений, появлению которых он косвенно обязан своей специальности — геофизике. Одно из них, озаглавленное «Север», было написано в студенческую пору, когда Б. Рыжий, перейдя на 4 курс в Уральской горно-геологической академии, вернулся с летней практики, проходившей в приисковом поселке Кы́тлым на севере Среднего Урала. История создания этого стихотворения и скрытые в ней подтексты — интересный пример того, из чего порою складывались стихи Бориса Рыжего, какие внешние события служили способствовали их возникновению и как в конкретном жизненном материале поэт открывал потенциал для его дальнейшей творческой переработки в литературной текст.

Как и многие известные нам сегодня тексты Б. Рыжего, стихотворение «Север» при его жизни не публиковалось. Впервые оно было напечатано спустя два года после его смерти в сборнике «Стихи. 1993–2001» (составитель Г. Ф. Комаров. СПб.: Пушкинский фонд, 2003). Стихотворение сопровождалось посвящением Алексею Кузину — преподавателю геофизического факультета, поэту и барду, старшему товарищу Рыжего — и было датировано августом 1995 года. История создания «Севера» сохранилась в дневниках А. Кузина, выдержки из которых были изданы в виде книги «Следы Бориса Рыжего. Заметки из дневника» (Екатеринбург, 2004) годом позже: «Борис проходил геофизическую практику на севере Свердловской области, в поселке Кытлым. Там они вели сейсморазведочные работы в пойме реки для определения подземного рельефа платиноносных россыпей. И Борис рассказал, что однажды на границе участка работ он нашел кирку с изящной тонкой ручкой. Он взялся за нее, но дерево рассыпалось в прах. А потом он увидел человеческий скелет. И убежал. Об этом я написал стихотворение». Стихотворение А. Кузина «Имя» было откликом на рассказанную Рыжим историю.

Имя

Б. Р., ты точно был неправ:
У мертвых спрашивают имя.
А там, на приисках в Кытлыме,
Скелет среди камней и трав,
Он — нем, земля его не примет.
Над твердью, кирками разъятой,
В доэлектрических мирах

Татьяна Арсенова — окончила филологический факультет Уральского государственного университета имени А. М. Горького (2010). Исследователь творчества и биографии Бориса Рыжего; автор и редактор-составитель (совместно с Н.Л. Быстровым) книг «Борис Рыжий: поэтика и художественный мир» (2015), «Борис Рыжий: исследования и материалы» (2022). Работает научным сотрудником центра истории литературы в Институте истории и археологии УрО РАН.

Ты соблазнился рукояткой
Кирки, рассыпавшейся в прах.
Метнулась пепельная птица,
Метнулся взгляд, но вот — предел:
Ключицы, лба костистый мел
И две бездонные глазницы…
Считай, он очи проглядел,
Что кто-нибудь над ним склонится.

А ты отпрянул. Камни, травы
Метнулись, разбежался лес.
Ты не имел иного права,
Как лишь предать его земле.
Ты думал выскочить, но где там —
Он будет помнить сотни лет…
Давай в Кытлым поедем летом
И похороним тот скелет.
Но прежде весь Кытлым поднимем,
Поищем род его и след.
А нет — давай составим имя
Из наших двух: работы всей —
Поведать буквами прямыми:
«Здесь спит Борисов Алексей».
Пусть ляжет в землю всё, что мертво,
А имя — пусть оно живет…
И вечность примет нашу жертву
И нас нескоро призовет.

В ответ (причем, судя по датировке текста, буквально в тот же день) Борис Рыжий и пишет стихотворение «Север»[1].

1

На стихотворное послание Кузина, полное этически окрашенной — в основе своей народно-религиозной — взволнованности, которую вызвал в нем рассказ о непогребенном и потому не обретшем покой мертвеце, вместе с жизнью потерявшем и личность (имя), Рыжий отвечает с совершенно иной позиции. Он сводит предписания народной этики (предавать останки земле) к всего лишь «навязываемым мнениям», а идею наделения неизвестного именем расценивает как посягательство на его свободу.

---

[1] Не включаться в бытовую полемику, а отвечать стихотворением было в целом характерно для Б. Рыжего. Так, весной 1992 года А. Кузин записал в дневнике: «Игорь <Воротников> отметил, что стихи у Бориса неровные, надо над ними работать. <…> И еще добавил, что Б. пишет сразу об очень глобальном. Надо начать с чего-нибудь попроще. Борис о стихах Игоря ничего не сказал, а написал стихотворение: довольно хлесткое, похожее на прямую речь». О том, что Рыжий не был ярым спорщиком, в книге А. Мельникова «Борис Рыжий: введение в мифологию» вспоминают Олег Дозморов и Наталья Смирнова. «Я не помню жарких споров. Обычно, если Борис был с чем-нибудь не согласен, он хмурился, сосредоточенно курил и переводил разговор на другую тему. <…> Вообще он старался гасить конфликты в дружеской среде и очно ни с кем не спорил», — говорит О. Дозморов. Н. Смирнова подтверждает: «И еще точно: что Рыжий не спорил. Спокойно оставлял за другим последнее слово, даже если не соглашался. Ему это было как-то трудно, что ли. В спорах обставить его было легко». Наиболее ярким примером стихотворения-ответа оппоненту, наверное, является «Завидуешь мне — зависть — это дурно…» с посвящением Д. К., написанное Рыжим по прочтении интернет-заметки Дмитрия Кузьмина.

Север

Алексею Кузину

Он лежал под звездою алмазной
и глядел из-под хвои и сучьев —
безобразный, богатый, трехглазый.
Ах, какой удивительный случай!
Я склонился — небритый и грязный —
с любопытством. Почти бурундучьим.

У ручья, где крупицы металла
дорогого сулят вам свободу,
человечья руина лежала
и глядела в лицо небосводу.
Белка шишкой кедровой играла,
брал медведь свою страшную ноту.

Схоронить, отнести ли в поселок,
может, родственник чей-то. Но — боже —
как же так, ведь мертвец — не ребенок,
поднимать его, тискать негоже.
Даже пять драгоценных коронок
на зубах говорили мне то же.

…Как мы любим навязывать мертвым
наши мненья — всё в радость нам, глупым.
Он погиб незнакомым и гордым —
даже вздох сей считаю преступным,
уходя бесконечным и темным
лесом — страшным, густым, неприступным.

1995, август

В первую очередь бросается в глаза, что Рыжий сводит к нулю спонтанную эмоционально-физиологическую реакцию на неожиданную страшную находку — испуг, смятение, возможно, брезгливость, — которая в интерпретации Кузиным его истории на практике угадывалась в словах «И убежал», «А ты отпрянул». Сначала возникает впечатление, что Рыжий (позволю себе в этом сюжете не прибегать к термину «лирический герой») ставит себя в позицию ученого перед внезапно открывшемся объектом исследования: «я склонился... с любопытством», — позицию, в которой он вненаходим относительно объекта изучения. Однако далее, по мере чтения, оказывается, что его реакция и финальное решение («поднимать его, тискать негоже») связаны с осознанием ошеломляющего расстояния между условным «мной» и «незнакомым» мертвецом. Расстояния, исключающего всякую возможность вторжения воли живущего в пространство мертвого, пожелавшего «погибнуть незнакомым и гордым». Особенно выразительно это демонстрируют смена интенции, прочитываемой в образе человеческих останков, вкупе со стилистическими заменами: если в стихах Кузина это «скелет», который «очи проглядел, / Что кто-нибудь над ним склонится», то у Рыжего — «человечья руина», открыто глядящая «в лицо небосводу». «Даже вздох сей считаю преступным», — заключает Рыжий в объяснение своего бездействия. Таким образом, замена спонтанной эмоциональной реакции на рассудочную, сказавшаяся на выборе глаголов («убежал», «отпрянул», «выскочить» у Кузина и — «ушел» в варианте «уходя» у Рыжего), не только служит самооправданию Рыжего в ответ на упрек, прозвучавший в стихотворении «Имя», не просто снимает с него ответственность, к которой тот апеллировал («Ты не имел иного права, / Как лишь предать его земле»), но указывает на его приверженность иным этическим ориентирам.

По сути дела, в ответном стихотворении Рыжий сталкивает общие предписания народно-христианской этики с проблемой свободы частного лица. В последнем вопросе наиболее влиятельной фигурой для него был в то время Иосиф Бродский — «любимый поэт» (по признанию в интервью 1994 года[2]) и объект постоянной полемики Рыжего с пишущим окружением в Горной академии (включая А. Кузина), которое решительно не разделяло с ним высокой оценки поэзии знаменитого современника[3]. Именно в свете ценностной системы Бродского, мне кажется, и следует прочитывать финальное решение Рыжего в стихотворении «Север», хотя какой-то явной, подтверждаемой текстом, связи с творчеством Бродского эти стихи не демонстрируют, за исключением одной приметы в облике кытлымского скелета — трехглазости. Источник образа трехглазого черепа — «Мексиканский дивертисмент» (1975) Бродского («…и где у черепа в кустах всегда три глаза…»).

В порядке интерпретаторской вольности предположу, что за обменом стихотворными посланиями по поводу находки в Кытлыме скелета у Кузина и Рыжего стояла этико-эстетическая полемика (быть может, даже не осознаваемая) с ориентацией на разные авторитетные фигуры из мира поэзии. По моему впечатлению, здесь выстраивается следующая диспозиция. Озаглавливая свое стихотворение «Имя», Алексей Кузин вполне очевидным образом опирается на авторитет Пушкина с его хрестоматийным «Что в имени тебе моем?..» (и Рыжий, сравнивая его с Пушкиным: «сказал, что очень хорошее стихотворение, как у Пушкина» — дает понять, что отсылку считал). Субъект речи в этом стихотворении — носитель «смертного сознания»[4]: он сознает неизбежность смерти и забвения и метонимически связывает личное существование (а в пределе — бессмертие) с собственным именем; оно, если использовать формулировку исследователей, — «особый концентрат “моего” бытия как факта “моего” присутствия в мироздании»[5]. Причем такое «присутствие в мироздании» оказывается невозможным без воли Другого (в данном случае адресата): «…Но в день печали, в тишине, / Произнеси его <имя> тоскуя; / Скажи: есть память обо мне, / Есть в мире сердце, где живу я…».

Открыто полемический (я бы даже сказала, лозунгово полемический: «Борис, ты не прав!») заряд стихотворного послания Кузина и ссылка на Пушкина провоцируют Рыжего не просто оправдаться в ответном стихотворении, но подвести под историю с кытлымской находкой иные, не менее авторитетные мировоззренческие основания. И Рыжий, вероятнее всего, видит их в поле авторской «натурфилософии» Бродского, особым образом

---

[2] Рыжий Б., Шинкаренко Ю. «Нас формируют не эпоха — шрамы»: [интервью; стихи] // Екатеринбургская неделя. 1994. Вып. 12 (20), 8 апр. См. также признание Рыжего в ориентации на Бродского в интервью: Рыжий Б., Лобанцев Ю. «Бывают, друг, такие миги…» // Горняк: газета Урал. гос. горно-геол. акад. 1994. № 4 (1938), февр.

[3] Так, например, в сентябре 1996 года А. Кузин записал в дневнике: «Сидели за столом, говорили. В итоге заспорили о Бродском. Мы с Игорем <Воротниковым> его не жаловали за цинизм, а они (Борис и Олег <Дозморов>) утверждали, что главное — развитие языка, литературы».

[4] В работе о поэзии Пушкина и его современников О. В. Зырянов определяет смертное сознание как «сознание, постигающее смертность человеческого существования, активно реагирующее на “мысль о смерти неизбежной”, но при этом теми или иными путями пытающееся преодолеть трагизм своего состояния, стремящегося обрести своего рода “формулу бессмертия”» (Зырянов О. В. Модус смертного сознания в русской классической поэзии XIX в.: генезис и этнокультурная специфика // Quaestio Rossica. 2019. Т. 7, № 4. С. 1127).

[5] Афанасьева Э. М. Онтология имени в лирике А. С. Пушкина 1825–1830 годов: «Желание славы» и «Что в имени тебе моем?» // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2012. № 19, ч. 2. С. 257.

трактующей категории «общего / частного», «порядка / беспорядка», «смерти (распада)» и т.д.[6]

Если пойти в развитии гипотезы еще дальше и попытаться определить наиболее близкое к «Северу» Рыжего стихотворение Бродского, через призму которого он мог увидеть свою историю на практике, то здесь, на мой взгляд, следует назвать «Только пепел знает, что значит сгореть дотла…» (1986):

Только пепел знает, что значит сгореть дотла.
Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперед:
не всё уносимо ветром, не всё метла,
широко забирая по двору, подберет.
Мы останемся смятым окурком, плевком, в тени
под скамьей, куда угол проникнуть лучу не даст,
и слежимся в обнимку с грязью, считая дни,
в перегной, в осадок, в культурный пласт.
Замаравши совок, археолог разинет пасть
отрыгнуть; но его открытие прогремит
на весь мир, как зарытая в землю страсть,
как обратная версия пирамид.
«Падаль», выдохнет он, обхватив живот,
но окажется дальше от нас, чем земля от птиц.
Потому что падаль — свобода от клеток, свобода от
целого: апофеоз частиц.

Борису Рыжему как активному читателю и почитателю Бродского это стихотворение наверняка было известно[7]. Ассоциация с археологом Бродского позволяла ему увидеть себя со стороны — понять свое место в истории со скелетом. Косвенным образом на это может указывать животный физиологизм археолога («археолог разинет пасть / отрыгнуть; <…> / “Падаль”, выдохнет он, обхватив живот»), который находит в «Севере» Рыжего лишь отзвук («Я склонился — / небритый и грязный — / с любопытством. Почти бурундучьим»), значительно сглаживаясь в угоду сказочной анималистической стилизации (о чем речь пойдет в дальнейшем), но в целом также работает на (само)объективацию. Стихотворение Бродского, в том числе конфигурация точек зрения в нем, убедительно указывает на то экзистенциальное расстояние («дальше… чем земля от птиц»), что отделяет существование археолога от существования его находки — того, что перешло за границу земной жизни («падали»). Поэтому павшее в стихотворении Рыжего и не вызывает в нем смеси жалости с чувством долга — долга похоронить, возвратить личность (или дать имя), иными словами, восстановить общий порядок, включив незнакомца в реестры и сделав частью коллективного целого. Вместо этого Рыжий видит в нем воплощение того, кто вечно ускользает, чистой анонимности, «совершенного никто» (если использовать формулу из стихотворения Бродского «Лагуна»). Кытлымского мертвеца можно назвать символом индивидуалистически понятой — очень «бродской» по сути, —

---

[6] Как пишут Юрий и Михаил Лотманы: «сущность бытия <у Бродского> проступает не в упорядоченности, а в беспорядке, не в закономерности, а в случайности. Именно беспорядок достоин того, чтобы быть запечатленным в памяти… именно в бессмысленности, бездумности, эфемерности проступают черты бесконечности, вечности, абсолюта <…> Бессмертно то, что потеряно; небытие (“ничто”) — абсолютно. <…> дематериализация вещи, трансформация ее в абстрактную структуру, связана не с восхождением к общему, а с усилением особенного, частного, индивидуального» (Лотман Ю. М., Лотман М. Ю. Между вещью и пустотой. (Из наблюдений над поэтикой сборника Иосифа Бродского «Урания») // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб.: Искусство — СПб., 1996. С. 733, 734).

[7] Так, в 1990 году оно вошло в сборник «Часть речи. Избранные стихи 1962–1989 гг.», выпущенный издательством «Художественная литература».

свободы: свободы от целого, не предполагающей участия Другого, в пределе своем — свободы от имени, свободы быть никем («он погиб незнакомым и гордым»). Именно в этом ускользании от власти общего порядка и заключается его «присутствие в мироздании».

Все это, однако, не означает, что в 1995 году Борис Рыжий воспринимал авторскую «натурфилософию» Бродского как свою. Более того, именно она на этапе кристаллизации творческой индивидуальности Рыжего и станет основанием для его охлаждения к поэзии Бродского и причиной упрека ему в недостаточной «человечности» («и, следовательно, талантливости») в прозе «Роттердамский дневник» (2000)[8]. В обмене стихотворными посланиями с А. Кузиным Рыжему, вероятно, хотелось достигнуть некоего полюса полемики, противопоставить взгляду старшего товарища такую ценностную систему, которая была ему не близка. Кроме того, я допускаю, для Рыжего было также важно избежать гармонизации как характерного для пушкинской традиции универсального разрешения лирических ситуаций («гармоничное разрешение ситуации смертного сознания»[9]). Мне кажется, творческая личность Б. Рыжего требовала открытого «зияния» на месте всякой (действительной или воображаемой) утраты / смерти, и в этом плане поэзия Бродского воплощает собой куда как более трагическое мировоззрение, нежели условно пушкинская.

2

Однако помимо этико-эстетической полемики в стихотворении «Север» содержалось еще одно адресованное Кузину сообщение, и касалось оно, так сказать, «художественной» стороны рассказанного Рыжим происшествия в Кытлыме.

Склонность Бориса Рыжего к сочинению баек, розыгрышам, наконец просто к выдумкам — пожалуй, общее место в воспоминаниях о нем. И история с найденным скелетом, скорее всего, также была вымышленной. В позднейшем комментарии к своим дневниковым записям Алексей Кузин пишет: «Летом 2001 года мне довелось один день провести в поле с руководителем тех сейсморазведочных работ Бодиным Валерием Викторовичем. Я напомнил ему о производственной практике студентов в Кытлыме, о покойном Б. Р. Рассказал о находке скелета. Бодин ответил: “Это, скорее всего, его фантазия. Там все исхожено”». Не отражают реальности, как выяснил Кузин тогда же, и строки из более позднего стихотворения Рыжего, написанного по следам той практики, «Я работал на драге в поселке Кытлым…»: «А еще я ходил по субботам на танцы / и со всеми на равных стройбатовцев бил». Кузин пишет: «Я еще спрашивал, ходили ли практиканты там на танцы, дрались ли с солдатами. “Ну не знаю, может быть, и ходили, они ведь молодые”. И еще <В. В. Бодин> добавил, что стройбатовцев в Кытлыме нет, там служивые поинтеллигентней».

Рыжий не признается в своей выдумке прямо — ведь после прочтения ему Кузиным стихотворения «Имя» история со скелетом приобретает иную, литературную, модальность (скорее всего, реакция Рыжего, отраженная Кузиным в дневнике: «он виду не подал, что это посвящено ему» — была реакцией именно на эту смену модальности), а инициированный жанром послания диалог предполагал ответ на том же языке — языке поэзии, а не, условно говоря, «реальной жизни». Тем не менее, на «фантазийную» природу истории со скелетом Рыжий все-таки указывает, акцентируя в ответном

---

[8] См. об этом подробнее: Быстров Н. Л. Борис Рыжий и Иосиф Бродский: некоторые параллели // Борис Рыжий: поэтика и художественный мир: сб. науч. ст. и докл. М.; Екатеринбург, 2015. С. 34–35.

[9] Зырянов О. В. Модус смертного сознания в русской классической поэзии XIX в. С. 1130.

стихотворении не документальную, а литературно-художественную природу описанного им случая.

Во-первых, история с обнаружением (как вариантом встречи в терминах фольклористики) в приисковом поселке мертвеца имеет свой фольклорный источник — это бытовавшие в среде уральских золотодобытчиков предания с элементами легенды-былички на тему «примет на золото». Их стержневой сюжет формулируется так: «Где золото (платина), там показывается / слышится <некто / нечто>», а объединяющей чертой этих преданий является то, что «в них действуют традиционные персонажи народной демонологии»[10]. В этой связи мертвеца из истории Рыжего уместно рассматривать как проекцию образа антропоморфного «хранителя недр» — типичного представителя народной демонологии, который, как пишут исследователи рабочего фольклора, оформляется по типу «заложного покойника» (термин Д. К. Зеленина), т.е. человека, умершего неестественной или преждевременной смертью, чья душа не получила успокоения[11]. (Яркий пример литературной рецепции этого фольклорного персонажа дан в романе Мамина-Сибиряка «Золото»: штейгер Родион Потапыч рассказывает баушке Лукерье о том, как явился ему в шахте покойный Степан Романыч, покончивший жизнь самоубийством, и указал место, где скрыта золотоносная жила.) Мертвец как таковой в народной словесности — представитель «иного царства», и именно с «иным царством», как было отмечено известным фольклористом В. Я. Проппом, в богатой традиции народных сказок прочно ассоциировано золото и всё, что окрашено в золотой цвет[12]. (Золото, фигурирующее в сказках, в нашем случае можно считать синонимом платины — именно ее в основном добывали в Кытлыме; здесь прежде всего важна родовая принадлежность и того и другого к драгоценным металлам.) Таким образом, обнаружение мертвеца на границе[13] потенциально платиноносного участка разработок выступает в истории, рассказанной Б. Рыжим, указанием на близость драгоценного металла — о чем в стихотворении «Север» он говорит прямо, реконструируя таким образом исходную структуру фольклорного сюжета: «У ручья, где крупицы металла / дорогого сулят вам свободу, / человечья руина лежала». А чтобы тема драгоценностей звучала внятнее, гуще, он нарочито «рассыпает» ее по всему тексту: «Он лежал под звездою алмазной»[14], «пять драгоценных коронок / на зубах» (сюда же можно отнести и белку, играющую шишкой, о чем скажу ниже).

Вместе с тем (и это во-вторых) в образе мертвеца-при-золоте в истории Рыжего, в отличие от персонажей горняцких и старательских быличек, от-

---

[10] Наконечная О. Л. Устные рассказы золотодобыдчиков Урала (тематико-сюжетные циклы, персонажи, особенности стиля): автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1991. С. 6–7, 9.

[11] См.: Швабауэр Н. А. Типология фантастических персонажей в фольклоре горнорабочих Западной Европы и России: дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 2002. С. 33, 121–112.

[12] См. об этом подробнее: Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. С. 284–285, 309.

[13] Попутно обращаю внимание и на эту типичную для жанров народной словесности локализацию встречи — «на границе» (см. в записи А. Кузина: «…однажды на границе участка работ он нашел…»), в фольклорной терминологии — выморочное место («К числу таких выморочных мест относятся лесные чащи, все стоячие воды (болота, омуты, пруды, озера, трясины), овраги, трущобы, а также распутья, перекрестки дорог, границы полей и т. д. Их выморочность проявляется, в частности, в том, что только здесь хоронят покойников, умерших неестественной смертью (“заложных”)» — Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. (Древний период). М.: Наука, 1965. С. 174).

[14] Не могу не обратить внимание на то, как «рифмуется» «алмаз» из первой строки у Рыжего с «пеплом» из первой строки упомянутого стихотворения Бродского.

сутствует фантастический компонент — именно поэтому он изображается не как активный дух (носитель воли), а как пассивное, недвижимое тело (скелет). И в этом своем облике он обнаруживает еще одно — уже литературное, происхождение, а именно — связь с бродячим сюжетом «обнаружения скелета при драгоценностях / кладе», характерным для авантюрно-приключенческого повествования о золотоискателях или охотниках за кладами. Достаточно вспомнить, например, ситуации обнаружения скелета в чрезвычайно популярных романах «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона или «Смок Беллью» Джека Лондона. Сопоставление с последним кажется мне наиболее выразительным, поскольку картина находки, изображенная в стихотворении Рыжего «Север», выстраивается с опорой на тот же ряд образов и смыслов, что фигурируют в эпизоде романа «Смок Беллью». Это — мертвое тело, драгоценности, богатство мертвеца, хвойное дерево и водоем. Сравним:

Б. Рыжий	**Джек Лондон**
«Он лежал под звездою алмазной — пленник замка из хвои и сучьев. Безобразный, богатый…»; «пять драгоценных коронок на зубах»; «У ручья, где крупицы металла дорогого сулят вам свободу, человечья руина лежала».	«…За елями стояла маленькая ветхая хижина. Он толкнул дверь и вошел. В углу, на том, что когда-то было постелью из еловых веток, лежал скелет, завернутый в истлевшие меха. / “Последний посетитель Нежданного озера” — подумал Смок, поднимая с пола кусок золота величиною в два кулака. Рядом с этим самородком стояла жестянка, полная шершавых золотых самородков величиной с орех. / Так как всё, что рассказывали про Нежданное озеро, пока подтверждалось, Смок решил, что золото это добыто с его дна» (*пер. Н. Чуковского*).

В-третьих, на вымышленность истории со скелетом в стихотворении указывает орнаментальность его пейзажного плана — стилизованного под сказочный и по-сказочному инкрустированный анималистическими образами: «…бесконечным и темным / лесом — страшным, густым, неприступным», «Белка шишкой кедровой играла, / брал медведь свою страшную ноту» (анималистическая образность захватывает даже портрет нашего героя: его любопытство — «бурундучье»). Сказочность леса, рисуемого в стихотворении «Север», звучит и на интертекстуальном плане, ведь белка, играющая кедровой шишкой, несомненно, перекочевала в кытлымский лес Рыжего из пушкинской «Сказки о царе Салтане» («Белка песенки поет / да орешки всё грызет, / А орешки не простые, / Всё скорлупки золотые, / Ядра — чистый изумруд…»), дополнительно поддержав таким образом тему драгоценностей.

Показательно, как этот сказочный пейзаж контрастирует с более реалистичными описаниями Кытлыма в позднейших сочинениях Рыжего. Так, в «кытлымском» стихотворении 1997 года «Водой из реки, что разбита на сто ручьев, в горах…» говорится: «и была сосна / по пояс». В «Роттердамском дневнике» (2000) кытлымский лес также не похож на «страшный, густой, неприступный»: «Помнишь, какие письма я писал тебе из Кытлыма? Я описывал горы, карликовые сосны и невеселое северное солнце, голубые ручьи с крупицами платины, огромные поляны, усыпанные синей ягодой, высокое-высокое небо». В неопубликованном рассказе 1999 года «Темные аллеи», посвященном одному эпизоду из кытлымской студенческой практики, дается более подробная зарисовка: «Приисковый поселок Кытлым — несколько покосившихся домиков, магазин, куда раз в неделю завозят хлеб посредством вертолета, и одноэтажная каменная общага, где жили вахтови-

ки, работавшие на драге, — был окружен горами, заросшими карликовыми елями, но с голыми острыми вершинами…». (Не могу не отметить, что этот неопубликованный рассказ помог мне опознать странный, на первый взгляд, облик реки из упомянутого стихотворения — «реки, что разбита на сто ручьев» — именно как кытлымский, поскольку напрямую конкретная местность в этих стихах не называется: «…С парой-тройкой бутылок я спустился с горки и устроился на поросшем белым мхом камне. Великий простор открылся взору моему. Изуродованная драгой река была раздроблена на тысячи мелких ручейков. Поваленные деревья гнили в воде на территории нескольких га. Надо всем этим висело сине-желтое небо».)

Наконец (в-четвертых), свое литературное происхождение имеет и такая важная примета в облике кытлымского скелета, как «трехглазость» (обратим внимание: у Рыжего опять замена — в стихах Кузина было «И две бездонные глазницы»). Это, как я уже писала выше, стихотворение-танго «1867» из «Мексиканского дивертисмента» Бродского:

> … Тем паче в тропиках у нас, где смерть, увы,
>
> распространяется, как мухами — зараза,
> иль как в кафе удачно брошенная фраза,
> и где у черепа в кустах всегда три глаза,
> и в каждом — пышный пучок травы.

«Трехглазость» скелета (отверстие от пули как третий глаз) в стихотворении Рыжего, очевидно, свидетельствует о когда-то произошедшей в этих краях драме (убийстве из-за драгоценного металла, нападении разбойников и т. п.). Таким образом, вынося «север» в заглавие стихотворения, Борис Рыжий изображает его как край отчаянных, лихих людей, подобных революционерам из мексиканских тропиков у Бродского или авантюристам Джека Лондона и Брет Гарта.

Полагаю, безымянный скелет из рассказанной Борисом Рыжим истории на практике указывал на главную драгоценность Кытлыма, которую открыл для себя поэт. Это огромный мифогенный потенциал старинного северного уральского поселка, как бы аккумулирующего и самостоятельно генерирующего сказочные и авантюрные сюжеты. Еще в 20-е годы минувшего века заслуживший внимание знаменитой Ларисы Рейснер (см. ее очерк «Кытлым. (Платина)» в книге «Уголь, железо и живые люди», 1925), Кытлым вошел в литературу как «уральский Клондайк», куда стекалось множество искателей скорого обогащения. По прежнему сохраняющим память о «платиновой лихорадке» начала века и «богатствах в глуши», он, вероятно, и предстал Борису Рыжему в середине 90-х. Недаром впоследствии он будет неоднократно возвращаться к впечатлениям от этой единственной поездки в Кытлым, прямо или косвенно упоминая северный приисковый поселок в стихах и прозе — однако это сюжет уже для другой статьи[15].

---

[15] В том числе и для написанной: Дозморов О. КЫтлым, КыШлым и КытлЫм: история создания нескольких стихотворений Бориса Рыжего // Russian Literature. 2010. Vol. LXVII-I: Special Issue: Boris Ryžij. P. 57–77.

ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛКА: ТОЛСТЯКИ НА УРАЛЕ

МОРАЛЬ БАРРАКУДЫ

Светлана Волкова. Барракуда. — «Нева», 2025, № 8.

Вкратце новую повесть прозаика и сценариста Светланы Волковой «Барракуда» можно охарактеризовать как басню с моралью в духе дедушки Крылова: «Строящим хитрые и нечестные планы Господь воздаст по заслугам, выгоды эти люди не обретут, лишь окажутся в проигрыше».

Формально так и есть. Фактически же всякое произведение с моралью — чтиво, как правило, скучное, несмотря на всю свою «полезность», а точнее, благодаря ей. Чтение с моралью можно уподобить приему рыбьего жира: отвратительно на вкус, но ценно для здоровья. Но «Барракуда» читается как хороший плутовской роман, хоть по объему романом не является. Продолжая гастрономические ассоциации, повесть сопоставима с не полезным, но притягательным «сладким столом» под ликёрчик. А мораль сего текста хороша тем, что воздаяние, может, и ниспослано свыше, но вершится руками героев, обыкновенных людей далеко не монашеского образа жизни и мыслей. Чем-то «Барракуда» Волковой напоминает американскую пословицу: «Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Сэмюэль Кольт уравнял их шансы».

Сюжет довольно неожиданный. История развивается в начале XX века, после русско-японской войны. К начальнику одного из управлений Царскосельского уездного тюремного ведомства (дислокация сюжета в границах Петербурга и его ближайших окрестностей делает повесть абсолютно «невской» по духу и букве) Игнатию Палычу Губину является шапочно знакомая купчиха Посенкина с дочерью Лизой, демонстрирует пухлый «брикет» денег, перевязанный конфетной ленточкой, и тут же прячет: не отдаст, пока чиновник не выполнит очень странной просьбы.

« — Не найдется ли у вас... ничейного мужчины? Не из солдатни и мужичья, а поблагородней. Лучше, конечно, дворянчика, но мещанин тоже сойдет. И чтоб преступление не тяжкое, я бы выкупила...» Главное условие выкупа шокирует Губина не меньше, чем читателя: «…чтоб болезный был. Сильно болезный. На пороге... Смертного одра, я бы сказала». Тюремщик требует объяснений. Оказывается, провидица мадам Эсмеральда, попавшая в точку со многими предсказаниями членам посенкинского семейства, «нагадала, что Лизоньке приведется овдоветь в первом браке, а со вторым получить и богатого супруга, и счастье, и переезд из Петербурга в Европу. Такого мужа, говорит, редко сыщешь, но женится он на ней только вдовой». Выгодный кавалер у мамаши уже на примете, но она проявляет своеобразное человеколюбие в сочетании с мракобесием: «…сами понимаете, Игнатий Палыч, не хотелось бы, чтобы ТАКОЙ человек и вдруг безвременно почил...» Грубо говоря, Лизу надо спешно выдать замуж за того, кого не жалко и кому осталось жить очень мало. Чуть только супруг преставится, Лизонька вступит в желанный настоящий брак. Доходягу для дочери купеческая вдова ищет в тюрьме, а Губин собирается помочь ей за обещанное вознаграждение, так как ему нужно покрыть карточный долг сына-балбеса и пристроить того на службу. Забегая вперед: взятку ему выплатят не в полном объеме. Вор у вора дубинку украдёт.

На роль новобрачного Губин выбирает актёра Ивана Кошкина, происхождения самого простонародного, осужденного за пьяную драку с увечьями и получившего в тюремном лазарете прозвище Барракуда. Впоследствии откроется: Игнатий Павлович чувствует себя перед арестантом неловко — некогда по его вине Кошкин и попал в тюрьму, теперь чиновник хочет «загладить». Кличка Барракуда настолько пристала к Кошкину, что ее даже в личное дело вписали. Доктор поясняет Губину: «И взгляд такой колючий, больные перепугались, да и сейчас вот страшатся его крепче санитаров и охраны. На одного давеча так

взглянул, что тот и почил сразу. И главное, молчит, зараза. Смотрит, скалится и молчит. Одно слово, барракуда».

Буквально барракуда — океанская хищная рыба с мощными зубастыми челюстями, иногда называемая морской щукой. В переносном же смысле так обозначают хищника, стяжателя. Повесть, собственно, о том, как болезненный арестант обвенчался с невестой, взял да и не помер, а выздоровел и отжал у богоданной тёщи довольно много материальных благ. И, что хуже всего, разбил старухину мечту о приличном браке для дочери: «Но более всего Марью Романовну тревожило, что Лизонька тайно ездит к нему в Тярлево, и повлиять на нее никаких сил нет».

Впрочем, что из затеи Посенкиной ни шиша не выйдет, было понятно сразу. Смысл повести не столько в событийном ряде, сколько в его подтексте. Например, можно долго размышлять на тему, есть ли здесь мистическая или религиозная составляющая. Пациент, как не раз признается тюремный врач, уже месяц назад должен был опочить, но после отпущения грехов тюремным же попом и венчания с Лизой в тюремной церкви восстает к жизни мощно и вульгарно. За свадебный стол в доме попавшего как кур в ощип Губина Кошкина-Барракуду не зовут, опасаясь за его слабое здоровье (а точнее, чтобы других не заразил своим «букетом болезней»), но Губин внезапно слышит подозрительные звуки из кухни. «Барракуда в кальсонах сидел на столе, болтая босыми ногами, откусывал от копченого окорока, держа его пятерней за берцовую кость, и отпивал из большой кружки, судя по стекающим по подбородку вишневым потекам, вино из губинских запасов. Разрумяненная кухарка… кокетливо охала на какую-то сальную кошкинскую шутку». Эпизод сделан в духе модного нынче мема «вкусно», применяемого к искусству, — только от противного. И всё же что это — гимн человеческой силе и воле или намёк на вмешательство свыше, покаравшее купчиху за неприкрыто циничный замысел?..

По тексту рассеяны сентенции, имеющие вид житейских наблюдений Губина над современниками-соплеменниками. Ясно, что человек с опытом работы тюремщиком не склонен идеализировать людей — а общение с Посенкиной убило в нем последние сомнения в мерзости человеческой природы. Он даже термин специальный сформулировал для не совсем людей: «Такое вот определение — “человекство” Губин придумал сам и произносил его исключительно вместе с понятием “русское”, потому как, будучи сам до мозга костей русским — с русскими предками, русской фамилией, русской внешностью и с русскими мозгами, — сам русских не любил. И какого-либо логичного объяснения у этой нелюбви не было, да и не задумывался он настолько глубоко, лень было, что, впрочем, было тоже немного“по-русски”».

С позиций «русского человекства» Губин оценивает привычку людей обращаться с любым делом «к своим», в силу которой на него и вынесло знакомую «по сестрорецкой санатории» Посенкину. И с такой же точки зрения рассуждает собственно о Кошкине как о множественном национальном феномене: «…бунтари и шуты, пьяницы-балагуры без царя в голове, драчуны и острословы завсегда были крепким гужем в упряжи, и саночки без них российские не едут… Они-то и хранят Россию, они-то и когда-нибудь ее погубят...» А мы прекрасно понимаем, что Губин, продажный тюремщик, заслуживает оценки в таком же саркастическом духе. В повести нет вообще ни одного положительного героя, за каждым персонажем водятся то грешки, то глупость, то беспринципность… Несимпатичный Игнатий Павлович задается вопросом: «И нет ли в этом особого божьего умысла?» Ответа на него — тоже нет. Не только в границах данного литературного произведения, но и вообще.

Что же написала Светлана Волкова — плутовской роман в виде сильно растянутого анекдота или историософский трактат о несовершенстве русской души?.. Ведь через несколько лет после окончания событий повести грянула Октябрьская революция, снесшая мир Губиных, Посенкиных и Кошкиных. Но, к огромному сожалению, в сегодняшней России «свойство» по-прежнему решает всё. Оно практически возведено в культ. А стоило ли писать литературную сатиру на прошлое столетней давности, чтобы сделать из него вывод о современно-

сти в духе капитана Очевидности?.. И наоборот, можем ли мы быть уверены в логичности и обоснованности такой сатирической параллели?.. Нет. Это не исследование, результат которого можно подогнать к необходимым параметрам. Это, в конце концов, литературное произведение, чистая (хоть и не вполне «стерильная» по части происходящего в повести) фантазия. Недаром автор предпослала сочинению эпиграф из Курта Воннегута: «Люди нуждаются в хорошей лжи, потому что вокруг слишком много плохой». «Хорошая ложь» — в литературном контексте умелая выдумка. Умения Светлане Волковой не занимать.

Если прибегнуть к методе бритвы Оккама и не вычитывать из повести «Барракуда» слишком много смыслов, а просто посмеяться над злоключениями Посенкиной и Губина (они сами навлекли на себя эти неприятности!), выйдет неплохой компромисс.

Елена САФРОНОВА

В ВАШЕЙ ЯЧЕЙКЕ ЧТО-ТО СЛОМАЛОСЬ

Ксения Чижикова. Обычная история. — «Волга», 2025, № 8.

Все счастливые семьи, как известно, похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. На самом деле классик не совсем прав — все счастливые семьи тоже счастливы по-своему, нет одинаковых. Иначе не процветал бы уже много лет жанр family story, семейной истории, где в центр повествования помещается жизнь одной отдельно взятой «ячейки общества» — счастливой ли, несчастной, не так важно, интересно рассказать можно о любой семье. С одной стороны, у всех супружеская жизнь развивается примерно одинаково — познакомились, поженились, стали жить. С другой — всегда интересны именно незначительные вроде бы отличия, особенности, индивидуальные выпуклости и шероховатости на поверхности жизненной фактуры. И в этом смысле повесть Ксении Чижиковой «Обычная история» рассказывает историю обычную, да не совсем.

Его зовут Константин. Именно так, он ненавидит, если его назовут Костей. Скоро ему 30, но живет он один, ведет, как сообщают в казенных документах, «умеренный образ жизни». Не пьет, не курит, не зависает ночами в видеоиграх, не сообщается вообще ни о каких его хобби или увлечениях. Хотя он неглуп, сам рассказывает нам свою историю. Он не мастер слова, повествование иногда подчеркнуто косноязычное («Нужны, но не подбираются нужные слова»), но это понятно — нужна убедительная автохарактеристика главного героя.

Обычный одинокий молодой мужик, исполняющий обычную работу — инженер на какой-то бумажной должности на местном предприятии, со скромной зарплатой и отсутствием карьерных перспектив. Каждое утро идет на остановку, после работы садится в автобус, едет домой. И постоянно в маленьком кафе при остановке (бывшая столовка, еще советская, — полы из плитки, ужасный кофе) видит женщину, которая сидит за столиком, обложившись бухгалтерскими бумагами, что-то постоянно считает, проверяет, выписывает. У Константина более чем скромный опыт общения с женщинами: «Я в жизни не подходил к женщинам. Вернее, подходить я, конечно, подходил, но совсем не в этом смысле. Например, к тетке из приемной комиссии, когда она выдавала мне мой студенческий билет. Или к продавщице с ее «картошками». Или, не знаю, к чертежнице у нас на работе, к секретарше главного, когда надо было что-то передать. Я быстро подходил и так же быстро удалялся». Была, правда, одна история с коллегой, но он нам рассказал ее просто потому, что честный, и чтобы мы понимали, почему он в конце концов решился подойти к женщине и завести разговор.

А ее зовут Лена, и вот между ними что-то такое зарождается. Константина многие считают странным, Лена тоже особа довольно причудливая. Из тех людей, которые хотят все контролировать. В том числе и отношения с будущим (потенциальным) мужем, и то, какая у него в квартире (куда Лена скоро перебирается) должна стоять мебель и из каких кружек надо пить чай. Константин в семейную жизнь не торопится: «Жены вообще существуют в

реальном мире, и с этим иногда трудно смириться. Концепт жены некоторым людям куда приятнее, чем факт самой жены, ее физическое присутствие». Но Лена не хочет быть «концептом», ей 35 лет, она мечтает о настоящей семье, о детях, о собственном маленьком и уютном мирке. И властной рукой ведет своего суженого в загс.

«Иногда мне кажется, что эта история пронеслась как-то подозрительно быстро», — признается Константин спустя пять лет, когда сама история уже закончится. Лена не может забеременеть, потом наконец-то получается, но она теряет ребенка. И это становится началом катастрофы — женщина начинает медленно сходить с ума. Поначалу еще ходит по врачам, но все чаще посещает гадалок, хранит в шкафу детские вещи, чтобы приворожить младенца. И все быстрее погружается в пучину отчаяния, и Константин меланхолически замечает: «Я вам могу сказать, что по дороге в ад не бывает блокпостов. Никто не проверяет у тебя документы и не штрафует за превышение скорости. Никто не выбегает на дорогу и не машет руками, — а если даже выбегает и машет, ты переезжаешь их с холодным сердцем. Дорога в ад — это даже не дорога, это как горка в аквапарке, по которой ты съезжаешь все ниже и ниже. Иногда упираешься и поднимаешься на пару метров вверх, чтобы выкарабкаться и уйти с этой чертовой горки, вода устремляется вниз, как будто специально — тебя тянет, ты цепляешься за края, но съезжаешь, съезжаешь все сильнее и сильнее, по полметра, по метру».

Потом Лена тяжело заболевает, но лечиться не хочет. Потом умирает. Константин лезет за какой-то мелочью в шкаф, где висит ее одежда, — и обнаруживает, что вещи его жены утратили ее запах, теперь это просто вещи, которые когда-то кто-то носил.

Вот и все. «Это ново? Так же ново, как фамилия Попова, как холера и проказа, как чума и плач детей», — писал когда-то Саша Черный. Повесть Ксении Чижиковой словно отсылает к этому четверостишию. Жил да был Константин, встретил он Елену, мечтали о хорошей жизни, да не случилось у них счастья, и Елена померла. Но считать ли эту историю обычной? Развод, расставание, постепенный распад ткани супружества, скука совместной жизни, невыносимая рутина — это как раз сплошь и рядом. А вот чтобы смерть, да еще в относительно молодом возрасте, — что тут обычного?

За историей короткого (чуть более пяти лет) брака Константина и Елены просвечивают интересные смыслы. Эта семья обречена изначально, в ней что-то сломалось еще до того, как они пошли в загс. И эти смыслы делают повесть Ксении Чижиковой чем-то большим, чем просто очередная семейная история.

Сразу обращаешь внимание, что эта семья создана без любви. У Елены была цель, был план на будущее, был четко выстроенный образ этого будущего. И Константина она выбрала потому, что он не был «козлом» в картине мира Елены, а до него ей в жизни встречались «одни козлы», как она говорит своей подруге. Возможно, она по-своему любит мужа. Но любит ли ее Константин? Он плывет по течению, подчиняется жене, безропотно следует всем ее идеям — например, сорваться на выходные в поездку. Но все это он делает с полным равнодушием и к процессу, и к результату. То же касается детей. Константин видит, насколько его жена охвачена идеей беременности, будущего материнства, но наблюдает за этим как бы со стороны, как будто смотрит фильм. Он — личность, совершенно лишенная эмпатии. Он не сочувствует жене, не поддерживает ее, он и после, навещая ее могилу, не говорит ни слова о любви, а большей частью молчит. Ему не о чем с ней говорить — ни с живой, ни с мертвой.

И здесь проглядывает еще одна проблема — пожалуй, более важная. Можно построить семью, ячейку общества, где не будет любви. Все мы знаем такие семьи. Но вместо любви там должен быть какой-то серьезный взаимный интерес, уважение, желание постоянного общения. Если не дети, если не любовь, то как минимум общие цели, общие интересы, внимательное отношение к тому, что говорит человек, с которым ты каждый вечер ложишься в одну постель.

Однако и этого нет. И поэтому от «Обычной истории» остается ощущение какой-то, хотелось бы быть правильно понятым, завершенности гештальта. Встретились два человека,

совершенно другу другу не нужных, потом судьба распорядилась так, что они расстались. Их семейная история закончилась печально.

Но очень бы не хотелось верить, что эта «Обычная история» — портрет современной семьи.

Владислав ТОЛСТОВ

СИЛКИ НА ПИВНОГО МУЖИКА

Геннадий Воронин. Охота. Повесть. — «Знамя», 2025, №10.

Правильно выбранная литературная стратегия — один из основных инструментов, позволяющих молодому автору заявить о себе, занять заметное место в литературном пространстве. Геннадий Воронин, молодой московский автор, решил пойти по сложному, но для большинства современных писателей неизбежному пути — жизни в двух мирах: автор создаёт карьеру одновременно как в литературе, так и в крупной компании. И приятно видеть, что автору хватает сил для служения миру слова — и его работа уже приносит результаты: успешное прохождение курса писательского мастерства Ольги Славниковой, публикации в журналах «Юность» и «Знамя», готовящаяся к выходу книга в «Редакции Елены Шубиной», рецензии критиков… Важно отметить, что одной из первых площадок, на которой обсуждалась проза Геннадия Воронина, стал как раз журнал «Урал». Вот что пишет прозаик и критик Елена Сафронова в прошлогоднем апрельском номере: «32-летний автор работает руководителем проектов по развитию бизнеса в Яндексе. Казалось бы, от писателя с таким жизненным опытом следует ожидать произведения об «офисном планктоне» или гламурных слоях общества. Но Воронин убедительно описал будни и быт заурядных москвичей, проникнув в психологию и слепо любящей матери, и балованного сына, из которого вырастает преступник — и за внимание к таким «маленьким людям» ему респект».

Собственно, в своей новой повести «Охота» Геннадий Воронин сосредотачивается на теме, которой от него ожидаешь, потому что автор в ней хорошо разбирается — большие цифры. Главный герой, Костик, родившийся в подмосковном Подольске, работает системным аналитиком в большой компании с офисом в Москоу-Сити: изучает таблицы, строит графики, проверяет гипотезы — и вскоре получает повышение, с полагающимся высоким окладом и премиями. Костик решает переехать поближе к офису, чтобы каждый день доезжать до него за двенадцать минут на такси, ночевать, а выходные проводить за просмотром сериалов и доставками еды. Счастье? Счастье. Но Костику неймётся — обнаружив, что сосед раз за разом оставляет на лестнице пустые банки из-под пива, Костик начинает очень своеобразную и экстравагантную охоту на, как он сам называет, незнакомца, «пивного мужика»: изучает ближайшие магазины, цены на пиво, какие бутылки стоят в холодильнике, какие нет, даже курьера нанимает, чтобы тот присылал ему фотографии с ценниками и заполнял таблицу. Иными словами, работа Костика не отпускает. Должно быть потому, что у него ничего кроме работы нет.

Мысль об абсурдности бытия многих современных молодых людей, живущих в больших городах, как и их заблуждениях, подтверждает не только фабула повести, но и небольшие, показательные детали. Например, вот как описывается переезд Костика в новую квартиру: «Неужели теперь это его квартира... Ламинат холодит ступни. В носках наверняка будет скользко, как на катке. Душ не сифонит, в техническом шкафу нагреватель, чтобы не бояться отключения горячей воды. Полотенца огромные, мягкие — можно завернуться с головой. Холодильник тихий, а тот, старый, гудел, как бормашина. Чайник вскипает в несколько раз быстрее. И даже бутерброды показались удивительно вкусными. Оделся, вызвал такси — показывает, ехать двенадцать минут. Невероятно». Костик так радуется новой квартире, что совсем не обращает внимания на тот факт, что ничем здесь не владеет — он арендатор, а не собственник, и жизнь в съёмной квартире создаёт лишь иллюзию стабильности. Можно сказать, что герой попадает в ловушку — и квартира оказывается «нехорошей».

Очевидный намёк на «Мастера и Маргариту» Булгакова здесь неслучаен — повесть начинается с того, что автор, якобы случайно, вспоминает Аннушку, разлившую масло («Всё предопределено. Всё связано, и у всего есть причина — Аннушка уже купила подсолнечное масло. Оно и понятно, никакой мистики»), и сюжет, поначалу развивающийся в реалистических координатах, становится всё более и более фантасмагоричным: Костик, поставив силки на пивного мужика, сам попадается ему у мусоропровода. Мужик, которого соседка, престарелая баба Аня — наверняка та самая Аннушка, пережившая «Мастера и Маргариту» и ставшая героиней воронинской «Охоты» — зовёт «корифеем», оказывается знаменитым писателем, с которым Костик отправляется в странное и маловразумительное, в том числе с точки зрения мотивации, путешествие в лес. И вроде бы повесть из социально-иронического детектива превращается в роман-путешествие.

Роман, корифей, делится опытом, вызывает доверие. Чтобы, конечно же, бросить Костика наедине с рюкзаком, полным старых советских книг. Костик с трудом выбирается из лесу, победив лису, внезапно ощущает духовное преображение, даже мирится с коллегой по работе, которого невольно подставил и оставил без премии, а тому мать надо лечить. Костик переводит половину своей премии, возвращается домой — и узнаёт, что никакой писатель рядом с ним не живёт, а книги, которые он с детства в руки не брал, оказывается, принадлежат его умершей бабушке. «Костик обмер. Вспомнил, как несколько лет назад помогал отцу перевозить к ним в Подольск библиотеку, оставшуюся от бабушки.

— Знаешь, тут каждая книга проштампована, — сказал отец, завязывая узел на очередной стопке. — Только вместо экслибриса бабушкина старая рабочая печать.

Именно эта — «Марина Николаевна Воропаева».

Вскочил с дивана, кинулся к книгам, разбросанным по полу. Упал на колени, трясущимися руками по очереди открывал каждую. Под обложками Толстого, Лескова и Гоголя та же печать. Костик начал озираться — ладно, наверняка это розыгрыш и его снимают на видео. Взял том Булгакова, собрался было за¬глянуть под обложку, но палец соскочил. Попав на какую-то страницу в начале, машинально прочитал:

« — Потому, — ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы, — что Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится».

По правде сказать, этот привет великому роману Булгакова не слишком обоснован. Но дело даже не в этом. Повесть Геннадия Воронина, несмотря на прекрасную технику (читается она очень легко) вызывает странное ощущение: выдержанный, уверенный стиль прикрывает смысловую какофонию и недоработку материала. Вот, скажем, линия с курьером, который делал фотографии для Костика — он прислал ему фото только два раза, хотя должен был делать это две или три недели, но тут же перестаёт, когда Костик встречает Романа. Дальнейшие события, показывающие избитый сюжетный троп про состоятельного, оторванного от жизни паренька, который попадает в экстремальную ситуацию и находит свой путь к просветлению, приводят к финалу, который, как справедливо отмечала Елена Сафронова, говоря о предыдущей повести Г. Воронина «В шкафу», таит в себе сюжетный твист — но в «Охоте» он оставляет лишь ощущение эпатажа.

В тексте не приведено ни одного намёка на то, что у Костика, оказывается, умерла бабушка (вообще ничего не сказано про его семью), что он её морально предал, что он выбрал путь развлечений, а не самопознания. Вместо этого нам предлагают полюбоваться на то, как ловко автор жонглирует отсылками к Булгакову и выстраивает фантасмагорический лесной эпизод, который, при всей его стилистической убедительности, решает ровно одну задачу — занять место между началом и концом. Как результат — финал повести никак не коррелирует с её основным содержанием, кажется чужеродным и вызывающим недоумение: какой смысл в описанных приключениях Костика, если они никак не

связаны с финалом? В итоге «Охота» кажется не столько искусно выстроенной повестью, сколько набором искусно исполненных приёмов, которые должны удивить читателя, но не в силах его просветлить.

Александр РЯЗАНЦЕВ

АВАНТЮРНЫЙ РОМАН

Гарри Бардин. Ё-моё! — «Знамя», 2025, № 8–9.

Осенью этого года Гарри Бардину исполнится 85. А прошлой осенью случился другой юбилей — ровно полвека назад он стал штатным режиссёром студии «Союзмультфильм». Публикация мемуаров оказалась приурочена к круглой дате. В заглавии — возглас изумления. Бардина удивляют многие события собственной жизни. Ведь даже режиссёром-мультипликатором он стал совершенно случайно. Мечтал об актёрской карьере, но иллюзии быстро рассеялись. Начал озвучивать мультфильмы, увлёкся, написал первый сценарий, Владимир Попов его экранизировал. Со вторым же сценарием вышла незадача — найти режиссёра никак не получалось, и Бардину предложили снимать самому. «Знаний у меня киношных не было, я нигде этому не обучался, поэтому шёл только от себя. Темпоритм фильма, монтаж, атмосфера рождались спонтанно… Режиссуре нельзя научить. Можно научить ремеслу. Но ремесло в кино — это не стартовая площадка. С ремесла не взлетишь. Нужна интуиция, а интуиции научить нельзя. Она или есть, или ее нет». Здесь вполне можно провести параллель с писательской деятельностью. Выпускников Литературного института и различных курсов с каждым годом становится всё больше. Но популярность обретают единицы. И уж тем более мало кто может похвастаться произведением, которое знали бы все. У Гарри Бардина такая визитная карточка есть — «Летучий корабль». Несколько главок воспоминаний посвящены истории создания этого мультфильма, который изначально планировался совершенно другим. Представленный Алексеем Симуковым сценарий режиссёр прямо назвал «полной чушью» и принялся активно переделывать. Так, именно Бардин добавил образы Водяного и Бабки-Ёжки. «Пой частушки, Бабка-Ёжка, пой, не разговаривай!» В титрах автором стихов указан Юрий Энтин, однако режиссёр утверждает, что идея написания частушек сперва пришлась поэту совсем не по душе — в итоге начало экспромтом сочинил Максим Дунаевский. Кстати, любопытно сравнить, как по-разному одни и те же события вспоминают его участники. Аберрация памяти или намеренный ход? «Максим почему-то напирает на то, что мы часто спорили и ругались. Но этого не было! Честное слово! Юрий Энтин, чтобы повысить свой вклад, рассказывает, будто на его вопрос “О чем поет Водяной?” — я ответил: “Ты — поэт, ты и придумай!” И ему, несчастному, пришлось лечь в ванну с водой, чтобы компенсировать мой непрофессионализм и самому придумывать содержание куплетов». К современной же киноэкранизации «Летучего корабля», вышедшей пару лет назад, Бардин никакого отношения не имеет: «Мои бывшие коллеги оказались более предприимчивыми, чем я… У меня просто карма какая-то — ни титров, ни денег».

Тема денег окажется доминантой второй части мемуаров режиссёра. В «Знамени» они публиковались в двух номерах подряд. И разделяющая черта вдвойне символична. 1991 год. Бардин покидает «Союзмультфильм», чтобы создать собственную студию «Стайер». Вскоре распадётся СССР. До этого водораздела — относительная стабильность: новые картины выходят регулярно, государство всё финансирует. В лихом же десятилетии властям предержащим было совсем не до мультфильмов — других проблем хватало. Приходилось выживать.

Рассказанные Бардиным истории выживания — увлекательный авантюрный роман. То он в кабинете Юрия Лужкова чуть ли не кроет тогдашнего московского мэра матом, пытаясь добиться выделения помещения для студии, — и ведь добивается! То режиссёра буквально-таки спасает сын французского миллиардера, оплатив приобретение прав на использование музыки в мультфильме «Адажио» и ничего не попросив взамен. То уже не

французский, а российский предприниматель дарит студии восемь мешков перьев, столь необходимых для съёмок «Гадкого утёнка».

Гарри Бардин умеет быть благодарным. Наверное, это общая черта всех мемуаристов. Вспоминают не только события, но и главных людей, без которых жизнь бы не сложилась, — тех, кто в разное время помогал и словом, и делом, и личным примером. Кажется, сам режиссёр — перфекционист и любит, когда его окружают такие же люди, без остатка отдающиеся тому, чем они занимаются. Ценить их, заботиться и никогда не забывать — важный урок от Гарри Бардина. Есть в его мемуарах и другие уроки — начинающим сценаристам, режиссёрам, продюсерам. «Рискнувшим написать сценарий для мультфильма дам полезный совет. Не торопитесь… Ищите метафору. Сценарий может изобиловать описаниями природы, дрожащих листиков, клюющих воробышков, ныряющих утят и прочих сладких слюней, но это ещё очень далеко от понятия “сценарий”. Первое правило: не садитесь за письменный стол, пока в голове не созрела идея…». Или вот общая рекомендация: «Ты должен быть всегда в движении. Нельзя останавливаться. Снял фильм, получил за него все мыслимые и немыслимые награды — и забудь его! Не пытайся повторить свой успех! Это невозможно. Нужно перечеркнуть свой прежний опыт и начинать новый фильм с белого листа. Тщеславие — плохой советчик».

Есть и практические советы, связанные с непосредственной съёмкой мультфильмов. Впрочем, Бардин признаётся: приходящей сегодня в профессию молодёжи они покажутся анахронизмом, поскольку теперь что угодно можно быстро создать посредством компьютерных программ. А во времена его молодости всего этого не существовало. Если во второй части мемуаров постоянно делается акцент на том, как приходилось проявлять чудеса смекалки, чтобы раздобыть финансирование, то в первой — советской — части Бардин и его коллеги придумывали, как в процессе съёмок решить ту или иную проблему, ныне отдаваемую на откуп искусственному интеллекту. Режиссёр никогда не боялся экспериментировать. Мультфильм «Брэк!» он решил делать пластилиновым, но пластилин от высоких температур терял форму, плавился. «И вот — эврика! Придумали перед съёмкой покрывать пластилиновые куклы медицинским клеем “БФ-6”. Таким образом, кукла обрастала плёнкой и не давала до конца съёмки сцены покорёжить себя теплокровному аниматору. Это было наше ноу-хау». Целый ряд невероятных творческих находок связан ещё с одним экспериментальным фильмом — «Банкет». В играющих свои роли столовых приборах пришлось сверлить дырочки, чёрную икру на бутерброде заменили охотничьей дробью, а эпизод драки, когда трясётся стол, снимали «не покадрово, а на скорую, как в игровом кино. Для этого я позвал Юру Норштейна. Мы с ним встали на четвереньки и, прикрытые скатертью, раскачивали спинами стол, от чего всё падало и разбивалось. Когда я сегодня слышу расхожую фразу, будто кто-то нас поднял с колен, вспоминаю нас с Юрой, стоящих на коленях. В титры я его не поставил. Прости, Юра». А ведь это два классика отечественной мультипликации! И их работы — не «развлекуха» для детей, а социально-философские высказывания. Между прочим, от адресованной малышам рисованной анимации Бардин отошёл во время войны в Афганистане, сняв в 1983 году фильм «Конфликт», где в качестве героев выступили спички. «Человеческая жизнь похожа на спичку. Короткая, хрупкая. И сгорает». Цензура его пропускать не хотела. Вообще за долгую жизнь у Бардина появилось существенное количество недругов. И в финале мемуаров всех их он… благодарит: «Спасибо, что вы были и есть в моей судьбе. Ведь именно вы побуждали меня не расслабляться, держа себя в форме, не раскисать, когда ваши удары достигали цели.

Если вы мне в чем-то завидовали, то это значит, что я выбрал правильный путь, достойный вашей зависти.

Я на вас зла не держу, но всё помню».

А мы будем помнить мультипликационные фильмы Гарри Бардина. Частью истории они уже стали. Даже если кому-то что-то не нравится.

Станислав СЕКРЕТОВ

ТАМ, ГДЕ КОНЧАЮТСЯ ИЛЛЮЗИИ

О повести Ирины Буториной «В Одессу на майские» (М.: АСТ, 2025).

Эту повесть я прочитала за два дня. Чуть более двухсот страниц — объем, который обычно позволяет не спеша растянуть чтение, но здесь этого не получилось. Текст буквально втягивает, заставляет идти вперед, даже когда внутренне уже хочется остановиться. В середине книги мне действительно пришлось прерваться. Не потому, что стало скучно или тяжело следить за сюжетом, а потому, что было страшно — редкое ощущение для художественной прозы. Страх этот не жанровый, не вымышленный, а вязкий, почти физический, возникающий от осознания: все описанное было, и у этих событий есть реальные адреса, даты и жертвы.

Повествование начинается в Санкт-Петербург. Мы знакомимся с Петром — студентом, интеллектуалом, типичным представителем городской молодежи начала 2010-х годов. Он увлечен либеральными идеями, верит в демократию, активно участвует в митингах, спорит, читает, ищет истину. Его политическая активность пока напоминает игру: протест — как форма самовыражения, задержание — почти приключение, повод для гордости и разговоров. Именно в этом «игровом» отношении к идеологии заложена важная характеристика героя, которая станет особенно заметна позже, на фоне настоящего насилия.

Здесь же появляется Ирина — любимая девушка Петра. Их отношения показаны через бытовые детали, прогулки, разговоры, планы. Они молоды, влюблены и уверены, что мир в целом понятен и поддается рациональному объяснению. Первая часть книги строится именно на этом ощущении защищенности, которое возникает у человека, никогда не сталкивавшегося с подлинной жестокостью.

При этом нельзя не заметить, что Петербург в тексте прописан неуверенно. Читатель, знакомый с городом, спотыкается о неточности: БКЗ «Октябрьский» внезапно превращается в кино-концертный комплекс, в зрительном зале появляется «фан-зона» для танцев, которой там никогда не существовало, герои «ездят по улицам старого города» в поисках парковки у Витебского вокзала, возникает Пушкинская площадь, которой в современной топографии города нет. Митинги оказываются в странных местах, а омоновец отправляет героев целоваться от Дворцовой в район памятника Петру I — это не очень близко, там ветрено, логичнее сидеть у Адмиралтейства, рядом с фонтаном. Даже определение Петербурга как «приморского города» звучит чуждо. Все это создает ощущение, что автор знает город скорее по описаниям, чем по личному опыту.

Однако важно отметить: эти огрехи не носят принципиального характера. Первая часть книги — лишь пролог, подготовка, и ее схематичность начинает играть роль намеренного художественного приема. Петербург здесь не столько реальный город, сколько символ спокойной, привычной жизни, в которой можно ошибаться, спорить и не нести за это ответственности.

Перелом наступает в тот момент, когда Петр решает показать Ирине «страну победившей демократии» — Украину. Они отправляются в Одессу на майские праздники, ожидая солнца, моря и свободы. Именно поезд становится пространством первого тревожного сдвига. Разговоры с попутчиками ломают легкий тон повествования: вместо романтических ожиданий — резкие националистические высказывания, рассуждения о «чужих» и «своих», попытки переписать историю и биологизировать понятие нации. Петр, еще недавно уверенный в универсальности демократических ценностей, впервые сталкивается с агрессией, которую невозможно перевести в формат дискуссии.

Здесь же появляется Ихтиологиня — один из самых сильных и много-

значных образов книги. Она вступает в спор с попутчиками, защищает молодых людей, но делает это без истерики, без лозунгов, спокойно и жестко. Это человек, переживший и понявший больше, чем остальные пассажиры вагона. Уже на этом этапе становится ясно: именно она будет моральной опорой для героев, своеобразным якорем в мире, который стремительно теряет очертания.

Одесса встречает героев иначе, чем Петербург. Здесь автор внезапно становится точным, внимательным и почти влюбленным. Город описан через ощущения: теплый воздух, южное солнце, старые дома, шум улиц, море, запах цветущей акации. Одни эти страницы — как передышка, как последняя светлая остановка перед катастрофой. Именно поэтому он так важен: красота Одессы не просто фон, а контрапункт, усиливающий трагедию.

На этом фоне начинает разворачиваться главное действие повести — события в Доме профсоюзов. Автор не описывает их издалека и не пытается сгладить углы. Напротив, он намеренно лишает читателя возможности остаться сторонним наблюдателем. Повествование превращается в движение камеры: этаж за этажом, коридор за коридором. Читатель видит, слышит, чувствует происходящее вместе с героями. Здесь нет авторских комментариев, нет попытки объяснить или оправдать — только фиксация ужаса.

Самое страшное в этих главах — именно эффект прямого погружения. Дым, огонь, крики, паника, захлопывающиеся двери, люди, потерявшие человеческий облик, — все это не воспринимается как художественный вымысел. Это скорее напоминает свидетельские показания, перенесенные в форму прозы. В какой-то момент возникает ощущение, что книга перестает быть литературой и становится документом.

После трагедии повествование резко меняет темп. Ирина ищет Петра в больнице, переходя от палаты к палате, от надежды к отчаянию. Она узнает его по татуировке на плече — символу их любви, сделанному вместе на пляже. Эта деталь работает особенно сильно: то, что раньше было знаком счастья и близости, становится опознавательным знаком среди тел. Именно в этот момент становится ясно, что их отношения не пережили случившегося. Любовь, построенная на иллюзиях, не выдерживает столкновения с реальным злом.

Обратная дорога снова проходит в поезде. Рядом вновь Ихтиологиня, ухаживающая за Ириной, слегшей с высокой температурой. Этот эпизод наполнен тихой человечностью и заботой, словно автор намеренно напоминает: даже после катастрофы возможно сострадание. Важной сюжетной линией становится и поездка друзей Петра за ним в Одессу. Коммунист и монархист — люди с противоположными взглядами — оказываются способными объединиться ради спасения человека. Их идеологические разногласия теряют значение перед лицом боли и ответственности.

Финал повести жесток и лаконичен. Любовь прошла. Петр перестал «играть» в идеи и уходит в ополчение на Донбасс. Это решение не подается как героическое, скорее как неизбежное. Он больше не может оставаться прежним. О судьбе Ирины автор сознательно умалчивает, оставляя читателю пространство для размышлений. Одна из заключительных сцен — чай у Ихтиологини, которая собирается писать повесть на основе рассказов молодых людей. Этот прозрачный авторский жест замыкает композицию и превращает весь текст в акт свидетельствования.

Стиль книги нарочито простой, прямой, местами жесткий. Здесь нет литературных украшений, метафорической игры или сложных конструкций. Язык служит одной цели — донести пережитое. Повесть читается тяжело, но быстро, как свидетельство, от которого невозможно отвернуться. Это книга не для отдыха и не для развлечения. Ее стоит читать тем, кто готов отказаться от удобных иллюзий и принять, что литература иногда нужна не для утешения, а для того, чтобы назвать вещи своими именами.

Лидия ГОРТИНСКАЯ

ЛУЧШЕГО ВСЕ РАВНО НЕ ДАНО

Лэнс Олсен. Календарь сожалений / Пер. с англ. Г. Шокина. Издательство Kongress W Press, 2024.

Российское издательство Kongress W Press, специализирующееся на экспериментальной литературе, продолжает открывать нам необычных авторов со всего мира. Среди них и современный американский писатель Лэнс Олсен. По состоянию на 2026 год он является автором 17 романов, 5 сборников рассказов, а также произведений нон-фикшн и сборников эссе. В 2024 году Kongress W Press выпустило роман Олсена 2010 года «Календарь сожалений», который представляет собой изощренное постмодернистское полотно. С точки зрения композиции это 12 рассказов, сюжетно весьма слабо связанных друг с другом, хотя конец одного рассказа становится воротами в начало другого. Текст долгое время выглядит как положено — черным по белому, пока в середине книги не превращается в типографский апокалипсис, когда строки начинают принимать произвольное направление, то расходясь лучами звезд от центра страницы, то окаймляя ее по периметру. Тем не менее Олсену практически неинтересен ожидаемый в таких случаях поток сознания, поэтому читается «Календарь сожалений» вполне легко, и ничто не угрожает внятности повествования.

На первый взгляд трудно как-либо связать эти 12 историй, слишком уж они разные. Олсен то рассказывает об Иерониме Босхе, который на склоне лет так и не добился признания и в своей мастерской натурально провалился в ад, получив посмертный опыт. То он рассказывает об американской учительнице, которая поняла, что стареет, и от сознания бесперспективности жизни начала записывать порнографические кассеты со своим участием и рассылать случайным людям. Есть в романе история о христианских фундаменталистах, решивших взорвать мечеть, и история о нападении психопата на популярного телеведущего. Услышим мы и самого этого психопата, который расскажет нам об альтернативном будущем, из которого он прилетел на нашу планету собирать материал. Прочитаем версию мифа об Ифигении и познакомимся с двумя мальчиками, которые в финской глубинке нашли раненого ангела. Поначалу трудно понять, к чему ведут все эти истории. Они настолько разноплановые, что единый знаменатель у них не просматривается. Правда, в аннотации указывается, что весь этот коллаж выстроен вокруг темы путешествия.

Говоря о теме странствий в современной литературе, невозможно не вспомнить польскую нобелиатку Ольгу Токарчук, которая в романе «Бегуны» практически уравнивала движение и смысл жизни. У Лэнса Олсена подобного оптимизма мало. Иероним Босх в первом же рассказе «Календаря сожалений» заявляет, что движение — это форма амнезии. Нужно, наоборот, оставаться на месте, чтобы научиться видеть. Да и тем, кто в романе Олсена путешествует, это не приносит счастья. Популярный журналист пишет о Чернобыльской аварии, очевидно, побывав недалеко от мест, где все случилось, другой американец подыхает от жары и насекомых в Бирме в середине 1970-х, а европейская пара путешествует на машине и становится жертвой девушки-фанатика, которая хочет уничтожить буржуазный мир. В перемещениях этих героев нет спортивного вызова и олимпийских устремлений к победе. Это вполне повседневные, рабочие или даже праздные ситуации. Никто, в общем-то, пытливо не вглядывается в мир за окном, но философия, очень легкая, как безалкогольный коктейль мысли, все-таки рождается в мимолетных размышлениях, чтобы потом резко отяжелеть в миг трагедии или просто серьезного поворота событий. Вот и американец, путешествующий по Бирме, пытается связать свои перемещения с практикой письма, в каком-то смысле даже отождествляя их. И он не обычный турист. Обычный

турист хочет впитать колорит другой страны, обогатив себя, а этот американец, наоборот, позволяет колориту Бирмы впитать себя, очевидно, отказываясь считать свое путешествие целью для себя и своего эго. Его маршрут по Бирме случаен и хаотичен и в итоге начинает грозить ему смертельной опасностью. Так что это точно не прогулка праздношатающегося приезжего, а скорее что-то вроде испытания, приключения одновременно тела и духа, ведущего к осязаемым несчастьям, потому что за него приходится платить самим веществом жизни. Его опыт говорит о том, что один и тот же человек в разных странах — это разный человек.

Непризнанный Босх считал, что живет во время Судного дня, вот и живописал разные ужасы, подходящие эпохе. Мир погряз во грехе, спасения нет, но есть кисть в руке и воображение, сделавшие художника самим собой. И только его супруга, кажется, смотрит на вещи спокойнее. Какой смысл проклинать греховность, если человек никогда и не был иным? Здесь философу Сёрену Кьеркегору, много рассуждавшему о личном грехе и грехе рода, было бы что добавить. Может быть, и христианские фундаменталисты из другого рассказа тоже видят в мире только грех. Они уже уничтожили в себе способность наслаждаться простыми радостями жизни и мыслят абсолютными категориями, выучив наизусть катехизис террориста. Страшно их заблуждение, и состоит оно в том, что они извращенно понимают спасение. К радикализму их привело ощущение бессмысленности всего — знания, развития, самой жизни. Такие люди уже в 20 лет интересуются вопросами, которые обычно задают старики. Они, как и Босх, тоже всюду видят козни дьявола, только, в отличие от художника, хотят уничтожить его, как хирурги, — вырезав вместе с пораженным человечеством. В романе Олсена много сомнений и сожалений, только в этом фрагменте о террористах они вовсе не очищают дух.

Но не меньший по масштабу конец света может происходить в душе обычной учительницы, которая, вступив в возраст поздней зрелости, осознает, до какой степени ученикам наплевать на нее. И до какой степени ей, в общем-то, наплевать на них. Да, так думать неправильно, но такова истина, и лучше ее признать, чем отрицать. Как смешны эти подростки, пытающиеся дерзостью обрести индивидуальность и не понимающие, до чего же они все одинаковы. В дни ее молодости в душе был какой-то свет, а теперь он померк, и нечему рассеять мрак вокруг. Такой взгляд на жизнь — это взгляд человека с пустым сердцем. Здесь автор вместо драматического напряжения создает скорее атмосферу угасающего духа, которую доводит до состояния почти депрессивного тления.

Полноценной романной структуры в «Календаре сожалений» нет. Дается обрисовка жизни героя, а потом этот герой размышляет на пороге чего-то, что иногда очень напоминает конец жизни. Шестерёнки в большинстве фрагментов книги вращаются в одном направлении — к смерти или какому-то предсмертному то ли ощущению, то ли видению. Пожалуй, об этом роман Олсена — о вязкости быта и жизненных проблем, на фоне которых вдруг приобретаешь экзистенциальный опыт и задумываешься о вечном. Гравитация бытия у Олсена возникает именно в момент неожиданного потрясения, и тогда вся Вселенная обретает крен. Как говорит Ахилл во фрагменте про Ифигению: нет ни одной смерти, которая не была бы неожиданностью для умирающего. Вместе с тем часто всё как-то сухо, уныло, без надежды. Герои, устав от мира людей и одинаковых лиц, замирают на отрицательных константах бытия — непонимании, разочаровании, ощущении конца жизни. Например, той же Ифигении, которой всего 13 лет, объясняют, что скорая война неизбежна уже только потому, что мир любит событийность.

«Календарь сожалений» разный и пестрый, отчасти посвящен путешествиям, но вместе с тем едва ли поможет расширить крузогор искушенным читателям. Те же путевые заметки американца в Бирме какие-то блеклые и особой ценности не представляют. Разве вы не знали, что в Бирме много буддийских ступ, а люди едят больших пауков? Гораздо ценнее здесь размышления и то экзистенциальное давление, которое незаметно начинает воздействовать на читателя. Герои живут заботами, но время уходит, и иногда

можно почувствовать этот обратный отсчет до самой смерти, когда уже начинается переоценка ценностей, но даже ее не успевают провести до конца. Путешествия могут показаться чем-то вроде правильной жизни, но это иллюзия, потому что тот же американец в Бирме не столько совершает путешествие, сколько просто блуждает, поскольку ценности путешествия он сам постоянно ставит под сомнения. И уже в середине 1970-х он делает горький вывод, который позже стал привычной характеристикой мира глобализации: «Все «макдональдсы» на этой планете пахнут совершенно одинаково, вне зависимости от страны или улицы». А если так, возможно ли вообще путешествие?

Но если странствия этого американца и кажутся блеклыми, то есть в романе и весьма напряженные истории, которые читаешь, затаив дыхание. Таков рассказ про девушку Найоми, которая, притворившись актрисой, спешащей на съемки, взяла в плен семью из Америки, сев к ним машину. История Найоми — это вызов мелкобуржуазному миру, то есть снова радикализм. Но даже в ее воинственной риторике сквозит все та же горечь жизни, которую у Олсена ощущают и добропорядочные люди тоже. Не думай, что будешь жить вечно, не думай, что станешь исключением, смерть неизбежна, хочешь — готовься, хочешь — плюй на все, впрочем, есть неплохое решение для наивных — можешь ходить в церковь, потому что религия-де — это самая красивая и одновременно доходная сказка в истории человечества.

В романе Олсена есть многое. У простых обывателей есть сознание того, что жизнь уходит, а у террористов есть отсутствие здравомыслия, которое вымыто потоками ненависти. Целые страницы могут быть посвящены пустой болтовне обо всем на свете, чтобы потом уступить место мягкой и загадочной метафизике рая, о которой косноязычно и таинственно рассказывает финским мальчикам раненый ангел. Как я уже говорил, трудно подвести единый фундамент под рассыпающуюся архитектуру этого романа. Но если и искать центр гравитации в этом сложноустроенном произведении, то он скорее не в теме путешествия, а в теме сожаления, о чем как раз сообщает название. Именно через тусклое стекло сожаления, по выражению одного из героев, и смотрят так или иначе все герои этой книги. А почему рождается сожаление? На это точно и лаконично отвечает Босх: потому что лучшего все равно не дано. Да и в конце пути многих героев этой книги ждет что-то вроде экзистенциального шока. Иногда он подготавливается чередой напряженных и драматических событий, а иногда просто растворяется в складках повседневного безумия. А еще о нем может возвещать обычная менопауза, о которой одна из героинь говорит так: «Менопауза превращает молодость в фантомную конечность». Роман Олсена — это отчасти постмодернистское высказывание, но на те темы, которые, в общем-то, не терпят иронии. Да автор и не смеется — его постмодернистские ходы не обесценивают переживания, а наоборот, придают им совершенную серьезность, впрочем, также совершенно бесполезную, потому что к концу подготовиться нельзя. А после конца ничего и нет: «Все эти переживания на пороге смерти — это лишь симптомы кислородного голодания, а вовсе не ворота в Рай, где нас ждут любящие родственники». Вывод пронизан сожалением, как им пронизан весь роман: что ни делай, ничего не изменишь.

Сергей СИРОТИН

ШЕРЛОК ПРОТИВ БИТЛЗ

Слепой Шерлок (Blind Sherlock), сериал, Нидерланды, 2026

Кто-то сразу пошутил по поводу названия: «Сейчас слепой Шерлок, потом глухой Ватсон…» Смешно, конечно, но не по делу. Не будет глухого Ватсона, потому что это не одна из тех осовремененных версий приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона, типа «Шерлока» с Камбербэтчем или «Элементарно», где действие происходит в Нью-Йорке, а Ватсон и Мориарти — женщины. И даже не «Последнее дело Холмса» Артуро Переса Реверте , который вообще роман, а не фильм и не сериал, но наверняка будет тем или другим, потому что так и просится из «Иностранной литературы» в «Волшебный фонарь».

Конан Дойл тут никаким боком ни при чем. И Шерлок — не Шерлок Холмс, и Битлз — не Битлз, это совсем другая история.

Главный герой этой истории — Ро́ман Мертенс (*Барт Кельхтерманс*), уроженец Роттердама, потерявший зрение в детстве после ДТП. И актер Барт Кельхтерманс, между прочим, тоже слепой! И, как я вычитал в одном из отзывов на сериал, «создатели принципиально не рассматривали зрячих кандидатов. Это решение делает происходящее на экране максимально естественным и лишённым театральности». Ну и, наверное, немаловажно и то, что Барт — высокий, красивый и обаятельный…

Не могу не отметить, кстати, что «Кинопоиск» ухитрился выдать полный список и фотографии всех актеров, игравших в сериале… кроме исполнителя главной роли!

Слепым Шерлоком Романа прозвали коллеги-полицейские. Потому что Роман, как и его отец, служит в полиции. Он, конечно, не может гоняться за преступниками с пистолетом и сам по этому поводу пошутил: «Я бы себе пистолет не доверил» — но и для него нашлось место, где он на голову превзошел зрячих коллег. Он служит в отделе прослушки.

Между прочим, и туда его сперва не хотели брать. В полиции Роттердама объявили набор новых сотрудников в отдел прослушки. И сериал как раз и начинается с того, как претендентам предлагают прослушать запись с места преступления и объяснить, что же там произошло. И вот мы не только слышим, но и видим, что же там случилось, а претенденты только слышат и говорят что-то вроде: «Это, кажется, в порту… Там что-то случилось… Кто-то говорит, кажется, на турецком…» — и полицейские начальники только вздыхают и переглядываются. И тут появляется Роман — да не один, а с собакой-поводырем по имени Сэм. Тут просится ремарка *«Оживление в зале»*. И да — два полицейских начальника и одна начальница очень живо выражают свое недоумение и готовы с ходу отказать Роману, но все-таки соглашаются дать ему попробовать. И тут Роман, конечно, выдает по полной. Вместо приблизительных где-то, что-то, как-то, он совершенно точно описывает происходящее: «Мы в порту… слышен корабль вдалеке и работают механизмы… мы где-то высоко, видимо, на кране… крановщик — голландец, он напуган… Бандитов двое, один старше, у него, судя по голосу, закрыта нижняя часть лица… Крановщика сбрасывают с крана, он падает долго, примерно 60 метров… И это не на турецкий, а узбекский язык…»

Даже и теперь начальники, особенно начальница, сомневаются в способностях Романа и соглашаются принять его только после того, как он называет марку автомобиля, скрывшегося с места преступления, притом что полицейские даже не догадывались, что там был автомобиль.

И вот Роман в сопровождении верного Сэма начинает ходить на службу, что не так-то просто, поскольку Роман живет на одном берегу весьма приличной реки Ньиве-Маас, а полицейский участок находится на другом берегу, и добираться приходится на пароме. Ну и, конечно, никто заранее не озаботился снабдить его брайлевской клавиатурой и прочими специальными гаджетами.

Но как-то все утрясается, и благодаря Роману полиция выходит на след узбекской мафии (*смех в зале*). Ну да, посмеялись в интернете над узбекской мафией, но, надо полагать, русская и украинская, без которых не обходилось подавляющее большинство западных полицейских фильмов и сериалов, уже приелись, и голландцы решили ввести в оборот что-нибудь посвежее. И в конце концов, кто сказал, что у узбеков не может быть мафии?!

И тут, кстати, следует вспомнить и про Битлз. Или, точнее, узбек-битлз, ибо главари этой экзотической мафии, числом ровно четыре, присвоили себе соответствующие клички: Леннон, Маккартни, Харрисон и Ринго Старр — признаюсь честно, Джордж как-то вылетел из памяти и пришлось лезть в Википедию. И в сериале, кстати, увидели мы воочию лишь Леннона и Маккартни, остальные лишь упоминались. Впрочем, Ринго, кажется, все-таки промелькнул на заднем плане…

Сериал небольшой, всего 6 серий, легко за вечер весь посмотреть, так что вполне можно было ограничиться показом успешной деятельности Слепого Шерлока и удачным разрешением от беременности его жены для полного хэппи-энда, но какой полицейский сериал без драматизма! И драматизм не заставил себя ждать. Что, впрочем, только справедливо. Как говаривал товарищ Ницше: «Если ты долго вглядываешься в бездну, бездна вглядывается в тебя» (цитирую приблизительно, по памяти, но за смысл ручаюсь). И, конечно, если ты вслушиваешься (поскольку ты слепой) в мафию, мафия начнет вслушиваться в тебя. Что, разумеется, и происходит с нашим Романом.

Поначалу ему удается отбиваться от нападений узбекских мафиози при помощи коллег-полицейских и даже весьма продвинуться в определении (исключительно на слух!) места нахождения самого главного главаря узбек-битлз — Маккартни. Но тут он совершает ошибку и направляет группу захвата не туда.

Я бы не стал вдаваться в такие подробности, если бы с самим этим эпизодом не было какой-то ошибки — то ли создателей сериала, то ли тех, кто его дублировал на русский. Когда группа захвата врывается в указанное Романом помещение, мы слышим фразу: «Тут лестница на второй этаж…» И Роман вдруг выкрикивает: «Это ошибка! Там нет лестницы!» Но ведь нам *показывали* весь процесс его вслушивания, и мы *видели* эту лестницу, пусть и не совсем такого вида как там, но все-таки лестницу!

И с этой злосчастной лестницы и покатилось все вниз, в преисподнюю, образно говоря, то есть уже не только мафия, но вообще все окружающие — и друзья-коллеги и собственная жена превратили жизнь бедного Романа в ад. Или, точнее, он сам обрушил этот ад, эту бездну на себя, потому что категорически отказывался признавать себя неправым, отказывался не смотреть в эту бездну и просто заниматься другими служебными и домашними делами.

Скажу прямо: к концу 4-й серии мне хотелось бросить «Слепого Шерлока» и поискать для «Фонаря» что-нибудь другое. Но, к счастью, я не бросил — и в пятой и шестой серии все пошло намного веселее, так что и вам советую набраться терпения и поверить в мастерство голландских киноделов.

И еще советую досмотреть шестую серию до самого конца, потому что там вы увидите настоящего Слепого Шерлока — реального офицера Сашу ван Лоо, служившего в бельгийской полиции.

В общем, интересный получился сериал, а главное — не банальный, потому что главный герой не бегал по крышам или подземельям с кольтом наперевес, и не случилось никакого служебного романа, который на моей памяти испортил по меньше мере два очень приличных сериала… и наверняка не только два! Так что с чистой совестью рекомендую вам «Слепого Шерлока» и желаю приятного просмотра.

Валерий ИСХАКОВ

РОССИЯ, ЛЕТО, ЛОТЕРЕЯ

В этом сезоне Георгий Сурков поставил у нас «Чайку». Давно пора пересказывать классические произведения, но с пьесами Чехова это всегда сложно, клиповое мышление же. «Комедия, много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви». В пьесе — другая пьеса, которую ставит Костя Треплев. В переводе на современный «комедия» значит «абсурд». В пьесе абсурда («Чайка» — это абсурд) каждое сословие играет по своей системе: дворяне — по Станиславскому, буржуазия — по Брехту, крестьяне — по Мейерхольду. «Костя не попадает в тон», оттого что он по отцу — киевский мещанин, а по матери — артист из дворян. Артист, по сословным понятиям, соответствует самоубийце. Спойлер: Костя застрелится.

Миф есть развёрнутое магическое имя.
А.Ф. Лосев

Чех — чох — чах — чайк.

Чехов стал юмористическим писателем, потому что теория смеха как «умного чоха». Плюс тюркский «чох» в наречии «чохом», что значит «гурьбой и гуртом». Поэтому Чехов писал о массовом, оголтелом человеке. Предыдущая пьеса — «Иванов».

Этноним «чех» значит собственно «человек». Нюанс в том, что это обозначало того, кого надо «выдавливать по капле», в отличие от «людей» («свободных»).

От чередования «чех—чах» он заболел чахоткой.

От преломления «чех— чайк» Чехов видит себя в чайке. Гоголь — птица-гоголь, Кутх — птица-ворон, Чехов — птица-чайка. Убийство чайки — смерть автора. «Хохочет до слёз».

«На чаек бы с вашей милости!»

Как именно имя развёртывается, овладевает миром?

С помощью инвестиций.

Аркадина держит свои Р70000 в Одесском коммерческом банке, связанном с французским банковским капиталом. Отчего она не может дать денег Косте? Потому что деньги должны вращаться, делать деньги. Аркадина инвестирует в себя, ключевая фраза «А одеться я не дура!» Invest — означает и «одеть», и «вложить». Костя понимает экономическую подоплёку, он говорит: «Я нарушил монополию!» Аркадина могла бы дать Косте взаймы, если бы он предложил ей больший процент, чем банк. (Брал же Бальзак в долг под вексель у собственной матери.) Треплев мог шантажировать окружающих самоубийством. Треплев мог понабрать кредитов. «Всё заложи, а себя покажи». Если вы должны банку $5000, это ваша проблема, если $5000000 — это проблема банка.

Наконец, Треплев, как Константин Симонов, мог «поставить на исторически перспективную лошадь». В черновиках Аркадина ругает его: не только «киевский мещанин!», но и «Пролетарий!».

«Но где я вам возьму хомуты?..» — спрашивает Шамраев.

Шамраев сам — тёмная лошадка. Он, по идее, обкрадывает Сорина, но мы этого не видим. Отчего сие?.. Потому что театрал Шамраев — теневой режиссёр этой пьесы. Régisseur по-французски — это «управляющий имением». Если Шамраев обкрадывает Сорина, то он тоже инвестирует в землю. Возможно, это будущий Лопахин. Вишневый сад — капище Вишну. К революции Маша Медведенко унаследует дачные участки. Пока же Медведенко практически существует вне экономики, огородом и грибами.

Любопытный казус Чехова-отца, буржуа в первом поколении, Павла Егоровича. (Кстати сказать, свою семью Чехов первый раз представил в рассказе «Тяжёлые люди» как «Ширяевых». Думаю, это мне даёт дополнительное пространство толкования.) Я отнюдь не противник социального государства. Но следует признать, что социальное государство — историческая аномалия. «Семейный тиран» Павел Егорыч — гениальный инвестор в сравнении с современными родителями. «Дети в 80-е стоили дороже» (Роман Сенчин). От этого стал подращиваться только один ребёнок. Подращивающий одного ребёнка — кладёт все яйца в одну корзину. Это херово

диверсифицированные риски. Для крестьянина же дети — это рабсила.

Чехов — внук крепостного. Он слишком быстро вырос по сословной лестнице. Во Франции он бы сидел в лавочке 1000 лет. Он не знает, как себя держать и как себя вести. «Потому что нет у нашего брата настоящей точки». Отсюда интерес к актёрам и актёрству. Он любил наблюдать, как гримируются актёры. Как меняется лицо. Актёр умеет овладеть габитусом, умением держать себя, как то свойственно тому или иному сословию, быстро. Похитить габитус. За что их и хоронили вне кладбищ как самоубийц. Которых и поминать нельзя, за них можно только птиц кормить.

Главное правило Чехова — «дрессировать себя». Тренировка с целью соответствовать новому габитусу. «Сидеть в номере и учить роль», как говорит Аркадина.

Пал Егорыч инвестировал покрестьянски, а искусство понимал только брахманское, церковное. Пал Егорыч вёл подённый эпос в одну строку и сам писал иконы. Но Чехов, в отличие от Дмитрия Данилова, не мог стать священником, это было закрытое сословие. Именно Павел Егорыч Чехов, гонявший детей в лавку и церковной хор, натренировал их к смене габитуса.

О рабах в «Чайке» есть интересный контрапункт. «Если тебе нужна моя жизнь, приди и возьми её» в «Славянский базар». При известной доле воображения можно перевести как «невольничий рынок». Работорговля — тоже ведь инвестиции в человеческий капитал, не так ли?

Самодрессура значит навязать самому себе гораздо более высокий уровень дисциплины, чем рабство.

Сорин вкладывает в землю. Как Буратино в поле чудес. Чехов будет инвестировать, как Сорин. Купит Мелихово, которое в письмах именует «герцогство», по аналогии с карликовыми германскими государствами. («Малик» — владелец с татарского.) Если бы Чехов защитил свой «Остров Сахалин» как докторскую диссертацию, он бы получил потомственное дворянство. Его хлопоты за других, постройка школ и холерных бараков в своём «великом герцогстве» — это как раз поведение правильного кшатрия, хорошего помещика.

В чём проблема с усадьбами?

1871 г. Англия начинает покупать зерно в США (США ещё преимущественно аграрная страна). И перестаёт покупать его в Восточной Европе. Репарации после франко-прусской войны вызывают дефляцию, производство падает, банки спекулируют.

Недвига — это пузырь.

В следующей пьесе Серебряков предложит дяде Ване продать имение и вложить деньги в банк. Банк даёт больший процент. Чем хуже дела в экономике, тем больше денег на финансовых рынках. Всех спасёт новый виток колонизации. В переводе с политкорректного — грабежа и порабощения.

«Я видел, как крупье украл золотой».
Чехов. Из дневника

Чем меньше игрок, тем больше риск. Герои пьесы слишком мелки, чтобы выиграть. Где в пьесе серьёзные игроки? О них не сказано явно, но даны намёки.

Дорн, по его словам, потратил все свои сбережения на поездку в Геную (туризм — гибрид освобождения и грабежа!). Перед самоубийством Кости все играют в лото. Лото придумано в Генуе. Это были выборы чиновников — с тотализатором. Доходы от тотализатора шли тем же чиновникам. Это лото стало прототипом «Вавилонской лотереи» Борхеса. Он сделал этот тотализатор тотальным (figura etymologica): с его помощью распределялись все правды и неправды. Пелевин переделал «Вавилонскую лотерею» в «Поколение П», но, устрашася абсурда, разбодяжил всё шумерской мифологией. Так в нашей литературе появился ещё один лакировщик.

Чеховские интеллигенты, которые любили пофилософствовать о том, какая будет жизнь лет эдак через 200, также любили подумать, что было лет 500 назад. Если имение Сорина — чеховское Мелихово (близ Лопасни), то 500 лет назад Дмитрий Донской гнал через эти места пленных генуэзских наёмников. Наёмники всегда были ценным призом.

Если усадьба Сорина расположена ближе к баснословному Харькову, то по её земле могли гнать русский полон в Крым, где был убит генуэзцами темник Мамай. Генуэзцы держали всю работорговлю на Чёрном море и финансировали Мамая.

В чём суть конфликта? — Чей Св. Георгий сильнее!

У Генуи тот же Св. Покровитель, что и у Москвы.

А в Европе продолжалась Столетняя война. Генуэзцы кредитуют французских королей, чтоб те на эти кредиты покупали у них оружие и наёмников. Когда до англичан и французов дошло, что они «не братья», в Италии начался кризис перенакопления. Войны нет, инвестировать некуда, «в этой Тоскане такая тоска». Давайте инвестировать хоть во что-нибудь! Так началась эпоха Возрождения.

В XIX в. уже французские банки оплачивают «генуэзскую толпу» и вторжение итальянцев в Эфиопию. В год «Чайки» (1896 г.) русские добровольцы из отряда Николая Леонтьева помогли эфиопскому императору разбить итальянцев в битве при Адуа. Костя мог бы помочь победе растафари над Вавилоном. «Треплев», кстати, хорошая фамилия для рэпера. «Я сам себе сын, и брат, и крёстный отец».

Генуя нанесёт ответный удар незаметно. «Джинсы», разрушившие СССР, — искажённое произношение англо-французскими варварами бренда «генуя». Но падёт Давилон.

Отступление pro domo.

Старший брат моей прабабушки, Владимир Николаевич Ксандров, в 1895 г. поступил в Харьковскую технологжку. Он мог быть среди студентов, «принимавших» Аркадину. В будущем чрезвычайный комиссар на Восточном фронте, НКПС Украины, арестован в 1938 г.

Его отец, мой прапрадед, строил Транссиб. Стройку финансировали французы — вывозить зерно и подготовить страну к войне с немцами. Чехов это понимал и франко-русских симпатий не одобрял.

Мы послушали, как дышит почва. Теперь узнаем, как шевелится судьба.

Как душа становится мировой?

1. Как у героя «Черного монаха» (ЧЕрный монаХ — ЧЕХов) — через манию величия, невероятное нервное напряжение. С одной стороны, напряжены нервы, с другой — растёт сеть железных дорог, звезда-полынь (так говорил Лебедев из «Идиота»). Ж/д — социальные сети времён развитого стим-панка. Сегодня смотрят видео на х2 и считают, что время ускорилось, а тогда (сошлюсь на Андрея Горохова) классическую музыку стали играть в два раза быстрей.

Хронотоп сжимается, как шагреневая кожа, чтоб наконец достичь размеров гроба (палаты № 6).

2. Как Маша Медведенко (МаША — МировАя дуША) — выпивая перед обедом две рюмочки. Мировая душа — это «я» плюс что-то ещё, по версии доктора Дорна.

3. Как герой рассказа «Студент» (любимый рассказ самого Чехова) — пересказывая своими словами Евангелие.

4. Наконец, метод Кости Треплева. Поставить пьесу о том, что будет через 200000 лет. «Зрителю-испанцу за два часа всё нужно показать, от Бытия до Страшного Суда» (Лопе де Вега). Жанр ауто возник, когда над империей Габсбургов перестало заходить солнце. Надо было по-быстрому готовиться к Апокалипсису.

Звезда-полынь ж/д сжимает хронотоп, нервы натягиваются, как стальные канаты, старуха Европа готовится к расширенному суициду (горящая сера во время премьеры — провозвестник газовых атак), Костя торопится пояснить за мировую духовку.

Пьеса Кости — это ауто. Он быстро понимает, что ауто — жанр устаревший. «Это что-то декадентское!» Аутодафе и совриск — вот путь.

P.S. Как толковать образ дьявола, отца вечной материи, из пьесы Кости? В чеховском корпусе есть параллельное место в рассказе «Случай из практики». Молодой доктор приезжает на завод и видит, что скотские условия жизни рабочих совершенно не идут на пользу хозяевам. Те тоже живут по-скотски, но в другом роде. «Игрушки не радуют». В огнях завода доктору мерещится дьявол. Очевидно, это капитализм.

В Киеве уже родился очередной «киевский мещанин» Михаил Булгаков. Для него дьявол будет ещё конкретней. Прочитав «Мастер и Маргариту», Мик Джаггер в 1968 г. напишет Sympathy for the devil.

Василий ШИРЯЕВ,
Камчатка,
посёлок Вулканный

Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи и не вступает в переписку по поводу отвергнутых материалов.

Рукописи, в которых отсутствуют данные об авторе (имя и фамилия, обратный адрес или телефон), не рассматриваются и не возвращаются.

Все произведения, опубликованные в журнале «Урал», размещаются в Интернете. Если Вы считаете, что публикация электронной версии нарушает Ваши авторские права, просьба заранее предупреждать о Ваших возражениях.

Перепечатка любых материалов возможна только с согласия редакции. Ссылка на «Урал» обязательна.

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов публикаций.

Журналы с полиграфическим браком возвращать в типографию.

Уважаемые подписчики!

Обращаем ваше внимание, что оформить подписку на наш журнал на 2025 год можно по единому индексу 73412:

- на сайтах: https://www.pressa-rf.ru/ или https://www.akc.ru/ (для юр. лица по желанию подписчика заключается договор и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов);

- в отделе продаж агентства ОАО «АРЗИ», направив заявку по электронной почте: Govorkova@arzi.ru или позвонив по тел. (495) 680-99-71 (для юр. лица по желанию подписчика заключается договор и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов).

А также:

- в любом почтовом отделении через электронный каталог «Почта России». Приходите, называете индекс ПС429 — и вас подписывают!

Подписку на журнал «Урал» можно оформить также
в Центре подписки и доставки ООО «Урал-Пресс Город»
по адресу: Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, 130,
телефоны: 262-65-43, 262-78-98.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-58576 от 14 июля 2014 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

18+

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Редакция журнала «Урал»
Учредитель — Министерство культуры Свердловской области

Главный редактор — Олег Анатольевич Богаев

Редакция:
Сергей Беляков — зам. главного редактора по творческим вопросам
Надежда Колтышева — зам. главного редактора по вопросам развития
Константин Богомолов — ответственный секретарь
Андрей Ильенков — зав. отделом прозы
Юрий Казарин — зав. отделом поэзии
Валерий Исхаков — литературный сотрудник
Александр Зернов — литературный сотрудник
Татьяна Сергеенко — корректор
Юлия Кокошко — корректор
Наталья Бушуева — бухгалтер

Редакционная коллегия:
О. Богаев, С. Беляков, Н. Колтышева, К. Богомолов, А. Ильенков

Адрес издателя: 620014, Екатеринбург, ул. Малышева, 24, 4-й этаж
Редакция журнала «Урал»: 620014, Екатеринбург, ул. Малышева, 24, 4-й этаж
Адреса электронной почты: editor.ural@mail.ru, poetry@uraljournal.ru (для поэзии)

Телефоны:
376-57-49 — главный редактор
376-57-54 — зам. главного редактора по творческим вопросам, отдел прозы, отдел публицистики
376-57-41 — зам. главного редактора по развитию, ответственный секретарь, отдел критики
376-56-25 — бухгалтерия, отдел поэзии

Оформление обложки — Альберт Сайфулин.
Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии
ООО «Издательство УМЦ УПИ» 620078, Екатеринбург, ул. Гагарина, 35а, оф. 2
Подписано в печать 16.04.2026
Дата выхода в свет 27.04.2026
Формат 70x108/16. Бумага типографская № 2. Уч.-изд. л. 20,6
Тираж 1100 экз. Заказ № 8321
Цена договорная

Журнал «Урал» в Сети:

http://uraljournal.ru/
http://vk.com/zhurnal_ural

Электронная версия журнала «Урал» находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/ural/

Иван Бунин

***

Роса, при бледно-розовом огне
Далекого востока, золотится,
В степи сидит пустушка на копне.
В степи рассвет, в степи роса дымится.

День впереди, столь радостный для нас,
А сзади ночь, похожая на тучу.
Спят пастухи. Бараны сбились в кучу,
Сверкая янтарями спящих глаз.

2.09.1915

ISSN 0130-5409 Урал. 2026. 5. 240

Журнал «Урал» вы можете приобрести
в екатеринбургских магазинах:
«Дом книги» (ул. Антона Валека, 12),
«Пиотровский» (ул. Бориса Ельцина, 3, Ельцин Центр, 2 этаж),
а также
в Музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5),
в Музее «Литературная жизнь Урала XX века» (ул. Пролетарская, 10)
и в Свердловском академическом театре драмы.

Подписывайтесь на журнал «Урал» с любого месяца.
Это делается так:
- на сайтах: https://www.pressa-rf.ru/ или https://www.akc.ru/
(для юр. лица по желанию подписчика заключается договор
и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов);

а также в электронном каталоге «Почта России»;
в отделе продаж агентства ОАО «АРЗИ»,
направив заявку по электронной почте: zakaz@akc.ru
или позвонив по тел. (495) 680-99-71
(для юр. лица по желанию подписчика заключается договор
и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов).

А также:
- в любом почтовом отделении через электронный каталог «Почта России».
Приходите, называете индекс ПС429 — и вас подписывают!

Подписку на журнал «Урал» по-прежнему можно оформить
и в Центре подписки и доставки ООО «Урал-Пресс Город»
по адресу: Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 130,
телефоны: 262-65-43, 262-78-98.

УРАЛ
URALJOURNAL.RU

Информационные спонсоры журнала «Урал»:

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Библиотека им. В. Г. Белинского

КУЛЬТУРА УРАЛА·РФ